



ДРУЖБА НАРОДОВ



- Александр Кабанов
Точка от укуса
Стихи
- Юрий Оклянский
Безрукий поводырь
История в письмах и рассказах очевидцев
- Елена Скульская
Не спросясь у Бога
Стихи
- Дмитрий Шеваров
Виноград
Фронтовая элегия
- Игорь Шумейко
Война и мир... и война

5'2010

ДРУЖБА НАРОДОВ



Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

5'2010

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

К 65-летию Победы

Проза и поэзия

Александр КАБАНОВ. Точка от укуса. Стихи	3
Юрий ОКЛЯНСКИЙ. Безрукий поводырь.	
<i>История в письмах и рассказах очевидцев</i>	6
Анисим КРОНГАУЗ. Из книги «Воспоминание о будущем». Стихи.	
<i>Вступительная заметка Александра Ревича</i>	36
Галина КОСТЕЛЯНЕЦ. Сколько их, почти безымянных...	
<i>Страницы воспоминаний</i>	43
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ	
Елена СКУЛЬСКАЯ. Не спросясь у Бога. Стихи	
Юхан ВИЙДИНГ. Сэстонского. Перевод Елены Скульской	92
Станислав СЛАВИЧ. Гараж для лошади. Повесть	97
Андрей БАУМАН; Вячеслав ШАПОВАЛОВ; Темур ВАРКИ.	
<i>Неделимым строим. Стихи</i>	126
Гузель АГИШЕВА. Брошь. Рассказ	130
Елена ЛАПШИНА. На тонкой леске слова. Стихи	139

Журналистика

Игорь ШУМЕЙКО. Война и мир... и война	142
Аристакес САГРАТЯН. Стальные пути на Запад.	
<i>Отрывки из воспоминаний</i>	153
Дмитрий ШЕВАРОВ. Виноград. Фронтальная элегия в монологах	
<i>и письмах</i>	174
Ксения ПЕРЕПЕЛИЦА. Прохоровка	183

Критика

- Владимир ГУБАЙЛОВСКИЙ. Оптика времени **193**
Виктория ЛЕВИТИНА. Так начинал... *Воспоминания о Борисе Слуцком* **203**

Из почты редакции

- Мурман ДЖГУБУРИЯ. «Пишу стихи — разве этого мало?». **218**
Заметки о Василии Субботине

Эхо

- Та, давняя метель. *Рубрику ведет Лев Аннинский* **222**
Summary **224**

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И



МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (ИФГС)

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Леонид ТЕРАКОПЯН (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ,
Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр
КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЕДУШКИНА, Давид МУРАДЯН,
Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, Эльчин,
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2010

Александр Кабанов (Киев)

Точка от укуса

* * *

Раз в столетье, весной, запорожская степь бугрится,
раскрывает нутро и выказывает породы —
се грядет на вы, заповедная рыба-птица,
из плохих людей высасывать соки-воды.
Как и прежде, хранит земля от дождя и ветра
это древнее тело, длиною — более километра.

Выдыхая фонтан камней, возникает она из мрака,
у нее язык похож на длинный шланг для полива,
на конце которого — будущая собака —
золотой щенок спаниеля, привет — счастливо.
Не пускает, рычит и держит хвост пистолетом,
будто знает, что я сделаю этим летом.

Иногда, на поверхность всплывают щиты и шлемы,
корабельные мины, падшие самолеты... —
как мы любим чисто конкретно решать проблемы,
выбивать налоги, срезать, вместе с мясом, льготы.
Расстаются живые, способные к поединку,
вновь бугрится степь, и скелеты лежат в обнимку.

Одиночество обло, стозевно и лаяй за веру,
рыба-птица, последний сторож апреля —
возвращаюсь домой, поскорей отворяй пещеру,
у меня на руках уснул щенок спаниеля.

* * *

В саду вишневом, как на дне костра,
где угольки цветут над головою,
лишь фениксы, воскресшие с утра,
еще поют и поминают Гойю.

Меж пальцев — пепел, так живут в раю,
как мне признался кореш по сараю:
«Вначале — Богу душу отдаю,
затем, опохмелившись, забираю...»

Причудлив мой садовый инвентарь,
как много в нем орудий незнакомых:

взмахнешь веслом — расплавится янтарь,
высвобождая древних насекомых.

...гудит и замирает время Ц,
клубится время саранчи и гнуса,
распахнута калитка, а в конце
стихотворенья — точка от укуса.

Подуешь на нее — апрель, апрель,
гори, не тлей, не призывай к распаду,
и точка превращается в туннель —
к другому, абрикосовому саду.

* * *

Провожай меня к берегам Дуная —
от Днепра, где волны после грозы
шелестят, поскрипывают, разминая
плохо смазанные пазы.

Отпусти в Кашталу, где португальцы
давят солнце в мускатный жмых,
и мелькают ласточки, словно пальцы
у влюбленных глухонемых.

Чуть дрожат валуны облаков Кемера,
метроном кузнечиков — кружевной,
так пульсирует и сиротеет вера:
вот Он — есть, а вот Его — нет со мной.

Вот он — есть, последний билет в Сарапул,
но, опять плывут валуны облаков,
это я — на одном из них — нацарапал:
«Саша + Олеся», и был таков.

* * *

Над рекой поднимается клеверный луг,
чуть касаясь корнями рыбацких фелюг,
каждый корень, как пламя — из сопла,
и вращает глазами, восторг и испуг
выражая, копченая вобла.

Всех жуков — не собрал, всех стрекоз — не словил,
а теперь, возгораясь, гудит хлорофилл,
а теперь, каждый клевер — пропеллер,
и рванув изо всех ботанических сил,
старый друг улетает на север.

Потому что на севере — свой Голливуд,
там в моржовых бикини грустит алеут —
декабристов далекий потомок,
там весною считает олени стада,
замурованный в кубе таймырского льда —
золотой мамонтенок.

Ну, а вместо тебя, через год и вообще?
Поначалу — пустырь на крови и моче,
а затем, корпорация «Sever»,
ресторан, казино, дискотечная гать,
до утра будут пьяные девки скакать,
я их раньше — укладывал в клевер

* * *

Мише Гоффайзену

Четвертый Крым, кизилковый на слух,
привыкший отвоевывать прохладу,
проснешься в полдень и покличешь слуг:
«Подайте яду мне, подайте яду...»

И вот уже несут обедать на двоих,
коньяк копытом бьет в стеклянной фляге.
«Зело отравлен?» — спрашиваешь их.
«Проверено», — отвечают бедняги.

Припомнишь, как вчера, татарке молодой,
целуя абрикосовую спину,
шептал: «Ты вся — моя. Крым тоже нынче — мой,
и даже Гоголь — мой наполовину...»

Седой поэт, семитские черты,
винтажный «мерс», тревожная работа,
шептал: «Я счастлив, дурочка, а ты —
мне о любви рассказываешь что-то...»

Провинция Китая

Нас всех изобрели китайцы, но вначале:
изобрели бумагу, компас, порох,
пищали, чтобы при стрельбе — пищали
и оставляли дырочки в заборах.

Книгопечатание, морские карты,
а ближе к вечеру, когда уснул муссон, —
механические кукольные театры,
приводимые в движение водяным колесом.

Они привили нам любовь: к алкоголю,
к пельменям и тушенке свиной,
к поэзии, а затем — отпустили на волю,
отгородившись Великой Стеной.

Я сижу в тумане из январской пудры,
на бамбуковой лавочке, посреди двора:
как мне дороги — и похмельные сутры,
и терракотовые вечера.

* * *

Летний домик, бережно увитый
виноградным светом с головой,
это кто там, горем не убитый
и едва от радости живой?

Это я, поэт сорокалетний
на веранду вышел покурить,
в первый день творенья и в последний,
просто вышел, больше нечем крыть.

Нахожусь в конце повествованья,
на краю вселенского вранья,
в чем секрет, в чем смысл существованья? —
вам опасно спрашивать меня.

Все мы вышли из одной шинели
и расстались на одной шестой,
вас, как будто в уши поимели,
оплодотворили глухотой.

Вот, представьте, то не ветер клонит,
не держава, не Виктор Гюго —
это ваш ребенок рядом тонет,
только вы не слышите его.

Истина расходится кругами,
и на берег, в свой родной аул
выползает чудище с рогами —
это я. А мальчик утонул.

Юрий Оклянский

Безрукий поводырь

История в письмах и рассказах очевидцев

В майском номере журнала «Дружба народов» за 2007 год я опубликовал очерк, а точнее, короткую мемуарную повесть о знаменитом партизанском генерале и авторе гремевшей в свое время книги «Люди с чистой совестью» Петре Петровиче Вершигоре.

Чистая совесть — понятие библейское. Всем памятна, очевидно, евангельская притча о том, как фарисеи привели ко Христу женщину, совершившую блудоддеяние. Согласно незыблемому вековому обычаю за измену мужу ее полагалось забить камнями насмерть. Но фарисеев заботила даже не столько участь грешницы и исполнение наказания над ней, сколько души сверлило злобное желание — посмотреть, как приказ об убийстве отдаст сам милостивый Спаситель.

Выслушав пришедших и не глядя на них, Христос молча продолжал чертить палкой по песку. Потом изрек: «Кто без греха, пусть первым бросит камень!» Толпа застыла в нерешительности. Потом один за другим начала расходиться. Ни единого человека без греха не отыскалось.

Чистая совесть — понятие абсолютное. Жертвенный подвиг во имя высшей благородной цели очищает души. «Людьми с чистой совестью» назвал Вершигора партизан, с которыми делил тяжкие рискованные походы. Выбор названия показательный. Книга сориентирована на высокий этический смысл.

Мне довелось встречаться с Петром Петровичем и вместе работать уже в другие времена. Отношения завязались в августе 1958 года на торжественном пуске одной из главных ступеней волжского энергетического каскада. Хотя турбины Куйбышевской ГЭС, у Жигулей, уже с год как выдавали ток на полную мощность, но ее рождение еще не было официально освящено. По установившимся обычаям предполагалось, что у энергетического гиганта, тогда крупнейшего в мире, должен быть и достойный крестный отец. А им, понятное дело, не мог быть никто другой, кроме как глава партии и государства. Крестить возмужавшего новорожденного, то бишь перерезать ленточку в машинном зале давно действующей гидростанции, полагалось самому Н.Хрущеву. С годичным опозданием из-за множества иных дел он и прибыл в Жигулевск, толпой любимцев окруженный, то бишь верноподданной свитой, не исключая и собственных скорых могильщиков, вроде Л.Брежнева, М.Суслова и других.

Я к тому времени после окончания МГУ четыре года проработал в областных газетах Марийской республики. И уже с год как состоял в штате «Литературной газеты» собственным корреспондентом в Поволжье. Жил в Куйбышеве (Самара), обретался с семьей в гостинице без малейших видов получить квартиру, поскольку несколькими острыми выступлениями успел изрядно насолить местному руководству.

По тогдашним меркам, события в Жигулях предстояли сверхважные, общегосударственного, если не мирового, масштаба. Незадолго до их начала деликатный заведующий корреспондентской сетью «ЛГ» в симпатичной своей манере легкого заикания оповестил по междугороднему телефону, что для опоры и поддержки мне из Москвы направляется помощник. Этим «помощником» оказался прославленный писатель, лауреат Сталинской премии, Герой Советского Союза генерал Петр Вершигора. Его книгу «Люди с чистой совестью» я знал еще со школьной скамьи, значилась

она и в учебной программе филфака МГУ. Кто же кому должен помогать?! Легко представить себе оторопь и замешательство молодого провинциального журналиста. Но Петр Петрович оказался человеком простым и свойским. Мы как-то быстро сработались. Бывалый партизан приехал из Москвы на старенькой своей машине «Победа», сам за рулем, вместе с женой Антониной Семеновной, личностью необычной и колоритной, которую вопреки паспорту он звал Оля, а она по-свойски кликала его — «Борода», и сыном-десятиклассником, ленивцем Женькой. Душевную отзывчивость Вершигоры, возможно, как-то дополнительно задела наша бездомность (жена дохаживала последний месяц беременности, а квартиру никто давать не собирался), к тому же я был сыном «врага народа», из-за ареста отца в конце сталинского правления лишенным московского жилья. А в бурном водовороте куда более гибельных проблем сталинской эпохи, как выяснилось вскоре, вынужденно барахтается последние годы и сам Петр Петрович. Не знаю. Но только скоро мы разоткровенничались.

На каком-то витке этих отношений, уже на гидростанции, Петр Петрович сообщил, что, помимо писания очерков, он приехал сюда по неотложной надобности — в попытках встречи с Хрущевым. Он добивается — прекратить преследования бывших партизан по делу о так называемом Винницком подполье. Здесь с самых верхов закручена и напластована масса гнусных фальсификаций. На этом деле уже умер один из его близких друзей — Герой Советского Союза писатель Дмитрий Медведев. Бился, хлопотал, стучался в разные двери — и не выдержал. Умер от разрыва сердца. Слышал ли я что-нибудь об этом?

Конечно, я читал документальные книги Д.Медведева «Сильные духом» (о легендарном разведчике Николае Кузнецове, первом «советском Штирлице», в подложных ролях блестяще орудовавшем в немецких тылах), о действиях руководимых им партизанских отрядов и соединений, начиная с выходцев из Брянских лесов, — «Это было под Ровно» или «На Южном берегу Буга». Последняя из этих книг в свое время с непонятной яростью, чтобы не сказать с бешенством, полоскалась центральной печатью. Речь там велась как раз о Винницком партизанском подполье.

Попытка защитить ни в чем неповинных героев-партизан чуть не оказалась роковой и для самого Петра Петровича. Дальше суть событий перелагаю с добавлением к живому рассказу Вершигоры подробностей и деталей, добытых десятилетия спустя, из раскопок документов и опросов очевидцев, когда созрело решение взяться за мемуарную повесть. В тексте «Переодетого генерала» приведены документальные ссылки на источники.

Против Вершигоры было сострепано грязное уголовное дело — об изнасиловании несовершеннолетней в годы войны. Им хотели заткнуть рот влиятельной знаменитости. Опрокинуть обвинение удалось лишь по счастливой случайности и с большими трудами. Дошло до прямого личного столкновения с одним из главных кукловодов — хозяином Лубянки, председателем КГБ И.Серовым. На приеме у него во время устроенного тем издевательского допроса потерявший контроль над собой партизан пытался швырнуть в него чернильницей со стола.

Серов к той поре уже непрочно сидел на своем месте, его власть была укорочена, действовал с оглядкой. Для Вершигоры выходка кончилось строгим партийным выговором. Но то был, конечно, не предел, и кто знает, чем могло повернуться в дальнейшем? Петр Петрович очень надеялся на встречу с Хрущевым, который хорошо знал партизанского комдива еще по Украине.

Самое поразительное в этой неравной борьбе, что Петру Петровичу, в конце концов, удалось спасти гибнущих и взять верх. Подвигом его жизни являются также книги, как он их называл, — о военном творчестве народных масс, то есть об истории партизанских движений в России. Тут, как и во многом другом, Петр Петрович следовал образцу человека, которому поклонялся. Им был первый русский партизан и поэт Денис Давыдов. Недаром книга Дениса Давыдова «Дневник партизанских действий», ударным порядком, в 1941 году, сразу после начала войны, переизданная в Москве, была настольной для Петра Петровича. Сейчас, когда пишу, экземпляр тогдашнего издания с многочисленными пометками Вершигоры, обычно красным карандашом, лежит у меня перед глазами.

Однако же прошлое — одно дело, а настоящее — совсем другое. В публикациях своих исторических исследований о партизанском движении Петр Петрович натолкнулся на жесткое казенное сопротивление Главпура (Главного политического управления Советской Армии) и его сторожевых овчарок из Воениздата. Чего другого, а подлинной реальности они на дух не переносили. И годами вокруг правдивых рукописей Петра Петровича лилась хотя и не настоящая кровь, но моря бесполезных чернил. Вся эта изнурительная борьба, бесспорно, сильно укоротила его дни.

Не стану продолжать, важна суть. Вершигора был из породы и поколения правдоискателей, вернувшихся с войны. Из таких неординарных людей армейской элиты, как адмирал Исаков, генерал Горбатов, а там уже и полушепотом долго произносимое имя — отчаянный бунтарь «диссидент» генерал Петр Григоренко, которого исключали из партии, вязали санитары сумасшедшего дома, кололи препаратами, а он все твердил свое, не сдавался...

Петр Петрович Вершигора, как и подобает партизану, лишь слегка опередил время. Он был «первой ласточкой» в этой необычной генерации...

Собрав в дополнение открывшиеся за последние десятилетия потаенные прежде факты и документы, я и попытался обрисовать характер героя. Новые знания и понятия эпохи слились в одно целое с впечатлениями от собственных встреч, были-ми дневниковыми записями, воспоминаниями, вроде тех, как Петр Петрович и желторотый журналист писали за двумя фамилиями очерки для «Литературной газеты» или журнала «Молодая гвардия». Так возникла мемуарная повесть «Переодетый генерал».

Опубликовав ее, я считал свою задачу выполненной. Но за продолжение этой истории взялась сама жизнь. Рядом с моим героем неожиданно возник новый персонаж, описанный в книге «Люди с чистой совестью». Причем человек необычный. Безрукий парашютист, разведчик, под видом нищего ходивший с заданиями по немецким тылам, меткий стрелок, несмотря на свои культы, а после войны близкий друг Петра Петровича и соавтор одной из книг по истории партизанского движения, совместно написанной обоими. Ему адресовано почти 40 сохранившихся писем Вершигоры. Звали этого человека Владимир Акимович Зеболов.

Действительно, какие только люди, пересиливая себя, не участвовали в этой войне! Известно имя и судьба Алексея Маресьева — безногого летчика, ставшего прототипом хрестоматийно популярной в былые времена «Повести о настоящем человеке». Но безрукий парашютист человек не менее редкой судьбы.

Вот его портрет, как он подан в книге «Люди с чистой совестью»: «Чудной человек с чистой и застенчивой душой, искалеченным молодым телом, с обнаженными войной нервами!

Володя Зеболов, безрукий автоматчик тринадцатой роты, а сейчас лихой разведчик.

Да, да, уважаемые граждане с руками и ногами! Солдат без обеих рук, и не какой-нибудь солдат, а лучший — разведчик. Левая рука у него была отрезана у локтя, правая — у основания ладони. Правая рука от локтя была раздвоена вдоль лучевой и локтевой кости и пучком сухожилий, ткани и кожа обтянута вокруг костей, чем образовала что-то вроде клешни. Только страстной жадой к жизни и деянию, силой молодого организма и мастерством хирурга у человека было спасено подобие одной конечности, искалеченной, безобразной, но живучей. Шевеля этими двумя култышками, он питался, писал, мог свернуть папироску и хорошо стрелял из пистолета. Ремень автомата или винтовки обматывал вокруг шеи и, нажимая обезображенным комком мускулов на спусковой крючок, стрелял метко и злобно. Все остальное делал той же култышкой, иногда помогая себе зубами. И тихонько, для себя, писал стихи...

При всех бедах и выкрутасах режима тогдашняя война Отечественной звалась недаром. На фронт рвались даже калеки. Таким был, например, мой дядя Александр Георгиевич Шеренков. Он работал в Ленинграде сменным мастером на ткацкой фабрике. Что называется — обычный беспартийный труженик. Еще в самые молодые годы в ночную смену вылетевшим из ткацкой машины челноком ему выбило правый глаз. При таком попадании могло и уложить на месте. Во всех случаях белый билет — освобождение от воинской службы он имел подчистую.

Мы жили в одной ленинградской квартире. Однажды уже в первые недели июля 41-го дядя Саша явился с фабрики домой в гимнастерке и грубых воинских башмаках с обмотками. Сказал, что в военкомате записался на фронт добровольцем. Обмундирование выдали тут же. Тете Кате было 27 лет, и они имели двух малолетних детей.

Еще через месяц в боях под Кингисеппом народному ополченцу осколком мины вырвало часть правого бока. Когда незадолго до начала ленинградской блокады я навестил его в лазарете, дядя Саша вышел ко мне в сером застиранном больничном халате. Мы сидели вдвоем блаженным августовским днем на скамейке возле лазарета. Светило солнышко. Над головой щебетали и пели какие-то птички. И вовсе не верилось, что рядом где-то бушует война. Но сквозь отворот халата у дяди Саши подушкой проступали бинты с ржавыми потеками запекшейся крови. В моих глазах он был героем. И двенадцатилетнему ленинградскому пацану интересно было все-таки знать, во имя чего он совершил свой подвиг.

— Зачем ты пошел на фронт? — восхищенно и с некоторой жалостью произнес я.

— Знаешь, Юрик, — подумав, сказал дядя Саша, — очень просто. Я — русский человек. И не хочу, чтобы нами управляли немцы.

Это был его единственный аргумент.

Володя Зеболов сызмальства слыл сорвиголовой. Рук он лишился еще по мальчишескому баловству. Бросал на лесной поляне в костер какие-то старые боеприпасы, которыми были наспигованы брянские леса еще со времен гражданской войны, возможно, среди них попала граната. Произошел взрыв, со всеми вытекающими последствиями.

Местный брянский хирург проделал над мальчишкой ту замысловатую спасительную операцию-живорезку, которая превратила одну из его верхних конечностей в подобие хватательных щупальцев. С этим Володя жил, ходил в школу, трудился и водил компании сверстников, может быть, обнимал девчат почти до двадцати лет, пока не началась война. Те, наверное, не возражали. Был он высокий, черноглазый, почти под два метра ростом, решительный по характеру, и если б только не руки...

Когда же фронт придвинулся к Брянщине, комсомолец Зеболов пришел в военкомат. Он попросился, чтобы его взяли в парашютную школу.

На 20-летнего юношу вытаращили глаза:

— Где это видано, чтобы безрукие прыгали с парашютом?!

Но инвалид был непоколебим:

— А где это еще видано, чтобы на земном шаре существовала Советская власть?! — в такт ответил он военкомовскому начальнику.

Тот понял, что разговор принимает серьезный оборот.

Через какое-то время, поразмыслив, Володю Зеболова направили в парашютную разведывательную школу.

Школа эта была той самой, где проходил обучение новой военной специальности — участию в партизанском движении — бывший режиссер Киевской киностудии и начинающий писатель Петр Петрович Вершигора. Он оказался здесь после госпиталя из-за ранения в ногу. А ранению предшествовало участие во многих боях в Правобережной Украине и вокруг Киева, закончившихся отступлением через Днепр. За этот срок в ходе непрерывных боев и потерь командного состава, а также из-за личной отваги Вершигора выдвинулся и прошел путь от помощника командира взвода до командира батальона.

Разведывательная школа была многолюдной. Но не только возраст (из двух будущих друзей старшему шел к той поре 37-й год), боевой и жизненный опыт отличали соучеников. Различали их и масштабы отмеренных задач. Юноше Зеболову предстояло стать рядовым разведчиком-парашютистом, в распоряжении которого могла находиться разве что радистка. Тогда как недавнего командира батальона ждали иные размахи и развороты.

Но многолюдье и масштабы работы способны не только разлучать, но и сводить необычных людей. А именно такими в разведшколе были вчерашний кинорежиссер и безрукий парашютист. При своей художественной натуре Вершигора не мог его не заприметить. Они, если тогда и не подружились близко, то выделили и узнали друг друга.

Однако же поведу рассказ по порядку. В мае 2009 года, через два года после журнальной публикации, я получил на домашний адрес письмо, которое привожу слово в слово:

«Уважаемый Юрий Михайлович! — писала автор. — В Интернете прочитала Ваш очерк «Переодетый генерал», опубликованный в ж. «Дружба народов», 2007, № 5. Сожалею, что это произошло не сразу после публикации. Спешу выразить свое восхищение смелостью анализа общественной атмосферы последних лет сталинской диктатуры, очень живыми, точными портретными и психологическими зарисовками и безупречным стилем, столь редким (увы!) в нынешней публицистике.

Позвольте представиться и объяснить, почему я так близко приняла к сердцу Ваш очерк.

Меня зовут Елизавета Григорьевна Непомнящая, я родом из г. Новозыбкова Брянской области, училась в Москве на литфаке и в аспирантуре МГПИ им. В.И.Ленина, свыше полувека работала доцентом кафедры зарубежной литературы Новозыбковского, а затем Брянского пединститута (ныне — Брянского госуниверситета им. акад. И.Г.Петровского). Сейчас живу в Москве.

Через своего мужа, Зеболова Владимира Акимовича, партизана-ковпаковца, одного из персонажей книги «Люди с чистой совестью», в начале 50-х гг. познакомилась с П.П.Вершигорой и его семьей, прославленными участниками партизанского движения: Героями Советского Союза В.А.Карасевым, П.Е.Брайко, разведчиком Ю.А.Колесниковым (позднее, после перестройки, ставшим Героем России), радисткой Аней Маленькой (Анной Лаврухиной-Туркиной) и многими другими.

Каждый из них был воином-победителем, человеком-легендой. В официальной литературе и средствах пропаганды в их честь звучали литавры, но рядовые труженики тыла не очень верили в благородство политических лидеров: слишком много актов вероломства становились известными, они порождали страх и недоверие к парадным речам.

В дальнейшем, когда эти времена остались далеко позади, сменился век и даже тысячелетие, мои воспоминания притупились, уступили место профессиональным интересам и житейским проблемам.

Нужно ли объяснять, каким потрясением стал для меня Ваш очерк? Вы стали свидетелем трагедии творческой личности, профессионального кинорежиссера, впервые взявшего за перо и в одночасье ставшего знаменитым, обласканного властью, увенчанного наградами, осыпанного материальными благами — и в то же время ставшего жертвой слежки и травли, закулисных интриг, провокаций, доносов. Впрочем, как это сейчас открылось, П.П. не был исключением, и, может быть, самым страшным было то, что каждый писатель носил эту тайну в себе, внешне подчиняясь политическому этикету.

Под впечатлением очерка мне захотелось поделиться с Вами воспоминаниями о том времени, когда пересеклись пути В.А.Зеболова и П.П.Вершигоры.

Брянщина — край партизанской славы — была особенно близка и дорога П.П. Он трижды приезжал к нам в Новозыбков. Один раз, как бы попутно, зимой из Брянска на два дня с женой Ольгой Семеновной; другой — летом на своей машине, на пару недель с сыном Женей, который с нашим сыном жил в пионерском лагере, пока отцы ездили на Украину к бывшим партизанам; третий — для работы над романом «Дом родной». Прототипом героини была землячка Вл.Ак. из пос. Вышков (в романе — Подвышков), где жили его родители. Над романом П.П. усердно работал по следам фактов и впечатлений, из этой поездки он увозил в Москву толстую рукопись (и корзинку молодой картошки, наш подарок Ольге Семеновне).

В свою очередь мы неоднократно бывали в Москве у П.П. и О.С. — и в Лаврушинском переулке, писательском доме, в стометровой трехкомнатной квартире, и в комнате на Гоголевском бульваре, где останавливались во время научных командировок, и на даче в Переделкино, где П.П. не только занимался творчеством, но и самозабвенно выращивал розы.

Если во время войны встречи генерала с рядовыми бойцами, людьми разного положения и возраста, были случайными, то после войны они не только не прекратились, но и окрепли на творческой основе. К тому времени Вл.Ак. окончил историчес-

кий факультет Новозыбковского пединститута (в 1952 г.) и работал ассистентом кафедры. П.П., как об этом свидетельствуют письма, всячески стимулировал его интересы к русской классике и исторической литературе, поощрял публикации статей по истории партизанского движения, позже взял на себя обязанности научного руководителя кандидатской диссертацией.

Своеобразным итогом стала их совместная книга «Партизанские рейды», изд. «Штиинца», Кишинев, 1962 г. Работа над ней стала главной темой последних писем П.П. Вообще же переписка была систематической: сохранилось 35 писем П.П. Вершигоры — мужу, и это самый ценный, уникальный документ в нашем домашнем архиве. В них — история многолетней воинской и человеческой дружбы прославленного военачальника и рядового бойца, учителя и ученика, образец педагогического искусства, мудрости и долготерпения. Они являются логическим продолжением их отношений, описанных в книге «Люди с чистой совестью».

В моем воображении П.П. плохо совмещается с его довоенной профессией режиссера, но на роль партизанского полководца он годился идеально естественностью повадок, живостью ума, твердостью решений, доверием к народной мудрости. Как с равными почтительно и вдумчиво вел он беседу с деревенскими стариками, на которых и сам был похож: низкорослый, плотный, бородатый, с хитринкой в глазах. Чины и звания, награды и известность не сделали его высокомерным и недоступным. Его привлекали люди трудной судьбы, сильные духом, одержавшие победу над обстоятельствами. В Новозыбкове он захотел познакомиться с моей коллегой, завкафедрой литературы проф. О.Я. Самочатовой, выпускницей МГУ, незрячей с детства, деликатно организовав для этого пикник на берегу реки Ипути. Встреча была непринужденной, беседа приятной, знакомство интересным обоюдно: это хорошо запечатлела старая фотография.

В быту он был прост, необременителен в общении, легок. Контраст между роскошной, лауреатской московской квартирой и нашим ветхим жильем первых послевоенных лет в брянском захолустье он воспринимал как нечто второстепенное, несущественное, временное, и это помогло мне преодолеть смущение и неловкость. За всем этим угадывалось его собственное сиротское детство, трудный путь к творческой профессии, трагический опыт войны. В Москве он как-то мне пожаловался (как всегда в шутливой форме): «Своих «Людей...» я писал в крестьянской хате при керосиновой лампе — и написал же, а здесь... — последовал кивок в сторону роскошного полированного бюро, — что-то не работается».

Незаурядная колоритная личность П.П., несмотря на прошедшие 60 лет, как живая сохранилась в моей памяти. В те далекие времена она повлияла не только на Володю, но и на меня (он называл меня «Лиза», но на «вы»), на мои отношения к миру, людям, событиям.

Неординарность его интересов, вкусов, суждений озадачивала, побуждала к размышлениям, а нередко и к реальным действиям. Так, он стал инициатором ознакомительной поездки на Новозыбковскую опытную станцию по люпину Академии с/х наук, а потом увлеченно рассказывал об увиденном. Точно так же не было упущено событие местного масштаба — работы по очистке озера в центре города, к которым были привлечены студенты и преподаватели во время летних каникул. П.П. загорелся идеей украсить берег озера пирамидальными тополями из молдавского питомника, обещал содействие в получении саженцев. И это было сделано: он добился у городских властей одобрения, машину предоставил пединститут, посадки украсили не только набережную, их хватило и на улицу вдоль нового студенческого общежития. Так возникла «Аллея Петровича» — название придумал Вл. Ак.

Все в этом человеке было необычным: и судьба, и образ мыслей, и внешность, и писательская манера. В потоке мемуарной литературы, воспоминаний полководцев по свежим следам недавних событий книги П.П. отличаются «лица необщим выражением». Сами названия: «Люди с чистой совестью», «Военное творчество народных масс» поражают не просто метафоричностью, но точностью обозначений.

В заключение хочу сказать, что в своем очерке Вы верно обрисовали супружескую пару П.П. — О.С., внешность, манеры, самый стиль семейных отношений этих колоритных людей, удивительно дополняющих друг друга. В Петре Петровиче не было

генеральской сановитости и снобизма, как, впрочем, и в Ольге Семеновне, ничуть не похожей на чванливую генеральшу. При первом же визите к ним стало понятно, что церемонность здесь неуместна, и моя напряженность быстро иссякла. С годами, однако, стало заметно, что этот союз распадается, и в последнем своем письме (за неделю с небольшим до смерти) П.П. сообщил о разводе.

После внезапной кончины П.П. Ольга Семеновна передала Вл.Ак. много ценных материалов из его библиотеки, они были активно использованы им в дальнейшей научной работе. Через 20 лет (с 1983 г.) они остались на моих руках. В последующую четверть века я сделала все возможное, чтобы сохранить их для истории, передавая в фонды музеев: Брянского областного историко-краеведческого музея, Брянского музея современной истории (б. Партархива), Новозыбковского краеведческого, П.П.Вершигоры в селе Севериновка Молдавской ССР. В домашнем архиве оставила письма П.П., не решаясь с ними расстаться.

К моменту моего переезда к сыну в Москву (2004 г.) я считала работу завершенной. Однако год тому назад, когда прошло 25 лет после смерти Вл.Ак., мы приняли трудное решение и, оставив себе копии, передали 35 писем П.П., 3 телеграммы, 2 открытки в научный фонд Брянского историко-краеведческого музея. В домашнем архиве осталась прекрасная фотография О.С. с дарственной надписью, фото П.П., Вл.Ак., О.Я.Самочатовой с матерью на пикнике, сочинения П.П., несколько ценных книг из его библиотеки (в т.ч. Клаузевица, Ф.Гальдера и др. известных полководцев), старинные издания сочинений Д.Давыдова.

Поскольку Ваш очерк опубликован совсем недавно, не исключаю, что он лишь часть более обширного замысла. В этом случае м.б. мои воспоминания будут для Вас интересны.

С уважением и благодарностью Е.Г.Непомнящая».

Чем вызвано то эмоциональное потрясение, которое, можно сказать, рвется из строк этого письма? Позже мы с Елизаветой Григорьевной познакомились лично и поговорили, и теперь могу утверждать с уверенностью: оно вызвано вынужденным неполным знанием того, что, казалось бы, знаешь досконально, и вдобавок надвинувшейся стеной забвения о том, что прежде ценилось по справедливости, стояло так высоко, было столь всеобще, славно, почитаемо и любимо.

Елизавета Григорьевна Непомнящая прожила с В.А.Зеболовым почти три десятка лет. Но замуж за него она вышла, когда самые главные жизнеопасные трудности послевоенной биографии Вершигоры были уже позади. Говорить о них тогда было не принято, и многие раскопанные факты и документы, представленные в журнальной публикации, она не знала, да по обстоятельствам времени отчасти и знать не могла. Что же касается стены забвения, то вот только несколько примеров.

Петр Петрович Вершигора был похоронен на Новодевичьем кладбище. Сын Е.Г.Непомнящей — Георгий Владимирович (он инженер, работает в одном из научно-исследовательских институтов Москвы) рассказывал мне: однажды, не столь давно, он задумал навестить могилу близкого друга своих родителей. Когда-то мальчишкой он присутствовал на торжественной и громозвучной церемонии установки надгробия на могиле героя — генерала и знаменитого писателя Вершигоры. Знал, что тот похоронен на тогдашнем расширенном участке Новодевичьего кладбища, где совершались воинские захоронения. Но местоположения могилы не помнил. Так вот — даже в результате настойчивых поисков найти ее он не смог. Что же случилось?

Не хотелось бы думать худшее, но, возможно, все объясняется просто. Могила оказалась бесхозной. Сын Петра Петровича безвременно скончался. Разведенная вдова тоже умерла рано. Других близких и заботливых родственников не сыскалось. Дряхлым старикам, соратникам боевых дел, если таковые еще оставались, стало не до посещений могил. Между тем после смерти Вершигоры (март 1963 года) минуло уже чуть ли не дважды по 25 лет. За участок надо платить. Какой же хваткий глаз в наши-то времена потерпит такую бесхозяйственность, такой бросовый кусок на столь дорогой и престижной земле? Хорошо, если тут только недоразумение, ошибка в похоронных документах. Но и она показательна.

Впрочем, чего же ждать от могильщиков, когда стойкостью памяти не страдают

и на высших этажах социальной лестницы. В мае 2005 года, когда автору книги «Люди с чистой совестью» исполнилось бы 100 лет, «Литературная газета» в своих «Памятных датах» помянула Вершигору всего тремя строками (буквально — тремя!). Тогда как, например, о поэте Евгении Долматовском, которому в том же мае исполнилось бы 90 лет, не говоря уж об Ольге Берггольц (95 лет), тут же написано гораздо больше, причем в сопровождении фотопортретов, чего писатель-партизан также не удостоился.

Совсем в иную эпоху, когда память еще не одряхлела, в Киеве одна из улиц носила имя Петра Вершигоры. Не знаю, сохранилось ли это название теперь. Памятник легендарному разведчику Николаю Кузнецову в Западной Украине, например, снесли. Тогда как такие люди, прожитая ими жизнь, больше всего и объединяют украинцев и русских, а в данном случае еще и молдаван, в одно братство.

Конечно, я рад, что посильно способствовал восстановлению светлой памяти этого человека. Что же касается Елизаветы Григорьевны, то присланным мне письмом она не ограничилась. А принялась и дальше пропагандировать сведения о Вершигоре всеми доступными ей способами.

Через несколько месяцев я получил от нее вырезку из областной газеты «Брянский рабочий» (от 1 октября 2009 г.) с ее собственной статьей под рубрикой «Книжная полка» и названием «Об очерке *"Переодетый генерал"*». (Контакты и связи с бывшим партизанским краем, как видим, у нее поддерживались и сохранялись.)

С изъятиями и сокращениями, относящимися прежде всего к доскональным разборам собственных моих сочинений, приведу выдержки из статьи. Мне кажется, что подобные цитации фактов и свидетельств о тогдашних событиях будут отвечать и заявленному жанру — «История в письмах и рассказах очевидцев». А автор статьи многое имела возможность наблюдать воочию.

«В Интернете /.../, — говорилось в статье. — был опубликован документальный очерк «Переодетый генерал» (ж. «Дружба народов», 2007 г., № 5 /.../ Речь шла о человеке, сыгравшем огромную роль в жизни моего мужа Владимира Акимовича Зеболова...

С Петром Петровичем Вершигорой и его семьей он познакомил меня в начале 50-х, одновременно — с другими прославленными партизанами: Героем Советского Союза В.А.Карасевым, разведчиком и писателем Ю.А.Колесниковым (позднее, после перестройки, ставшим Героем России), партизаном И.И.Бережным.

Теперь я поняла /.../, сколь поверхностны были мои представления о жизни и судьбе П.П.Вершигоры, которую я, человек со стороны, видела в ореоле военного подвига и послевоенного триумфа, не подозревая о трагической подоплеке событий, не зная, что у этого парадного фасада была обратная сторона, а там разыгрывался гнусный спектакль из провокаций, слежки, доносов, закулисных интриг, отравлявших личную и творческую жизнь писателя.

/.../ Созрело решение познакомиться с автором. Встреча оказалась плодотворной. Писатель проявил большой интерес к материалам нашего домашнего архива, особенно многочисленным письмам П.П.Вершигоры к Владимиру Акимовичу, его библиотеке с редкими изданиями военных мемуаров, посмотрел документальный фильм о нем «Одна жизнь» Ростовской киностудии, снятый в 1982 г., записал нашу беседу /.../.

В конце 50-х гг. прошлого века /.../ постепенно становились доступными документы секретных архивов и органов КГБ, мемуарных и других источников /.../ Неудивительно, что писатель избрал в своем творчестве жанры биографического романа-расследования и очерка-портрета. В центре его произведений — противостояние человека и власти, таланта и посредственности, духовности и мещанства, подвиг личности, платящей непомерно высокую цену за достижение достойных жизненных целей. Герои книг /.../ — драматург Б.Брехт, прозаики Ю.Трифонов, Ф.Абрамов, И.Эренбург, поэт Б.Слуцкий, ученый П.Капица, писатель и воин Вершигора. При том что у романа и очерка возможности различны, композиция их сходна: герой поставлен в ситуацию выбора, испытания характера и воли, ответственности перед обществом и судом собственной совести, неизбежно перерастающую в противостояние тоталитарному государству. Кульминация нередко совпадает с событиями общена-

ционального масштаба, когда противоречия общественной жизни обострены до предела.

Очерк состоит из 11 глав. Две первые посвящены биографии героя. Трудное детство, раннее сиротство, проявление художественных склонностей — к музыке и театру, овладение творческой профессией режиссера-документалиста, работа на Киевской киностудии им. А.Довженко.

Начало ВОВ круто изменило судьбу Петра Петровича. Без колебаний отказавшись от брони, он стал рядовым бойцом 264-й стрелковой дивизии. Вскоре она попала в окружение. Взяв на себя руководство вместо павших командиров, он, после четырех суток блужданий по немецким тылам, получив при этом осколочное ранение ноги, вывел остатки батальона на восточный берег Днепра. Это была первая репетиция будущей партизанской эпопеи. Выйдя из лазарета, Петр Петрович возглавил бригаду военных корреспондентов, отсюда попал в разведку, а в июне 1942 г. был заброшен с радисткой и помощником в освобожденный от немцев «партизанский край» Брянского фронта. Несколько месяцев спустя его разведгруппа влилась в Первое украинское партизанское соединение С.А.Ковпака, где Петр Петрович в короткое время становится одним из руководителей. Начался стремительный взлет к вершинам военной карьеры от рядового солдата до опытного партизанского полководца, генерал-майора, Героя Советского Союза, командующего Первой партизанской дивизией /.../.

На последнем витке ВОВ напомнили о себе художественные склонности. В крестьянской хате при свете керосиновой лампы он работал над своей первой и лучшей книгой «Люди с чистой совестью».

Она вышла в свет в 1946 г., имела оглушительный успех, была удостоена Государственной премии за 1947 г., внесена в список экранизаций на его родной Киевской киностудии, дала и множество жизненных привилегий: большую квартиру в доме писателей в Лаврушинском переулке, госдачу в Переделкино.

Тем более трагическим стал крутой поворот в судьбе, начавшийся два года спустя. По личному указанию Генсека Сталина книгу вычеркнули из кинопроектов: крамолу обнаружили в теоретических высказываниях писателя, в его взглядах на задачи литературы о войне. Он был среди тех, кто считал, что победа в ВОВ была достигнута вовсе не гением Сталина, а подвигом народа, что настоящую правду об этом могут сказать «бывалые люди», участники войны, а не беллетристы, кабинетные краснобаи... Он предвидел, сколь тернистым будет творческий путь, на который ступил, и писал в Предисловии к книге: «Была лишь одна трудность — найти в себе мужество говорить обо всем только правду»/.../

Противостояние писателя и власти проявилось и в других вопросах. П.П.Вершигора занял независимую позицию в так называемом «деле о Винницком подполье». Он встал на защиту чести украинских партизан, чей подвиг был описан в документальной повести Героя Советского Союза Д.Медведева «На берегах Южного Буга» (1952 г.). Автор, подвергшийся травле со стороны органов КГБ и официальной прессы, скоропостижно скончался в возрасте 56 лет /.../.

В 4-й главе события переносятся на десятилетие вперед, в 1958 г. Автор, молодой журналист, встречается с именитым писателем далеко от Москвы, на Волге, куда оба прибыли в качестве корреспондентов «Литературной газеты» для совместных репортажей о торжественном открытии Куйбышевской ГЭС /.../ Трудная судьба главной книги Вершигоры «Люди с чистой совестью», его писательского успеха и источника всех его житейских бед, созвучна драматизму исторического момента открытия величественного сооружения на Волге, которое одновременно было чудом техники, инженерной мысли, народного героического труда, но и актом насилия над природой, жертвоприношением. И этого не мог не почувствовать Хрущев, человек из народа, одаренный умом и смелостью, но невежественный и самоуверенный, к тому времени уже не только борец с культом личности Сталина, но и автор нелепой кукурузной кампании, и гонитель передовой художественной интеллигенции, и паяц на международной политической арене. В очерке мы видим его растерянным триумфатором, ощущающим всю трагическую двусмысленность победы человека над великой русской рекой, матушкой Волгой. /.../

Соединение двух тем — судьбы народной и судьбы человеческой — сложная художественная задача/.../. Полон глубокого смысла заключительный аккорд повествования в итоговой 11-й главе. События перенесены здесь в осень 1964 года, когда свергли Хрущева. Позади осталось послевоенное десятилетие, сменилось политическое руководство страны, ушел из жизни Вершигора.

Что оставили после себя для народа и истории главные герои? Н.С.Хрущев — репутацию разрушителя культа личности, но при этом реформатора-сумасброда, чье имя уже той же роковой для него октябрьской осенью 64-го года издевательской надписью мелом маячило на борту старой ржавой баржи на волжском корабельном кладбище — судов, сданных в утиль.

Партизанский полководец и писатель Вершигора — книги о народном подвиге /.../

Авторская повествовательная манера захватывает: факты, характеристики, жанровые сценки, диалоги и пейзажные зарисовки, экскурсии в прошлое, величественные картины монументальной стройки, описания грандиозных инженерных сооружений и хитросплетения политических интриг искусно соединены в единый сюжет о драматической судьбе легендарного партизана-писателя, художника-воина, прожившего короткую, но достойную жизнь.

Что касается дальнейшей судьбы Вершигоры, то он добился обещания Хрущева об аудиенции в Москве, где его проблемы вскоре были решены. Благодаря этому писатель с новым энтузиазмом вновь взялся за перо и в последние пять лет жизни успел написать документальную повесть «Рейд на Сан и Вислу» (1959 г.), роман «Дом родной» (1962 г.), исторический очерк «Партизанские рейды» (в соавторстве с В.Зеболовым, 1962 г.). Даже в самые тяжелые времена он не оставлял творческой работы: преподавал в Академии Генштаба Советской Армии и писал большое исследование «Военное творчество народных масс», опубликованное в 1961 г.

В очерке журнала «Дружба народов» брянские читатели разных поколений найдут для себя особенно много интересного: ветераны — правду о героическом прошлом, об историческом подвиге народа в борьбе с фашизмом, молодежь — впечатляющий пример верности призыванию и гражданскому долгу, и те и другие встретятся со своим знаменитым земляком, уроженцем Бежицы, сыном сталевара, Героем Советского Союза Д.Медведевым, автором повестей «Это было под Ровно», «На берегах Южного Буга», пьесы «Сильные духом».

История писателя-генерала Петра Вершигоры многими нитями связана с Брянщиной. Он любил этот уголок России, откуда начинались его фронтовые дороги /.../.

* * *

Вернемся теперь к дальнейшему рассказу о военной судьбе безрукого разведчика — парашютиста Володи Зеболова и его отношениям с будущим комдивом и писателем Вершигорой. В густонаселенной документальной книге «Люди с чистой совестью» многое названо напрямую, о другом догадываешься из контекста.

В трагикомические тона окрашены сцены первого парашютного задания Володи Зеболова, когда самой судьбе заблагорассудилось снова свести их с Вершигорой.

Юношу с радисткой после окончания разведшколы должны были сбросить на парашютах в районе, занятом немцами. Но самолетный штурман в сложных условиях полета «недовернул» больше чем на сотню километров. И парашютисты приземлились в Брянских лесах, в самой гуще партизанского края, притом в разных местах.

Юношу окружили бойцы самообороны. «Приземлившись у ветряка и увидев бегущих к нему вооруженных людей, Зеболов решил, что он попал в руки противника. Быстро отстегнув стропы, он отбежал в картофельное поле и залег. Партизаны оцепили белое пятно парашюта. Пока они возились с ним, Зеболов успел отползти дальше... Зная, что под «Бахмачем» никаких партизан нет, и слыша русские окрики, парень решил, что попал в лапы полиции. «Все кончено», — подумал он и бросил гранату себе под ноги. Партизаны кинулись врассыпную, но она не взорвалась. Очевидно, какой-то из «пальцев» на руке Зеболова, смастеренный руками хирурга, все же действовал плохо...».

Хорошо, что об этих событиях узнал Вершигора, случившийся неподалеку. Он

нашел Володю под охраной, лежащим на земле, связанным, избитым. Своего недавнего сотоварища по разведшколе взял на поруки. «Зеболов после этого пристал ко мне,— заключает Вершигора.— Со мной он пришел к Ковпаку».

При добродушии и нежности к друзьям Вершигора, если требовалось, был человек жесткий и решительный. Уже в наши дни, в 2005 году, это по-своему дал ощутить посетителю музей Российской армии в Москве. Среди множества других разнообразных экспонатов юбилейного года он представил и мини-выставку документальных фотографий Вершигоры поры войны. Один из посетителей, пожелавший укрыться за псевдонимом Babay, поместил отзыв об увиденном в интернетовском разделе «club.foto.ru».

Привожу его здесь. «На мой взгляд,— пишет автор,— самый великий фотограф вообще всей 2-й мировой войны — это Петр Петрович Вершигора. Да, генерал — майор, да, Герой Советского Союза. Да! А кто-нибудь видел его серию из трех снимков «Допрос и расстрел полицая»? Снято жестко, даже жестоко. Снято профессионалом — Вершигора все же имел диплом кинорежиссера. Но допрос вел он. Решение о расстреле принимал он. И это не были снимки палача, типа, как один американец — снайпер на винтовке во Вьетнаме установил фотик и снимал расстрел и с задержкой падающего человека. Нет! Всего три кадра в серии. Запутавшийся человек, тут цитирую книгу Вершигоры: «Усю Расею германец оманул» («Люди с чистой совестью»), потом осознание вины перед расстрелом: «Скажите, что Никифор подох как собака», а потом этот Никифор в могиле глубиной в полтора штыка лопаты, я для кота больше вырыл. И вторая серия Вершигоры — замерзшие трупы убитых еврейских детей. Просто лежат. Глаза открыты... А у кого на щеке замерзшая струйка, а кто просто как фарфоровая кукла лежит...

Достоверность — главное оружие фотографии,— заключает автор.— Иногда фотография становится оружием человечности» ([http:// club. foto. ru.](http://club.foto.ru)).

...К январю 1943 года Володя Зеболов был уже в числе наиболее проверенных и надежных бойцов из окружения Вершигоры. Начальник разведки брал его с собой на самые рискованные задания. Описанием такого случая открывается *Часть вторая* книги.

В начале января Сумскому партизанскому соединению в боях с наступающими на пятки карателями по тонкому проседавшему речному льду предстояло вместе с тяжелой военной техникой форсировать Припять в самых болотистых местах Полесья. Времени не оставалось никакого. А тут еще в тылу объявился какой-то подозрительный лесной отряд, смахивающий на полицейские формирования, но выдававший себя за своих. Патрульное охранение ковпаковцев задержало несколько вооруженных людей мужицкого вида. Они пытались бежать. Когда же их схватили, то принялись упрямо твердить, что они самостоятельные партизаны из отряда какого-то Бати, свои, и готовы это доказать.

Получить поддержку и четкую ориентацию на местности для верного ухода от карателей — лучшей подмоги в этот момент ковпаковцам трудно было вообразить. Но, прежде чем войти в контакт с предполагаемыми помощниками из якобы здешнего партизанского отряда, следовало убедиться, что это не волчья яма, не подстроенная ловушка. Но как это сделать? Когда враг брал за горло и промедление могло оказаться гибельным?

Исполнить сразу все — проверить подлинность лесных братьев, получить информацию и поддержку — можно было самым опасным для жизни способом. Лично отправившись в расположение таинственного отряда. А он находился где-то за лесной чащобой и болотами, куда не пробраться карателям.

Начальник разведки Вершигора взял эту задачу на себя. В помощь и поддержку отобрал только четверых спутников. Среди них назван Володя Зеболов.

Рассказ об этой «болотной экспедиции» в отряд Бати и описание того, что они там увидели и узнали — один из ярких эпизодов в потоке партизанских картин. Героическое и трагическое у Вершигоры нередко соседствуют и переплетаются с комическим. Автор — человек с природным чувством юмора, добродушным, порой язвительным. Повествование здесь к тому же нередко переходит почти в приключенческий жанр.

Одна из своеобразных фигур, с которой они столкнулись у Бати (партизанский отряд оказался-таки настоящим), — одинокий народный мститель, по прозвищу Нин. Нелюдимый, замкнутый человек, недавний сельский киномеханик. Прозвище женской окраски приклеилось к нему неспроста.

Какое-то время назад каратели для устрашения публично повесили в райцентре девушку — диверсантку по имени Нина (некоторыми подробностями случай в чем-то отдаленно сходствовал с гибелью Зои Космодемьянской). А спустя несколько дней на ее могиле ночами стали появляться свежие букеты цветов. Поползли даже слухи, что девушка ожила и встает ночами. Кто же приносил цветы на могилу? Партизаны проследили. Ночным воздыхателем оказался этот самый киномеханик.

В отместку за смерть девушки он собирался убить здешнего немецкого начальника. Вместо одиночного теракта партизаны уговорили «Нина» взорвать кинозал, когда там на групповой просмотр набьется много немецких солдат. Так оно и случилось. На грузовиках прикатила военная команда смотреть фильм с Марлен Дитрих в главной роли на немецком языке. Зал взлетел в воздух, когда там находилось около двухсот оккупантов.

Вот в роли такого романтического одинокого народного мстителя под видом нищего и бродил по дальним маршрутам здешней округи (проделывая по 50 и более километров в день) безрукий соглядатай Володя Зеболов. Ноги у безруких калек сильные. Можно сказать, не ходил, а летал. Местный говор с аканьем, лексически состоящий в здешнем Полесье из скрещения и смеси белорусского, украинского и русского языков, Володя знал с детства. Был ловок, смекалист. И все запоминал. На безрукого нищего немцы не обращали внимания. А после его походов взлетали на воздух склады, железнодорожный мост, а иногда и поезда.

Безрукий соглядатай превращался в ловкого и быстрого поводыря для подрывных партизанских групп.

В остальном же Володя Зеболов был сентиментальный мечтатель и романтик — не меньше, чем тот Нин из отряда Бати. «Инвалид первой группы», «непригоден» — это по записи в военном билете. А вот еще как сгодился!

Трогательно описано молодежное партизанское отделение, жившее чуть на отшибе, и романтическая дружба инвалида с радисткой Анютой Маленькой. Радистка эта в отличие от других обыкновенных радисток, вроде сброшенной с Володей на парашюте, была человеком непростым, наделена особыми полномочиями, имела специального ординарца, доступ к самым секретным документам и, не исключено даже, вдобавок скрытое звание и чин по линии НКВД. Ведь через кого и знать, чем занята соседняя армейская разведка? Впрочем, такое допущение не выдуманно, а взято из многочисленных публикаций последних десятилетий, о чем речь еще впереди. Однако же молодость, партизанское братство в ситуациях постоянного риска раскрывают лучшее в человеке. В обычную свойскую дивчину легко превращалась и Анюта Маленькая.

«Довольно капризная девушка, — описывает Вершигора, — но с Володей у нее установился трогательно-грубоватый тон... Когда Зеболов хандрил, она подходила к нему и, заглядывая в глаза, говорила:

— Не горюй...

Анюта работала на своей рации, связывая меня с фронтом. Недостатка в полезных данных о немцах у меня не было, и ей приходилось работать целый день. Они занимали отдельную хату — небольшой коллективчик молодежи: Володя Лапин, Анюта Маленькая, ее повозочный и ординарец Ярослав из Галичины... Володя Зеболов, Вася Демин...

— Не горюй, Володя, — все чаще говорила ему Анюта, даже когда в глазах его не было и тени грусти.

А Зеболов, садясь за стол с дымящейся картошкой и нагибаясь ближе к тарелке, отвечал:

— По-ве-се-лимся-а-а...

Это означало, что пора отделению ужинать. Володя иногда поддразнивал радистку, вспоминая, как она хотела подстрелить меня во время первой нашей засады, когда я мчался мимо нее на немецкой легковой машине».

Нрава, как видим, эта девушка была решительного и крутого.

В книге Вершигоры много персонажей и красочных бытовых картин. Может, кое-что из описаний внутреннего мира партизанской молодежи и интимных движений души покажется ныне однолинейным и даже упрощенным. Герои порой неотесанны, вроде бы грубоваты, сконцентрированы на одном, не блещут слишком широким спектром желаний и чувств. Им подавай одну дружбу, одну любовь, одну победу. Но такое было время, такая эпоха. А Вершигора пишет искренне, и книга его при ряде очевидных теперь недостатков в целом правдива.

Это главное ее достоинство отмечают даже самые строгие ценители, вроде западногерманского исследователя Вольфганга Казака. Отзыв из статьи о П.Вершигоре его «Лексикона русской литературы XX века» (доработанное немецкое издание — 1992 г., русское издание — 1996 г.) приводился в очерке «Переодетый генерал»*.

Интересно в этом смысле собственное самочувствие писателя. Вскоре после кончины Вершигоры его вдова Ольга Семеновна вместе с другими архивными документами и книгами передала Зеболовым страницу из его дневника. Запись сделана 25 ноября 1962 года, вскоре после перенесенного инфаркта, всего за четыре месяца до смерти. С печальным трепетным чувством впервые воспроизвожу ее здесь.

«Все-таки какой же я писатель? — спрашивает себя П.П. — Не знаю. Хотя, нет — кажется, знаю. Знаю и могу ответить и без ложной скромности, и без опасения, что меня обвинят в бахвальстве или зазнайстве. А ведь таких завистников тоже хватало. В общем одни восхищались, другие просто хвалили, третьи часто критиковали, четвертые тщились из злобной зависти пришить дело, пятые по-серовски подогнать под трибунал. А были и такие наследники Берия, которые настойчиво и упорно доводили меня или до запоев, или до пули в лоб. Но спилась моя любимая жена, а не я. И, видимо, никогда я не застрелюсь, а подобно как многие творческие люди нашей эпохи просто подохну от инсульта или инфаркта /.../

Так все же какой я писатель: гениальный, или просто талантливый, или средний, или бездарный, или, может быть, даже подлый? Весь этот набор эпитетов я слышал о себе и читал. Но даже никто из моих злейших врагов и завистников никогда не обвинял меня в нечестности, а недруги литературные — в подражательности. Значит, я писатель честный и оригинальный. Первый эпитет принадлежит очень сдержанному на похвалы собрату по перу Михаилу Александровичу Шолохову, сказавшему как-то: «Люди с чистой совестью» — это, братцы, честная книга». Второй эпитет дал мне неизвестный страдалец из Норильска/.../

Значит, точный ответ на мучительный для меня — особенно мучительный сейчас, после летнего 1962 года, первого звонка с того света,— будет такой: я писатель честный и оригинальный.

Да, чуть не забыл, моя бывшая жена в трагичный период моей личной жизни — развода с ней, добавила третью убийственную оценку — лодырь. Пожалуй, и это тоже верно. Но только отчасти... Ей-ей, только отчасти! Ведь и расхожусь я, Ольга, с тобою, только спасая от тебя свое право и назначение трудиться в литературе...»

Через четыре месяца ночью, от очередного приступа болезни, Вершигора задохнулся.

Что же касается Володи Зеболова, то он как был, так и остался романтиком. «Володя, Володя! Неисправимый ты романтик, хороший ты парняга и большущий чудак!» — чуть ли не причитал в одном из писем Вершигора.

Не изменился он и десятилетия спустя, когда уже превратился в солидного доцента — преподавателя истории пединститута и университета. И цветы он любил, как тот незабвенной памяти районный киномеханик Нин.

Известный в свое время московский поэт Владимир Туркин, друживший с ветераном войны, даже написал об этом маленькую бытовую балладу. Случай взят из жизни. Герой выведен под своим именем. Стихи так и названы «Цветы». Приведу их здесь.

Цветы

Что с вами, женщины, случается,
Когда средь скучной суеты
Вам неожиданно вручаются
Совсем обычные цветы?..

Я вспомнил давнюю историю,
Я вспомнил старый эпизод,
Я вспомнил случай,
От которого
Доныне стыд меня грызет.
И ничего б такого не было,
Когда б в понятие красоты
Не ввел меня Володя Зеболов,
Купивший женщинам цветы.

...Мы шли с ним где-то возле Пятницкой...
Не помышляя об ином,
Мы шли поздравить женщин с праздником,
С Международным женским днем.
И — весь авоськами навьюченный —
Неосторожно думал я:
А что для них — войной измученных —
Есть лучше снеди и питья.

Был март. И падала под ноги нам
Капель с карнизной высоты.
И вдруг от голоса Володиного
Я вздрогнул:
«Подожди. Цветы!»

И он, со снайперскою точностью
Перемахнув десяток луж,
Уже стоял перед цветочницей...
Перед молоденькой к тому ж.

Как тяжело рукам! Беспомощно
Оглядывался я вокруг...
Но дело в том... Но дело в том еще,
Что у Володи нету рук...

Но дело в том... но дело в том еще,
Что он лишь совестью влеком,
Под вой сирен пришел за помощью
Не в райсобес,
Пришел в райком:
«А что вы думаете, где бы я
Быть должен в этот трудный час?
Что ж, что солдат подобных не было!
Пусть я им буду. Первый раз...»

И в тыл врага пробит маршрут ему.
Лети, солдат, лети, лети...

Ах, эти стропы парашютные...
Ах, две беспомощных культи...

Засада. Бой. Тропинки дальние.
Разведка. Ночь. Костра дымок.
Он добывал такие данные,
Каких никто добыть не мог.

А как тепла и ласки хочется!..
Смерть — не права. Но жизнь — права.

...Вот он стоит перед цветочницей,
За спину сдвинув рукава.
И с неистраченной нежностью
Всю душу отдает словам:
— Мне пять букетиков подснежников.
Мне — пять.
Шестой — позвольте вам...

Что с вами, женщины, случается,
Когда средь скучной суеты
Вам неожиданно вручаются
Совсем обычные цветы?..

* * *

Злосчастное парашютное приземление с пленением и побоями в отряде партизанской самообороны было не единственным случаем, когда Борода спасал своего питомца, вырывал его из лап жестоких обстоятельств. Недаром Владимир Акимович считал Вершигора «вторым папашей».

В последнем прижизненном издании книги «Люди с чистой совестью» писатель сделал такое примечание: «Послевоенная судьба Зеболова тоже стоит того, чтобы о ней рассказать. Весной 1943 года он по приказу начальства был отозван в Москву. Оттуда его несколько раз «забрасывали» в тыл... Кончилась война, и единственный из ковпаковцев, не имевший даже партизанской медали, а не то, что ордена, был как раз он — Володя Зеболов. И парень запил. Не от неудовлетворенного честолюбия, а от обиды.

Как-то получаю письмо от отца Зеболова. Узнаю: сидит его безрукий сын в тюрьме. Выясняю причину. Оказывается, случилось вот что... В одном из фабричных ларьков работникам предприятия продавали хлеб без карточек. По полкило в одни руки. Здесь покупала его и одна местная жительница, мать двух партизан, погибших на войне, — на ее руках остались внуки, партизанские дети. Но вот директор вдруг запретил продавать хлеб этой женщине и приказал вахтеру гнать бабку прочь.

Пришла старушка — ее не пускают... Просит, плачет, настаивает... Вахтер оттолкнул ее — и она упала в грязь. Все это видел мой Володя. Бросился он на вахтера и своими культиями «сделал» из него «свиную отбивную». Конечно, совершил Володя непростительную ошибку. Ему бы из «лика» самого директора такую отбивную сделать — ну куда ни шло. В общем, тут же и суд, а затем тюрьма.

Что же делать? Чем помочь боевому товарищу, думал я. И написал я в Брянский обком партии письмо. Все подробно рассказал о Володе Зеболове, о его судьбе, о подвигах, об обиде... Говорили мне — вызвали его из тюрьмы прямо в обком. Лично первый секретарь обкома беседовал с ним, а потом взял его на поруки. И вот пошел Володя учиться — окончил пединститут... и теперь работает преподавателем»

Драма разыгралась вскоре после окончания войны возле фабричного хлебного ларька поселка Малый Вышков, неподалеку от Новозыbkова. Там на спичечной фабрике с уцелевшим названием «Революционный путь» работал отец Володи, жил теперь и он сам.

Друзья познаются в беде... Может, это главная мудрость жизни. Человеческая надежность — нет на свете ничего дороже. Вершигора, генерал и писатель, в ту

пору — Герой Советского Союза, сталинский лауреат. Уже и в роскошную квартиру в Лаврушенском переулке давно въехал, и дачу в Переделкине рядом с именитыми собратями по перу освоил. За размокшую ржаную краюху в полкило весом не бился, конечно. Напротив, если бы захотел, — витал бы в сферах, купался в лучах славы. Только другая натура. За это уже бит, испытал первый вал неприятностей. Но все же круг его общений и забот далек от хлебного ларька Вышковской спичечной фабрики. И он бы мог рассудить. Конечно, жаль, что так случилось. Парень Володька был неплохой. Но ведь таких подчиненных у недавнего комдива была не одна сотня. А пьянствовать и драться тоже ведь не хорошо.

Человек с арифмометром вместо сердца выщелкнул бы для себя какую-нибудь подобную расхожую мудрость.

К тому же гордый Зеболов не написал даже благодарственного письма избавителю. Свои беды и несчастья привык укрывать глубоко в себе. Но Петр Петрович берется за перо первым. Он хорошо понимает человеческие характеры. Вот с некоторыми сокращениями его письмо от 2 августа того же года:

«Володя!

Я ожидал, что получу вскоре после всех казусов от тебя письмо. Но не дождался. Сейчас у меня мелькнула мысль, что, возможно, ты и не знаешь, что же получилось после того, как твой батя написал мне письмо о твоём последнем фортеле.

Посылаю тебе телеграмму тов. Егорова (первый секретарь Брянского обкома партии. — Ю.О.), из которой ты кое-что, может, и поймешь.

Мое отношение к этому делу следующее:

Стоит ли из-за вахтера рисковать жизнью, будущим, наукой, всем прекрасным, что есть в жизни?

Милый мой — я на своем пути встречаю вахтеров... похлеще и подипломированней твоего. И всем бить морду? А ведь тоже часто хочется. Встретишь и ты их. И не раз!

Следовательно — не пора ли крепко подумать о характере и прочем — что человек настоящий должен выковывать в себе изо дня в день.

Думаю, что тебе не следует произносить мне крайних слов: либо анархистских, либо покаянных. Наши отношения не требуют этого».

«*Наши отношения не требуют*» — интонация не высокого благодетеля, а друга. Человека общей судьбы, на пути которого тоже постоянно возникают «вахтеры», только еще более изощренные и опасные.

Волной почти отеческого чувства окрашено все письмо: «Подробно напиши мне — как было дело. И больше не вручай свою судьбу и жизнь в руки вахтеров! Ей-богу, мы все стоим гораздо большего!

Привет отцу!

П.Вершигора.

P.S.Обязательно подтверди получение этого письма. А то на почте тоже есть... вахтеры».

Необыкновенная открытость, простота и человечность — вот, пожалуй, общее свойство всех писем Вершигоры. Даже и намек нет, что он генерал, а питомец его по социальной лестнице где-то болтается внизу.

Написанные разгонистым четким почерком простосердечного человека, письма в большинстве случаев не датированы. И не всегда легко установить, к какой поре последующих почти 20-летних отношений они принадлежат. То ли к началу возобновившейся дружбы, то ли много позже, когда уже и сам Вершигора подвергался гонениям, находился накануне ареста, неоднократно был избиваем в печати, месяцами ждал ответов от редакторов и цензуры. Вынужден был, ломая себя, три года переделывать свою правдивую повесть, испытал предательства и доносы вроде бы вчерашних соратников по партизанским тропам.

Тон все тот же — душевной ясности и открытости, готовности помочь там, где он

опытней и сильнее, все рассказать человеку, которому поверил, и поделиться тем, что имеешь.

«Здорово, Володя. С Новым годом! Всяческих успехов в /.../ студенческой жизни!»

Дела мои — по-старому... Дали санкцию на выход книги (доработанного издания «Люди с чистой совестью». — Ю.О.)... Теперь маринует среднее звено. Это еще хуже. Ласково, вежливо, не наступая на мозоли, тянут время. Авось, наверху раздумают или будет какой-либо поворот в делах и можно будет отказаться совсем.

Не думаешь ли ты (*неразборчиво*) приехать? Я дорогу беру на себя. Мошна студенческая мне понятна и знакома. Так что можешь приезжать без копейки в кармане, как-нибудь наскребем на жизнь, на театры и на дорогу обратно. Приезжай,— шутливо отыгрывает он приглашение на грузинский лад, — гостем будешь, кацо дорогой!

Как батя поживает? Передай ему нижайший поклон и почтительный привет».

В следующем письме, той же поры:

«Володя! Я на новой большущей квартире. Приезжай. Прямо из окна видна Третьяковка и т.д. Отдохнешь и наберешься московской культуры... Пиши! 24.6.50 г.»

«Как твоя учеба?— интересуется он и походя наставляет теперешнего студента пединститута.— /.../ Вообще надо побольше дерзать. Доходит ли до вас собрание сочинений А.Макаренки? В 3-м томе его замечательная/ «Книга для родителей» и ряд статей по педагогике. Мы с Ольгой зачитываемся им. Вот талант глубокий, человеческий и яркий, с хохлацким юмором, русской душой и размахом».

Вершигора помогает инвалиду в устройстве в санаторий для лечения. Сам, лежа в госпитале, думает о специальной конструкции протезов, которые для безрукого облегчают процесс письма. «Я сейчас лежу в госпитале,— сообщает П.П.— Выйду через две недели. Сразу займусь твоим протезом. А может быть, попробую расспросить здесь у врачей».

Дружба между людьми с возрастной разницей в 17 лет — случай редкий. Но тут такое случилось. Взаимное внутреннее расположение пересилило или, вернее, даже в свою пользу обернуло дистанцию лет. Первая заслуга в этом, наверное, Петра Петровича. Он по натуре был распахнут к людям, добр и широк душой. В близкой партизанской среде это знали и какими просьбами только его не донимали. Чуть серьезная трудность, уверены были — Борода не откажет, Борода поможет... Для таких случаев чуть не поговорка ходила — «тряхнуть Бородой».

Петр Петрович в одном из писем даже с некоторой горечью упоминает об этом своему молодому другу. Попрекает из лазарета: «Почему ты так редко пишешь? Где-то проваливаешься в тартарары. Приятно получить письмо. Мне пишут и партизаны, но, к сожалению, только тогда, когда что-нибудь нужно... Раз молчит — значит, все в порядке. А вот если посадят или прижмут к ногтю или еще что — сразу получаю послание: «тов. командир, Герой Сов. Союза и т.д. и т.п.» Вначале было обидно. Теперь привык».

Володя Зеболов по натуре был скрытен и, может быть, не слишком разворотлив. Но зато надежен и верен. Такой не подведет. Довериться ему можно было во всем. Вот почему через какое-то время Вершигора в переписке с Зеболовым доходит до исповедей не только на серьезные, но даже и опасные темы. Он прямо говорит о том, как понимает свое положение в нынешнем советском обществе.

Он пишет Володе Зеболову, что не хочет принадлежать к сановной верхушке, которая заправляет в стране. Лучше держаться особняком, наедине с природой. «Завел себе дачу (финский домик на курьих ножках) не для того, чтобы разлагаться, а чтоб забыться от мирных подлецов (удивительно, почему на войне их меньше?!) и своими руками выращивать зеленые побеги».

Начиная со стычки у хлебного ларька, тема «вахтеров» — лакеев режима, людей-«винтиков» — в разных формах и оттенках начинает варьироваться в письмах.

Прежде всего Вершигора вглядывается в самого себя. Он преподает в Академии

Генерального штаба. Казенная заданность доктрин и обстановка иерархического чиновничества претят его вольнолюбивой натуре. В этом откровенно признается своему питомцу «Живу научно — чиновной жизнью, будь она проклята, — вздыхает Вершигора, — делаю нелюбимое дело и удивляюсь, до чего я обмельчал, что не хватает силы сбросить с себя эту обузу вместе с генеральскими погонами. Вернее, боюсь, что их могут снять вместе со шкурой. А шкура-то своя собственная и даже для высоких идей и мечтаний ее не охота портить; тем более что она может еще пригодиться для высших актов и деяний».

К началу 60-х годов, когда писатель подвергается гонениям за гражданскую смелость в защите винницких партизан, а также за правдивость партизанских летописей, он рвет многие связи в прежнем военном окружении. «Денег нет ни копейки, — сообщает он Зеболовым. — Думаю, что это хорошо. Живется голодно, но внутреннее удовлетворение растет. Чувствую, что вырываюсь из этой необуржуазной касты, в которую я никогда не стремился».

«Письма пишите подлинней, — наставляет он Зеболова и его жену Лизу, — но с учетом, что они читаются одним паскудным учреждением, на которое мне с... хотелось с некоторых пор...»

Но брань не способна хоть как-то повлиять на «паскудное учреждение». Своими «вахтерскими» обязанностями манкировать оно не собирается. «Володя! — вынужденно констатирует Вершигора в другой раз. — Письмо получил — сразу отвечаю, как отвечал на все предыдущие письма и твоему другу. Но действительно что-то *не того*. Или твои тоже перехватывают? Но я от тебя не получал уже 3—4 месяца».

Примечательны здесь упоминания о «друге». После трех лет доработок и Маринования в инстанциях вышедшая вторым исправленным и дополненным изданием лауреатская книга «Люди с чистой совестью» подвергалась новому туру публичных избиений и шельмований.

В эту сложную пору недавние разведчики помогали своему командиру. Владимир Зеболов, в частности, вербовал среди бывших партизан охотников, которые писали в органы печати и руководящие инстанции письма в поддержку книги. Одним из таких людей и был упомянутый «друг».

Такие действия были вынужденной самообороной. Потому что среди бывших партизан явились приверженцы другого стана. Некоторые ортодоксы, карьеристы и мелкие завистники готовы были в угоду «генеральной линии» чернить правдивую книгу и даже требовать ее запрета.

В печати и на собраниях при этом били барабанную дробь и пускались в ход самые разнообразные домыслы и кривотолки. К примеру — будто Вершигора противопоставляет украинское партизанское движение белорусскому, чернит последнее и намеренно славит два братских народа. Вершигора писал, разумеется, об Украине, но в отступление от темы книги готов был даже и печатно особо высказаться о заслугах белорусских братьев и повиниться, что в книге не уделил им должного внимания. Но тех, кому назначались публичные экзекуции, до печатных трибун не допускали. Казнимый права на ответное слово не имел.

Вот тут-то и требовалась партизанская солидарность — поддержка письмами с мест, «голос народа». Зеболов с охотой и страстью эту задачу исполнял. А цели и «адреса» они намечали вместе. Это было уже литературное «партизанство» в борьбе за право говорить истину и без прикрас изображать войну.

«Как дела с письмами? — спрашивает Вершигора. — Теперь в свете последних событий особенно интересно было бы, чтоб письма были из Белоруссии. Я хотел было извиниться перед белорусскими партизанами за то, что проглядел и умалил их боевые дела... И то не печатают. Совсем прижали к ногтю».

Самыми ходовыми и убийственными из тогдашних политических обвинений были два. Недооценка организующей и направляющей роли ленинско-сталинской партии и воспевание ее врагов.

В обоих случаях при этом автору лауреатской книги так или иначе вменяли в вину масштабы и характер изображения фигуры комиссара соединения Руднева.

Семен Васильевич Руднев только незадолго до начала войны был освобожден из сталинских лагерей. Организовал партизанский отряд, который примкнул к Сумскому соединению Ковпака. В свои 44 года отличался внешней и внутренней привлекательностью, разносторонней одаренностью, храбростью, умелым подходом к людям, глубиной и гибкостью в понимании боевой обстановки. С октября 1941-го по август 1943 года был, пожалуй, самым ярким и авторитетным руководителем в партизанском соединении.

Люди чувствовали силу и необычность этой натуры и тянулись к нему. Выделял многоопытный Руднев и безрукого разведчика Зеболова. Ценил в нем внутреннюю чистоту и надежность. «Полюбил так,— сказано у Вершигоры в книге,— как может полюбить человек, знающий толк в людях».

Зеболов знал это отношение к себе Руднева и с тем большим энтузиазмом отсылал и поставлял защитников созданного образа.

В нападениях на книгу по линии главных политических обвинений особо усердствовал бывший секретарь парторганизации соединения Я.Панин. «Панин и Анисимов,— сообщает Вершигора, — подали в ЦК «секретную» бумагу с требованием запретить книгу, т.к. В-ра прославляет в ней троцкиста Руднева. Каково?— и добавляет в конце .— Нужно несколько писем в «Культуру и жизнь» (газета ЦК партии. — Ю.О.).

«Яша Панин,— извещал Вершигора 24 июня 1950 г.,— написал на меня кляузу в «Культуру» насчет того, что я не показал роли п/арт/организации (читай, его Яши Панина роли!)... Дед (С.Ковпак. — Ю.О.) поддерживает его молча, а Сыромолотный, который хотел убить комиссара, науськивает... Поэтому нужен второй тур писем пока в органы печати».

«Хотел убить комиссара»... Здесь речь идет уже не об изящной словесности и литературных частностях. Здесь пахнет судьбами людей и кровью.

* * *

По сходному сценарию и развивались события.

Прежде всего — кто такой Сыромолотный, озвучивший, как ныне выражаются, саму идею убийства? А теперь науськивавший на переработанную и дополненную лауреатскую книгу стаю недоброжелателей? Тех, кто твердил на разные голоса, что там не показана роль партии, но зато воспеты ее враги, начиная с троцкиста Руднева? И почему эти нападки молча поддерживал сам Ковпак?

Бригадный комиссар И.К.Сыромолотный был представителем ЦК КП(б)У и Украинского штаба партизанского движения (УШПД) в соединении Ковпака. Высокий назначенец сохранял одновременно пост заместителя начальника УШПД. И хотя реальные его функции в боевом действующем соединении, возглавляемом командиром и комиссаром, были непонятны (на что Сыромолотный, по сохранившимся бумагам, сетовал и сам), слово его значило многое.

И вот такой человек однажды, в апреле 1943 года, без всяких вроде бы личных к тому поводов резко высказался насчет политической благонадежности комиссара. Свидетелями тому стали некоторые партизаны: «... Руднев — враг. В мирное время он сидел в тюрьме, надо было его убрать совсем... Комиссар врагом был, врагом и остался».

Позже покровители Сыромолотного такую оценку пытались объяснить имевшим якобы место эмоциональным срывом. Но так или иначе Семен Васильевич Руднев через три месяца погиб при загадочных обстоятельствах. Вместе со своим 19-летним сыном Радием, который мог оказаться нежелательным свидетелем.

Произошло это в бою под городом Делятин (Ивано-Франковская обл.) в начале

августа 1943 года. Вместе с несколькими другими людьми они прикрывали выход из окружения разрозненных партизанских групп.

Тогда, во время Карпатского рейда, захлестнулась крутая петля. Углубившись на 600 километров за линию фронта, партизаны Сумского соединения бороздили и утюжили тылы противника, сметая на пути немецкие штабы, железнодорожные и шоссейные мосты, нефтяные вышки, нефтеперегонные заводы, склады с боеприпасами и другие жизненно важные объекты. Оккупанты всполошились и бросили на подавление партизан огромные силы, включая самолеты и тяжелую технику.

Это был тот случай, когда всему соединению вырваться из кольца намного превосходящих и вооружением, и числом карателей не было никакой возможности. По предложению Вершигоры было решено применить тактику «призраков», которую с успехом использовал еще Денис Давыдов. Выходить по отдельности, ночью, мелкими отрядами, а за кольцом, в условленном месте, соединиться вновь. Так было и сделано.

Но когда снова сошлись, то среди живых недосчитались комиссара Руднева и его сына. Ковпак издал приказ, что комиссар Руднев пропал без вести. Из уцелевших последними, кто оставался с отстреливавшимся комиссаром, были секретарь парторганизации Я.Панин и радистка Анюта Маленькая.

Тут не обойтись, пожалуй, без краткого отступления. Как живой конгломерат партизанское движение в стране было объектом приложения разных политических и административных сил. Официально стоял во главе маршал Клим Ворошилов, но реальное руководство во многом осуществлял начальник первого отдела НКВД «главный террорист» страны Павел Судоплатов.

Разведка ГРУ (Главного разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии) и разведка НКВД, представленные в каждом крупном официально сформированном партизанском отряде, косо посматривали друг на друга, недолюбливали, нередко соперничали и даже враждовали между собой. В верхах власти эти отношения соперничества, драки за реальное влияние на события, доказательства верности, отличия и награды усугублялись еще больше.

Сколь ни различны противоположные тоталитарные системы, но некие сходства между ними все-таки угледеть можно. Тем более там, где это касается деятельности секретных служб. Воображение вправе по некоторым приметам перекинуть мостики, например, между Берией и Ворошиловым с подчиненным тому ГРУ (с одной стороны) и вождями тайной службы безопасности СС Гиммлером — Мюллером и руководителем военной разведки адмиралом Канарисом, повешенным в 1945 году за участие в заговоре против Гитлера (с другой стороны). Соперничество и борьба этих служб в нацистском стане широко представлена даже в фильме «Семнадцать мгновений весны».

Разведчики Вершигоры принадлежали ГРУ, тогда как рядом действовала еще и опергруппа НКВД подполковника госбезопасности Мирошниченко.

«Сумма всех этих факторов — наличие в партизанской среде спецгрупп ГРУ и НКВД (особенно конечно же энкаведистов), прошлые «наработки» НКВД в отношении Руднева как «врага народа», внезапно проявленная личная антипатия к нему представителя ЦК КП(б)У и УШПД, облаченная к тому же в соответствующий политический сленг, — и дали благодатную почву для появления версии об «устранении» его «своими», роли Сыромолатного в этом как организатора данной акции» — так представляет рождение этой версии обобщающая статья С.Кокина «Кто убил генерала Руднева» (журнал «В мире спецслужб», апрель 2004 г).

Статья выстроена на основе многих предшествующих газетно-журнальных публикаций и дополнительных документов. Она, в свою очередь, стала предметом переложений и оживленных дискуссий, отраженных в Интернете (см.: <http://joangers.livejournal.com/432713.html>). На эти источники в дальнейшем я и буду ссылаться.

Случаются на свете люди, память о которых пробивает толщу лет. Уже сам по

себе факт, что тайна смерти комиссара Руднева до сих пор вызывает столь широкий общественный интерес, тому свидетельство. Личность эта была действительно замечательная.

Сохранился дневник Руднева, который он вел во время глубокого Карпатского рейда. Лишь немногие партизаны имели лошадей. Раненых и снаряжение везли на повозках. Остальные — двигались пешим ходом. Преодолевали не меньше, чем по 50 километров в сутки. С такой поспешностью, чтобы оторваться и уйти от противника, если он их заметил. Шестьсот с лишним километров ночных переходов в тылу врага. Потому что днем чаще всего приходилось отсиживаться в лесах, иногда не разводя костров, чтобы с воздуха не заметили немцы. А ночью — идти и идти. Тогда же и действовать. Уже одно это чего-нибудь да стоит!

Вот выписка из дневника Руднева от 24 июня 1943 года: «...День простояли в лесу в районе д. Корчемка Людвипольского района Ровенской области... Весь день был солнечный, стоим в 7 километрах от ж.-д. Сарны — Ровно. К вечеру погода стала портиться, и к моменту выхода, т.е. к 20 часам, пошел сильный дождь, который шел до 24 часов беспрерывно. Все промокли до нитки. Водой залиты все дороги. Грязь по колено, и, несмотря на это, люди идут и идут. Если я имел плащ-палатку и шинель, промокла плащ-палатка, шинель и были мокрые брюки до тела, то что же было с бойцами, не было ни одного рубца сухого, а бойцы безостановочно идут и идут. Вот уже два года, далеко оторванные от родины борются люди, добывая себе снаряжение, оружие и продовольствие; нет дома, казармы, землянки, а все время под открытым небом, и эти люди не издают ни единого звука жалобы, ни единого недовольства. Что же это за народ? Немцы зовут их «бандитами». Националисты зовут их жидо-большевистскими агентами. Это народные мстители. Это, вернее сказать, народные Апостолы. Эти люди пришли добровольно в п[артизанские] о[тряды], не ища здесь удобств, отомстить врагу за страдание своего народа, за слезы матерей, жен и сестер, за кровь, пролитую своими братьями. Это народные Апостолы ...»

Но Апостолы не смеют марать свою честь и одеяние, на них не может быть черных и жирных пятен. Между тем во время прохода через украинские и опустошенные националистами польские деревни в соединении обнаружили факты мародерства. Эпидемия опасная. «...В артбатарею, — записывает Руднев 1 июля, — обнаружено барахло, взятое двумя бойцами артбатареи Алексеевым и Чибисовым. Оба кандидаты партии и оба орденосцы, но мы решили их расстрелять. Собрали всю часть, издали приказ. Я выступил со словом о позорном явлении мародерства, и начштаба зачитал приказ о расстреле. Многие плакали. Приговоренным дали последнее слово. Оба рабочие, боевые товарищи, стали просить перед всем строем командование части и всех бойцов сохранить им жизнь, они свое позорное поведение искупят кровью. Приказ оставили в силе, но как было тяжело».

В несколько преображенном виде сцена такого вынужденного «очистительного» расстрела есть в повествовании П.Вершигоры «Люди с чистой совестью». И там это, безусловно, один из самых сильных эпизодов.

В дневнике С.Руднева во всей жизненной драматичности и без всяких потуг на прикрасы, часто образно и картинно, воссозданы будни партизанского карпатского рейда. Похоже, что перед нами не только военачальник, но, возможно, и талантливый писатель «шолоховской школы». В Рудневе было развито природное чутье к внутреннему миру людей труда.

Я ничего не преувеличиваю. Достаточно прочесть, например, эпизоды переговоров партизан с украинскими националистами за право без боя форсировать реку Горынь (конец июня 1943 года). На долгом петляющем пути Сумского соединения по Западной Украине им встречались вооруженные отряды националистов разных направлений и толков — мельниковцы, бандеровцы, «бульбовцы» и т.д. Руднев умел их различать и использовать не только оружие, но и язык переговоров.

Через реку Горынь других «переправ нет, — записывает Руднев, — за исключением Яновой Долины, но там немецкий гарнизон, драться невыгодно... Решили делать

наплавной мост... между селами Корчин — Здвиждже, но националисты человек 500 заняли Здвиждже и заявили, что переправу строить не дадут. Ковпак решил: раз так, дать бой и смести это село, чему я решительно воспротивился; это просто и не требует большого ума, но жертвы — с одной и другой стороны, жертвы мирного населения, детей и женщин. Кроме этого, это на руку немцам, которые хотели бы руками партизан задушить националистов, и наоборот. Кроме того, этот бой с националистами будет верхушкой этой сволочи хорошо использован, как они это и делают в агитации среди населения, что партизаны их враги, и отголоски этого боя будут известны на сотни километров.

Я решил пойти на дипломатические переговоры, написали письмо и послали его с дивчиной, тон письма мирный/... / Получили ответ грубо, что не пропустим, будем драться. Ковпак снова рассвирепел. Немедленно артиллерию и смести это село с лица земли. Я заявил, что на это не пойду, лучше согласен вести бой с немцами за мост в Яновой Долине /... / Я решил еще сделать попытку...»

Дальнейшие переговоры представителей обеих сторон с глазу на глаз привели к обмену пленными и ранеными. «Наша дипломатия закончилась победой без крови,— подытоживает Руднев.— Этот успех прошел тяжело, особенно лично для меня, две ночи не спал, два дня почти не кушал, и когда стал вопрос, как брать переправу, то с Ковпаком разошлись /... /. На этой почве произошла крупная и очень крупная ссора. А моя точка зрения одержала победу; мы переправились без жертв, пусть фашизм бесится. Нам и надо так вести политику: бить немцев вместе, а жить врозь, свои политические цели мы знаем. Наша бескровная политическая победа является блестящим маневром, но сколько нервов, сколько крови испортил я лично. Оказывается, здесь надо быть не только хорошо грамотным в военном и политическом отношении, но и применять «дипломатию». Бойцы смеются, что придется писать третий том дипломатии».

Даже из дневникового отрывка видно, насколько разными людьми были комиссар и командир. При множестве боевых достоинств Сидор Артемьевич Ковпак не принадлежал к слишком далеким людям с широким кругозором. Многие сложные и тонкие вопросы он решал с кондачка. Уже в позднейшие послевоенные времена почетный партизан на посту заместителя председателя Президиума Верховного Совета Украины ведал просьбами о помилованиях из мест заключения. О нем ходил анекдот, что почти всегда на прошениях он накладывал одну и ту же резолюцию: «Кара невелика, треба отбыти».

Качества не из лучших показал Ковпак и тогда, когда соединение обосновалось на отдыхе в относительно безопасных, как тогда могло казаться, местах Карпатских гор. «Ковпак по-прежнему равнодушен,— отмечает Руднев уже в предпоследней дневниковой записи (конец июля 1943 г.),— не только к полевым и лесным условиям борьбы с противником, а в горах он совсем профан, но как он любит повторять чужие мысли и страшно глуп и хитер, как хохол, он знает, что ему есть на кого опереться, поэтому он пьет, ходит к бабе, к такой же дуре (в оригинале это слово зачеркнуто), как и сам, спать, а когда приходится круто, то немедленно обращается...».

Сложность отношений между командиром и комиссаром отмечают и публикаторы дневника. В кратком сопроводительном предисловии читаем: « В советское время взаимоотношения между Рудневым и командиром соединения С.А.Ковпаком рисовались как дружеские и безоблачные. Между тем это не совсем так, и в дневнике комиссара, который он вел для себя, можно встретить довольно критические выпады в адрес Сидора Артемьевича... Напряжение во взаимоотношениях между Ковпаком и Рудневым можно объяснить следующим. Ковпак был типичным представителем партизанских «батек» типа казацких атаманов. Руднев же являлся человеком военного воспитания, носителем порядка, организованности и дисциплины, кристально чистым в бытовом плане нелегкой партизанской жизни.

Естественно, Ковпак понимал роль и место Руднева в соединении, знал о его популярности среди личного состава. Скорее всего, ему было неприятно ощущать

преимущество комиссара в военных знаниях, и это тоже было одним из болезненных моментов в их взаимоотношениях. Но крестьянский ум подсказывал Ковпаку общую пользу от совместной работы с Рудневым. Последний же/... /, хорошо изучив характер своего командира, считался с его авторитетом среди партизан и был склонен к самому тесному сотрудничеству ради общего дела».

Все это, конечно, так. Но что же дальше? Вернувшись из Карпатского рейда, Ковпак отправил подробную победную реляцию Сталину. В результате ему присвоили звание дважды Героя Советского Союза. Звания Героя Советского Союза (посмертно) удостоился и погибший комиссар генерал-майор С.В.Руднев.

В первые послевоенные годы начались злоключения Вершигоры, ближайшего боевого соратника обоих. Пережитые им унижения и нависшие над ним опасные кары сопровождались избиениями лауреатской книги «Люди с чистой совестью». Среди прочего автору ставилось в вину апологетическое изображение «троцкиста» Руднева.

Ковпак не только не вступился за репутацию комиссара, не возмущился, не поддержал Вершигору, но относился к нападкам с молчаливым одобрением. Отчего же так? Возможно, осведомленный и хитрый старик что-то знал. Или же просто остался при своем взгляде на то «искусство дипломатии» в отношениях с воинскими формированиями украинских националистов, к которому не раз прибегал комиссар в сложных лабиринтах Карпатского рейда. А именно такая «мерехлюндия» вместо сокрушительных пушечных залпов по густо населенным селам и деревням могла вызывать раздражение в надзирающих органах НКВД и, напротив, неумеренные спекуляции в противоположном стане украинских националистов.

Наиболее оголтелые идеологи отрядов ОУН-УПА, вооруженных и оснащенных немецкими службами, поголовно истреблявших поляков и евреев, как будто бы даже получали возможность говорить о своей «героической» борьбе против фашизма. Руднев, в изображении их пропагандистских рупоров, пострадал за истину. Они ведь напоказ и фразу извлекли из дневника Руднева: «Националисты наши враги, но они бьют немцев». Хотя относилось это совсем к другим случаям и другим отрядам самообороны в Западной Украине.

Так что версия о возможном убийстве комиссара Руднева, если она и содержит зерно истины, заведомо пала на благодатную почву и стала подвергаться всевозможным перелицовкам и раскрашиваниям с разных сторон.

Выше я ссылался на журнальную статью С.Кокина «Кто убил генерала Руднева» и солидарные с ней публикации. В них как раз сделана попытка ограничить произвольные домыслы и доискаться правды на основе сохранившихся документов.

Еще в годы «перестройки» на рубеже 80—90-х годов, — можно прочесть там, — в печати (газета «Правда») появилась версия о его «ликвидации по заданию НКВД»... В последнее время «ликвидацию Руднева НКВД» стали связывать с несогласием Семена Васильевича с линией Центра в отношении украинских националистов. Так, в одном из новейших отечественных пособий для поступающих в вузы можно прочесть как аксиому, что Руднев «настаивал на единых с УПА действиях, направленных против фашистов. За это во время одного из боев с гитлеровцами он был убит агенткой НКВД».

Перекраивая сходные утверждения на выгодный для себя лад, по-своему вторят им и печатные источники крайних националистов: «Объективный взгляд комиссара на УПА, — читаем в одном из них, — ужасно не понравился московскому руководству Руднева, и его по указанию верхушки НКВД застрелила радистка».

На сегодняшний день своей основательностью выгодно отличается разыскательская работа, проведенная С.Кокиным («В мире спецслужб»), историком С.Пирогом и их единомышленниками. По ее результатам получается, что НКВД на сей раз ни при чем и при любом возможном недовольстве позицией и поведением комиссара отношения к его гибели не имеет.

В архивах НКВД, к которым у них имелся и был получен полный доступ, не обнаружено никаких подтверждающих документов. Напротив, ведомство П.Судопла-

това, прославившееся физическим устранением украинских националистов, судя по имеющимся документам, само пребывало в растерянности и недоумении по поводу гибели С.В.Руднева.

Что можно сказать по этому поводу? Во-первых, все ли обязательно отражается на бумаге? И, во-вторых, все ли бумаги действительно уцелели и сохранились?

Впрочем, кто же может поручиться. Вполне возможно, что и не было никаких реальных действий со стороны НКВД. А было лишь раздражение, а затем героическая смерть Семена Васильевича Руднева при обороне, уже всего израненного, и собственная вынужденная пуля в висок?

Всякое возможно. Вершигора, летописец партизанских действий, хотел этим основательно заняться. И первое, что сделал после окончания войны, принялся организовывать экспедицию в Карпатские горы в поисках могилы пропавшего без вести комиссара и с разрешением на эксгумацию убитых.

В книге «Люди с чистой совестью» П.П. рассказывает о последнем разговоре с Рудневым перед выходом из окружения. Семен Васильевич, посмотрев на солнце, задумчиво произнес тогда: «А кому из нас оно светит в последний раз?» Потом, тряхнув головой и сощурившись, сказал: «А если что... сможешь вот так?» — и согнутым пальцем правой руки щелкнул возле виска.

«Но проходили месяцы, годы,— повествует автор,— Руднев не возвращался. В 1946 году решением правительства Украины была снаряжена экспедиция в горы. Участвовали в этой экспедиции Панин (тот самый, который вскоре объявит Руднева троцкистом. — Ю.О.), Базыма и я. На горе Дил и в урочище Дилок мы нашли могилы погибших в Делятинском бою. 72 наших товарища остались там навеки. Подробно опросив гуцулов, хоронивших погибших, мы выяснили, что в двух могилах в овраге были зарыты: в одной — 18, а в другой — 22 человека. По фотографии гуцулы указали, где был похоронен еще нестарый красивый человек с черными усами. Разрыв эту могилу, вторым мы увидели череп с черными усами.

«Это он!» — хотелось вскрикнуть мне, лишь только я увидел пулевые пробоины в височной кости черепа. И как живой встал в памяти комиссар...

«А кому из нас оно светит в последний раз?» И жест тот — навсегда врезавшийся в память жест — движение пальцев к виску, и резкий щелчок, и бессильно упавшие по швам руки. А затем еще целая ночь, делятинская ночь и еще две встречи в темноте, в бою...

— Да, это он, — тихо сказал я Базыме. Вместе с комиссаром лежало 16 бойцов...»

По этому первому впечатлению от осмотра могилы выходило, что Руднев в безвыходной ситуации покончил с собой. Что еще могло быть? Даже и сам вроде бы предсказывал, что так закончит жизнь.

Но чем дальше шло время, тем больше Петра Петровича одолевали сомнения. В той самой статье «Правды» «перестроечных» лет, где впервые сообщалось об убийстве комиссара по заданию НКВД, авторы версии о «ликвидации Руднева» так цитировали в этой газете в 1990 году высказывания Вершигоры приблизительно середины 1953 года: «...Он (речь идет о И.К.Сыромолотном. — Авт.) нашел конкретного «исполнителя», которому поручил убить комиссара. И знаешь, кто этот «исполнитель»? Моя радистка Анюта. Она сама мне во всем призналась при выходе из Карпат».

История эта, как видно, не давала покоя Петру Петровичу. Своих расследований он не прекратил и вел их дальше, в том числе в 1949 году. Продолжу выдержку из публикации сторонников той точки зрения, что НКВД в данном случае не имело отношения к гибели Руднева. Многие бывшие партизаны,— читаем там,— «... тот же Вершигора, в свое время сами для себя хотели выяснить, что же произошло в последний момент с Рудневым. Выясняли они это открыто, не таясь, без всякого стеснения в отношении кого бы то ни было. Показательно в этом отношении, например, письмо Вершигоры, посланное А.Туркиной в Порт-Артур в 1949 году, в котором он просил: «Анютка! Напиши мне, кроме письма вообще, еще и полуофициально про

обстоятельства гибели Руднева. Как вы с Володькой (имеется в виду разведчик Лапин. — *Авт.*) выползали и как Панин остался при комиссаре, каким образом он один остался жив из всей группы».

Авторы усматривают явное противоречие в аргументации оппонентов, ссылающихся в качестве доказательств на оба утверждения П.П.Вершигоры. «Здесь,— пишут они,— мы видим очевидные временные нестыковки с содержанием упомянутого письма. Ясно одно — ничего подобного до 1949 года А.Туркина П.Вершигоре не говорила. Иначе, зачем ему было бы спрашивать ее о том, о чем он уже с 1943 года от нее и так должен был знать». И вывод отсюда: «...предположение о причастности к гибели Руднева Туркиной было одной из версий либо самого Вершигора, либо того, кто его так процитировал».

С этим трудно не согласиться. В 1990 году, когда печаталась сенсационная статья в «Правде», в которой приводилось высказывание Вершигоры 1953 года, его давно уже не было в живых, как и многих других участников карпатской трагедии. Я лично не могу представить себе, чтобы Петр Петрович поддерживал дружеские отношения и ласково называл Анютой человека, который убил любимого им комиссара. Да и к тому же еще (самое главное!) продолжал, пусть и в сложном рисунке, но в положительных красках, выводить свою радистку Анюту Маленькую на страницах переиздания книги «Люди с чистой совестью» в 1951 году. Все это противоречит здравому смыслу, и поверить в это невозможно.

Несомненным является лишь один факт. Среди уцелевших партизан Анна Лаврухина (Туркина) вместе с парторгом Я.Паниным были последними, кто находился рядом с комиссаром Рудневым и видел его в живых. Поэтому Вершигора об этом неоднократно ее и расспрашивал...

Все же остальное действительно, скорей всего, издержки произвольной переливки давних высказываний и скороспелого искажения фактов, которыми нередко сопровождается погоня за сенсациями. Газетные «утки» нередко бродят где-то рядом с истиной, но от этого истиной не становятся.

Был ли комиссар Руднев предательски убит в последнем бою или вынужденно покончил с собой? То или другое в настоящий момент с полной уверенностью утверждать нельзя.

Авторы, на основе архивных исследований пришедшие к выводу, что НКВД в данном случае ни при чем, возможно, спешат. Но даже если и нет, то и они не могут, разумеется, отрицать главного. Как показывает поведение первых же послевоенных лет таких близких к секретным службам людей, как Сыромолотный или Я.Панин, и благожелательная к ним дипломатическая увертливость командира соединения, комиссар находился на глубокой «засечке» за тактику своего поведения в Карпатском рейде, и полные квиты с бывшим «врагом народа», будь он жив, вероятно бы, еще последовали.

Впрочем, неких «открытий» в этом направлении, надо полагать, не исключают и сами авторы. «История рано или поздно,— пишут они,— расставит все по своим местам. — Сейчас же с документальной достоверностью мы можем утверждать о том, что сотрудники НКВД, находившиеся в партизанском соединении С.А.Ковпака, не могли быть причастны к гибели С.В.Руднева. Будем надеяться, уже в недалеком будущем появятся исследования, которые в полной мере осветят последние минуты жизни человека, ставшего настоящим героем в нелегкий час испытаний своего народа».

Но именно это во всей непредвзятой жизненной сложности и старался выяснить и запечатлеть автор книги «Люди с чистой совестью». Многого, конечно, Вершигора не мог знать или же не мог сделать и написать по условиям эпохи. Другого исполнить просто не успел. Не хватило жизненного времени.

Но одно можно утверждать четко. Первая редакция лауреатской книги «Люди с чистой совестью» прошла через долгий и мучительный строй тогдашних идеологических шпицрутенгов. Длилось это почти три года. Отстаивая жизненную правду,

писатель боролся и сопротивлялся как мог. В результате книга стала «более правильной» с партийной точки зрения, а некоторые вещи, по выражению западногерманского исследователя Вольфганга Казака, приобрели даже «прямо противоположный смысл». Но были позиции, где Вершигора был тверд и несгибаем. Фигура комиссара Руднева осталась самой сильной, яркой и полнокровной в книге. Зная о высоком градусе закулисной возни и прорывавшихся наверх протуберанцах, Вершигора выразил тем самым свое отношение к образу мыслей и действий своего военного друга.

«Володя, дружище! — сообщал он Зеболову в октябре 1951 года. — Наконец, могу послать тебе на память всю книгу, вышедшую ровно через три года после ее окончания. Это исправленное и дополненное издание много крови и нервов мне стоило. Но хоть с мордой в крови, но все же — победа! /.../ Володя! — спрашивает он не без тревоги. — В свободное время посмотри книгу и напиши мне, лучше или хуже она стала. Что-то я и сам не пойму».

Письмо сопровождалось бандеролью. Том — «Люди с чистой совестью. Издание исправленное и дополненное. М., «Советский писатель», 1951. На суперобложке — размашистая надпись крупным знакомым почерком: *«Володе Зеболову, человеку с чистой совестью. П.Вершигора. 19.10.51 г. Москва»*.

Верным другом комиссара была его жена Доминика Даниловна Руднева, которая с младшим сыном жила в Москве. Семен Васильевич ее нежно любил. Автор переиздания книги «Люди с чистой совестью» спешит отчитаться за изображение ее погибшего мужа.

«Рудневой сегодня же высылаю еще раз книгу», — в одном из следующих писем оповещает он В.Зеболова.

* * *

У документалиста П.Вершигоры есть единственный роман с вымышленными персонажами — «Дом родной». Большая по объему книга (500 страниц текста) была задумана в 1950-м, а в журнальной публикации появилась лишь в 1962 году. По существу это книга итогов и раздумий — во имя чего шла война и чего добились победители.

При всем жизнеутверждающем пафосе повествования итог, прямо скажем, почти трагический. Поломанные судьбы, искалеченные души... Враг изгнан, уничтожен, но победа обернулась не тем, о чем мечтали главные герои.

Однажды Володя Зеболов в подробностях рассказал Вершигоре о молодой женщине — односельчанке, которая в годы оккупации родила ребенка от немца. И писатель-партизан, жестко решивший судьбу «запутавшегося человека» — полиция Никифора — и потом фотографировавший расстрелянного в неряшливо отрытой могиле в полтора лопатных штыка глубиной, вдруг загорелся этой историей. Увидел в ней одну из скрещений сюжетных линий будущего романа.

Своего рода логика здесь есть: там был враг, а здесь — жертва...

Из-за яркой талантливой затейницы Зои, подруги школьных лет, соперничали два приятеля — Костя Шамрай и Петр Зуев. Оба ушли на войну. События оборачиваются так, что в пору оккупации приметную красивую девушку ждет не просто угон на подневольную работу в Германию, но солдатский бордель. Чтобы избежать жуткой участи, Зоя выходит замуж за скромного немецкого техника-железнодорожника. Поступок сама оценивает безжалостно: «Я спасла свою честь, продав свою душу... между смертью и позором я выбрала этот третий выход».

Но кто это поймет? И кто посочувствует? Нет третьего пути. Для окружающих она — «немецкая овчарка». И сын ее — щенок от этой овчарки. Людьюми правит ненависть и жестокость, рожденные ужасами и лишениями войны. Преодолеть душевные увечья и сердечную слепоту — наследие прошедшего лихолетья — зовет книга вчерашнего партизана.

Все было бы, может, проще и достижимей, когда бы раны войны не усугублялись

социальными порядками, правящим режимом, нормами и установками нынешней жизни, пороками и жутью дня текущего. Свидетельством тому — судьбы недавних ветеранов Кости и Петра.

Неприкаянный Костя, вернувшийся с войны инвалидом, с ожесточенной изуродованной душой, вдобавок ко всему терпит несправедливости в «родном доме». Нашлись земляки, которые его оклеветали, состряпали донос, — и вот он уже под арестом, изгой, с черным пятном на биографии. Оплеваны тем самым высшие душевные порывы и поступки его героической юности.

Жертвой произвола становится и главный положительный герой майор Петр Зуев. Он-то уж, кажется, воплощает в себе все мыслимые достоинства и добродетели. Участник штурма рейхстага, обладатель анкеты без сучка и задоринки, герой войны и энтузиаст мирной жизни. В Подвышкове на посту военкома Зуев возглавляет самые смелые инициативы по восстановлению родной округи, обеспечению хозяйств тракторами, подъему агротехники и животноводства. «В нем, — замечает романист, — говорил солдат, который, вернувшись в дом родной, хочет во всем навести порядок».

Однако же и такой человек, видимо, слишком хорош для нынешних порядков и здешних установлений. Он не только не в состоянии облегчить участь оклеветанного друга. Но и сам с помощью покровителей из обкома партии еле уносит ноги из родных мест (уезжает в иногороднюю аспирантуру), чтобы укрыться от сгустившихся над головой туч.

Сквозь такие сюжетные повороты отдаленно просвечивают некоторые болезненные узлы послевоенной биографии самого Петра Петровича и близкого его окружения, в том числе В.А.Зеболова.

В условиях сталинского режима самые рьяные вчерашние защитники родины из-за своей гражданской активности легко обращаются в «лишних людей». И пусть освобождение от догматических канонов и казарменного духа прописано в романе иногда кустарно, а подчас даже примитивно, реальные жизненные проблемы там поставлены.

Этим «Дом родной» П.Вершигоры отличается от беллетристической популяции советских романов и фильмов на темы о счастливом безоблачном «возвращении» и переходе к мирной жизни, вроде «Счастья» П.Павленко, «От всего сердца» Е.Мальцева, «Кавалера Золотой звезды» и прочей бабаевщины типа «Кубанских казаков», запущенных в оборот, правда, значительно раньше.

Писатель-партизан и на сей раз не убоился касаться болезненных и кровоточащих тем. В этой книге, как замечает Вольфганг Казак, Вершигора «показал человека послевоенного времени в противоречии между картиной общества, создаваемой пропагандой, и действительностью». Наверное, поэтому отклики на его роман «появлялись в печати в течение четверти века»?

Конечно, «обжитая география» Вершигоры как часть его биографии обширна. Он много ездил, видел, знал. Но местом действия будущего романа, по какому-то наитию, избрал именно эти места — партизанской молодости, Брянщину, и «малую родину» своего безрукого друга Володи Зеболова — поселок Малый Вышков, в 18 километрах от Новозыбова. Возможно, пейзажи и типажи здешних мест больше всего отвечали мрачному выплеску скопившихся наблюдений, чувств и духовного опыта.

С тех пор все это и затеялось. Вершигора несколько раз приезжал в Новозыбоков, а Зеболов с женой постоянно бывали у него в Москве, с неизменными свежими рассказами.

Елизавета Григорьевна отмечает в своих воспоминаниях: «Для сбора материала и изучения среды, обстоятельств социальной и частной жизни периода немецкой оккупации, нравственных понятий, бытующих в народе, он (Вершигора. — Ю.О.) из Новозыбова приезжал неоднократно в поселок Малый Вышков на «малую родину» Володи, где жили его родители, соседи, учителя, школьные товарищи. Петра Петро-

вича интересовала послевоенная жизнь в местах собственной партизанской молодости».

В Новозыбков шли такие письма:

«Здравствуйте Зеболовы! Большие и маленькие...

Посылаю первую главу своего романа, которая вместила в себя только один день жизни моего героя. А весь роман должен будет показать примерно шесть-семь послевоенных лет. Эти 4—5 листов читали несколько писателей, которым я доверяю: Каверин, Тарасенков, Твардовский и др. Говорят, работать стоит... Жду критических замечаний и советов. Думается, что необходима для следующих глав еще поездка на Брянщину. — Не прогоните?».

И дальше идут расспросы по поводу этнографических деталей, быта, характеров и нравов, без которых не может обойтись прозаик: «Володя! Мне нужны: полное топографическое описание окрестностей Вышкова, названия урочищ, полей, сел, деревень, лесниковых хат и т.д.

Нужны слова, словечки, нравы, обычаи и т.д. И анекдоты — случаи, характеры».

Все это Владимир Акимович со всей любознательностью и рвением «накапывал» и поставлял. А вопросы не иссякали. Некоторые реалии и названия в романе лишь слегка изменены. Судьбы главных героев разворачиваются на фоне жизни в рабочем поселке Подвышково, как он поименован в романе, вокруг спичечной фабрики со старозаветным названием — «Ревпуть». Это тем более обязывало к точности.

«...Последних 200 страниц, надо делать еще один заход, — сообщает Вершигора уже в июне 1960 года, когда над рукописью совершается так называемая редакционная «обкатка». — Опять потерял рецепт спичек — какой состав на головки и какой на терочку. Если у тебя есть или сохранилась старая запись — вышли».

Так Владимир Акимович Зеболов в годы создания «Дома родного» снова обращается в поводыря, на этот раз — писательского воображения. Активно помогает в этом и Елизавета Григорьевна, которой адресованы, например, такие строки уже в письме по поводу начальных глав: «...Лиза! Если не обременю Вас — пожалуйста, прочтите мою мазню и с точки зрения «западника» что-либо посоветуйте! Мне нужны литературные аналогии, ассоциации».

И это пишет уже прославленный к той поре автор!

Как военный историк Вершигора был энтузиастом партизанских форм боевых действий. Изучал и знал наиболее успешные примеры их ведения в разные века и эпохи. Присоединялся к выводу Маркса, сказавшего, что партизанская война подобна комару, который может до смерти замучить льва; что партизанские способы войны непобедимы, потому что «каждая операция, направленная к уничтожению партизан, кончается тем, что объект этой операции исчезает».

В теоретическом плане он бы охотно соединил Маркса со своим кумиром — Денисом Давыдовым, а живым наполнением каркаса сделал опыт партизанской борьбы на территориях, когда под фашистским сапогом оказалась половина европейской части СССР. Вот было бы здорово!

В письмах Зеболову П.П. иногда подшучивает над собой, что, мол, совсем утонул в нудных своих опусах «историкус — партизанус». Но уникальность данной ему судьбой площадки исследований на самом деле признавал как никто. Мечтал даже о создании многотомного труда о партизанском движении — от Древней Греции до наших дней.

Но прежде требовалось разделаться с тем, что еще не отболело, — с опытом вчерашнего дня. Ведь он, может быть, — пишет Вершигора Зеболову, — «пригодится таким наивным дуракам, какими мы были 5—6 лет тому назад и какие, к счастью для нашей страны, будут всегда».

Между тем годы идут, и Вершигора продолжает следить за духовным развитием

младшего товарища, давая ненавязчивые советы. «Как твоя учеба? — спрашивает он в очередном письме. — Кажется, последний год. Не думаешь об аспирантуре или кандидатской диссертации?»

Или — позже, в другой раз: «Вообще ты правильно делаешь, что остаешься при И-те. Закрепишь знания, поработаешь над собой самостоятельно, считаешь, познаешь не по программе, а по собственному выбору и интересу, по зову сердца и ума».

Почти так оно и происходит. Зеболов становится ассистентом кафедры истории Новозыбковского пединститута.

Жизненные занятия имеют свою логику. Конечно, не прошли бесследно и постоянные участия в вершигоровских «историкус-партизанус». Еще какое-то время спустя Петр Петрович убеждает своего питомца, что необходимо подытожить происходившее и заглянуть в природу партизанских рейдов. На реальном материале, лично пережитом, не только обобщить опыт былого. Но исследовать также боевую сущность этих явлений, их оптимальную стратегию и тактику.

Так возникает сначала работа В.Зеболова — подготовленный им «Дневник — хроника рейда Первой Украинской партизанской дивизии под командованием генерал-майора Вершигоры на польских землях в январе — апреле 1944 года». Содержательная хроника-летопись была переведена на польский язык и опубликована в одном из польских историографических журналов в 1960 году.

А несколько позже рождается совместная с П.П.Вершигорой исследовательски-популярная книжка «Партизанские рейды» (Из истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны...1941 — 1945 гг.) В издательской аннотации сказано: «Авторы работы — бывшие партизаны... Первая глава брошюры написана П.Вершигорой, третья — В.Зеболовым. Над второй главой авторы работали вместе».

Кандидатскую диссертацию Владимир Акимович защитил в Москве по совокупности опубликованных работ из истории партизанского движения. Рукописный вариант автореферата одним из первых читал и редактировал Петр Петрович. Сохранилось его письмо с подробными замечаниями.

Но вернемся к совместной книге. Вероятно, такова уж горькая участь правдоискателей. Как это уже не раз случалось с партизанскими летописями Вершигоры, начинается долгое и нудное протискивание рукописи сквозь узкие ячейки идеологических сетей. Ловцы душ и их подручные — наизготовку и свое дело знают.

В первых рядах здесь, конечно, неусыпный и бдительный Воениздат. Тема вроде бы их — договор заключен. А дальше? Дальше — началось такое, что Вершигора уведомляет Зеболова в итоге, пуская в ход арсенал партизанской лексики: «Посылаю тебе письмо б... из Воениздата, которые, видя, что возле «Парт. рейдов» не нагреешься, расторгли договор, которым давно надо было ж... подтереть».

С немалыми трудами через свои молдавские связи Петру Петровичу удается пристроить «Партизанские рейды» в издательстве Академии наук Молдавской ССР «Штиинце». Там книга и вышла в 1962 году.

Теперь ее можно доработать, расширить, вставить любое живое и полезное содержание, прикрыв его для блезира всякой казенной стрекотней. Сам он необходимую черновую работу для этого уже проделал. Об этом Вершигора со всей открытостью и сообщает соавтору:

«В о л о д я!

Что же ты не звонишь даже. Я задержался в Москве на месяц (болел). Теперь я в Голерканах. Работаю. Посылаю тебе рукопись, единственную. Храни как зеницу ока. Бери факты и формулировки. Каждую главу надо увеличить в 1,5 раза, разбавить водой с политсиропом и патриотическими слюнями. Умыли Воениздат здорово.

Ольга вышла из больницы. Мир и тишина, а я по паспорту холостяк. Вот все, чего они добились. Я ее жалею, но держу сбоку.

Жениться не собираюсь.

Звони.

Привет Лизе. *П.Вершигора*. 15/11 — 63 г.».

Это письмо оказалось последним. Через 12 дней Петра Петровича не стало.

В 1976 году Новозыбковский педагогический институт переехал в Брянск.

Владимир Акимович оставил в Новозыбкове о себе хорошую память. Помимо Аллеи Петровича из пирамидальных тополей, насаженных вдоль городского озера и носивших имя в честь Вершигоры, земляки долго помнили и случай, произошедший на том же озере зимой 1954 года.

С какого-то бока туда сливает горячую воду местная электростанция. Зима в тот год была лютой, и озеро крепко замерзло. Обычно, сокращая путь, горожане наискосок переходили озеро по льду. Но однажды случилось так, что какой-то мужчина отклонился в сторону от тропы и угодил в полынь. Человек барахтался, кричал, тонул. На берегу собралась толпа. Люди волновались, шумели. Не было недостатка в советах и рассуждениях: «Надо звонить спасателям... Нужны доски, их перекинуть к нему...».

И лишь один человек, не раздумывая, бросился по льду к утопающему. Он и сам чуть не утонул, пытаясь вытащить тонущего. Еле спасли обоих. Это был безрукий партизан Володя Зеболов.

Много неординарного в жизни и деятельности Владимира Акимовича также и поры, когда он был доцентом Брянского педагогического института. Само имя знаменитого математика И.Петровского этот институт, а затем университет стал носить благодаря В.Зеболову.

Я помню академика Ивана Георгиевича Петровского, ученого с мировым именем, интеллигентного, тихого и скромного человека, ректора Московского университета. Как выпускник МГУ, я получал диплом из его рук.

Он был родом из Брянской области. Владимир Акимович близко подружился с вдовой академика. Ольга Афанасьевна внимательно следила за становлением учебного заведения на Брянщине и постоянно помогала ему.

Вообще в Зеболове была развита необыкновенная способность стихийно вырываться вперед. Приходить на помощь людям, быть поводырем для тех, кто без него не находил дороги или бродил в потемках.

Рассказывать можно еще много. Но я на этом, пожалуй, остановлюсь. Добавлю лишь, таким по характеру и нраву был этот рядовой брянский партизан — двойной питомец Вершигоры и Руднева.

P.S. Здесь считаю нужным прибавить. Через некоторое время после нашей личной встречи и как только я ощутил потребность ответить на неожиданный вызов, брошенный самой действительностью, Елизавета Григорьевна и ее сын Георгий Владимирович срочно запросили из Брянска и предоставили мне фотокопии всех упомянутых выше писем Вершигоры и другие документальные материалы, побывавшие в работе. За это участие и безотказную помощь приношу им и сотрудникам брянских музеев глубокую благодарность.

Анисим Кронгауз

Из книги «Воспоминание о будущем»

«Прочь сантименты! — говорил Кронгауз
и убивал слюнявую строку».

Наум Басовский

Он был на год старше меня. Мы оба из того поколения, которое приняло на себя первый удар в 1941 году. В справочном издании «Писатели Москвы — участники Великой Отечественной войны» об Анисиме Кронгаузе сказано: «В июне 1941 г. — невоеннообязанный с июня 1941 г. корреспондент «Красноармейской правды» — газеты западного фронта».

Он был с детства болен. Костный туберкулез в тяжелой форме. Обе ноги остались недоразвитыми. Одна короче другой. Хромота на всю жизнь. Естественно — невоеннообязанный, освобожденный от призыва в армию. А как же война? Доброволец, несмотря ни на что пробившийся на войну, как многие недоростки, убежавшие на фронт, прибавлявшие себе года. В этом весь Анисим Кронгауз. Особый характер, невероятная стойкость, способная преодолевать немощь и боль. Он был мистификатором и миротворцем, не затем, чтоб обманывать других, а чтоб поднимать самого себя. Он верил своим мифам, чтоб справиться с постоянным страданием, от которого не помогали ни наркотики, ни крепкие спиртные напитки. Он говорил о себе, как о боксере, свой кулак называл «колотушкой». А пловцом он был всамделишным, мог очень далеко заплывать. Он был вечным неисправимым мальчишкой, хвастуном, как Николай Гумилев, и если бы имел здоровье и другие возможности, отправился бы в Африку на охоту за слонами и как поэт Владимир Нарбут объявил бы, что женился в Эфиопии на дочери императора. Спасительный романтизм! Отсюда и культ хромого пловца и боксера лорда Байрона. Он писал: «...Не просто увлекался Чайльд-Гарольдом — // Сам Байроном я в восемнадцать был».

С возрастом пришла мудрость. Зрелый поэт увидел мир не романтическими глазами юнца, утверждающегося трогательной «ложью — во спасение», а совсем другим трезвым точным зрением разочарованного и парадоксально мыслящего человека. Он проговаривается: «Мы все себе кажемся больше, а может быть, меньше, чем есть».

И поздние стихи о войне, написанные Кронгаузом, содержат какую-то новую, незнакомую правду, незамеченную прежде никем. Попав в глубокий тыл, он спрашивает: «Интересно здесь какие сняты сны // за пять тысяч километров от войны?» А чего стоят строки об эвакуации, когда в деревню, пока еще знающую войну только по слухам, приходят первые беженцы, которых местные станут расспрашивать о беде. Автор говорит беспощадно точно: «Но что еще можно добавить // к котомке за детской спиной?» Это стихотворение, думаю, в ряду лучших стихов о войне, таких как «Враги сожгли родную хату» М.Исаковского. Эта журнальная подборка написана рукой глубокого, неожиданного и, к сожалению, почти забытого поэта, которому в мае 2010 года могло бы исполниться 90 лет.

Александр РЕВИЧ

* * *

Мы все себе кажемся больше
И великодушнее, чем есть.
И все мы бессмертны (о, боже!)
И падки при этом на лесть.

А если задумают встречу
Моих одногодков-ребят,
Немного придет их на вечер —
Курганы построятся в ряд.

Мы в школе учили склоненья,
Чтоб вскоре от дома вдали
От голода или раненья
Склоняться до самой земли.

Куда приезжают туристы,
Где нынче рекламы зажглись,
Изранены и неказисты,
Ребята шагали без виз.

Нам свадебный блеск был неведом:
Взаимен подвенечных цветов,
Дарили мы нашим невестам
Тушенку из скудных пайков.

В местечке каком-нибудь Польши
Погибнуть считали за честь.
Мы все себе кажемся больше, —
А может быть, меньше,
Чем есть.

* * *

Новый город,
Новый воздух,
Новый свет.
Неужели здесь бомбежек даже нет,
Интересно,
Здесь какие снятся сны —
За три тыщи километров от войны?

Пропусков не проверяют по ночам —
Целый век я
Ночью встречных не встречал.
Вот бессонница напала на беду —
По привычке я ночной тревоги жду.

Сон недолог,
А бессонница длинна,
Неужели
Третьи сутки тишина?
Неужели
В электричестве вокзал —
Целый век я
Светлый окон не видал.

Город спит.
Уже росинка на плече.
Сон окутал
Каждый угол,
Каждый дом.

Только я
Да часовой на каланче
Все не спим,
Сквозь ночь глядим,
Чего-то ждем...

* * *

Как горькие вести приходят,
Так мимо ворот и сеней
В деревню на тряской подводе
Приехало восемь семей.

Но в утро июльское это,
Впервые до боли ясна,
По улице их к сельсовету
Прошла за подводой война.

Еще в исступленьи
недолгом
Лишь месяц гремела война,
Здесь люди пока еще толком
Не знали, как она.

Старуха в большой капелюхе
Как девочка в шапке отца,
А девочка взглядом старухи
Глядит на узоры крыльца.

С каким-то веселым задором
Спешили на фронт мужики,
Садясь на ходу на платформы,
Бросая вперед сундучки.

Рассказывать здесь их заставят,
Как пламя вставало стеной.
Но что еще можно добавить
К котомке за детской спиной?!

* * *

Дом шел на снос.
 Не рушился,
 Не падал —
 Разваливался балкам вопреки.
 И сразу,
 Точно вороны на падаль
 За мусором сошлись грузовики.

Пока они площадку расчищали,
 Развалины разглядывал народ.
 А дом как змей —
 Он умирал частями:
 Отрубят хвост,
 А голова живет.

Жестоко кирпичи разворотило.
 Но возле уцелевшего угла
 Прорабом пощаженная квартира
 До первой мены завтрашней жила.

Не замечая кранов над собою
 И тяжести чугунного ковша,
 На старенькие пестрые обои
 Последнею оседлостью дыша.

Порогом проскрипевшая беспечно,
 Когда хозяин двери затворил,
 Она в ту ночь
 Была и вправду вечна
 Среди повисших в пустоте перил.

Она была,
 Как рыба от остроги,
 Защищена
 От смерти,
 От руин,
 От надвигающейся катастрофы
 Спасительным неведеньем своим.

* * *

Т. Тучниной

У балерин измученные лица,
 Как у крестьян.
 Терпения запас
 У балерин, как у крестьян, таится
 В неторопливом, ровном блеске глаз.

Им тоже не до спора, не до вздора —
 Весну не проленись, не прозевай.
 В балете, как и на поле, не скоро
 Тяжелый собирают урожай.

Здесь сутками работать не зазорно
 И всё труду крестьянскому сродни.
 Но только балерины сами — зерна
 И всходы тоже — сами же они.

Работающие до иступленья,
 Податливы тела, сердца тверды.
 Ведь сами же они — произведенья
 И совершенства своего творцы.

Для человека нет труднее дела:
 Себя посеять и себя взрастить
 И собственное тоненькое тело
 Стальным, жестоким плугом
 Бороздить.

Что с этою работою сравнится.
 Никто труда не видывал лютей...
 У балерин измученные лица,
 Как у крестьян,
 Как и у всех людей.

* * *

Строил дом человек,
 Сомневался:
 Долговечный ли выстроит дом?
 Надрывался,
 Из сил выбивался.
 И — остался доволен трудом.

Чтоб железу и дереву ливень
 Неопасен по осени был,

Дважды все человек проолифил
 И подкову на двери прибил.

И, сверкая счастливой подковой,
 Пятьдесят или более лет
 Дом стоит на пригорке, как новый...
 Человека полвека уж нет.

* * *

Кукушка куковала за стеной.
Кукушка издевалась надо мной.
А нужно ли так много куковать
И птичьей ложью истину скрывать?

Врачи и те мне правду говорят,
А ты кукуешь сорок раз подряд.
«Ку-ку, ку-ку, — так сорок раз, — ку-ку», —
А боль не унимается в боку.

Раскрыл я ставни.
Захотелось мне
Увидеть лес в некрашеном окне
В закатном непогашенном огне,

Где, может, скачет, листьями шурша,
Лесная лгунья —
Добрая душа.

Но там, где свет закатный не потух,
Большим бичом размахивал пастух:
Как рыжую корову на стерне,
Он солнце бил
По огненной спине.

Он был веснушчат и широк в кости,
Не стукнуло ему и двадцати.
И понял я:
Кукушка в тишине
Пророчит долголетие
Не мне.

* * *

В общежитии за ярким балаганом,
Что разбили циркачи на той неделе,
Лилипут себе приснился великаном...

— Теснотища! —
Заворочался в постели. —
Ног не вытянуть,
Не разбросаешь руки,
Стал игрушечным домишко почему-то... —
Все сместилось.
Не отыщите в округе
Человека вы огромней лилипута.

И над ним не насмехаются разини,
Смотрят,
Головы задрав,
На Гулливера.
Нет опять ему костюма в магазине
И ботинок подходящего размера.

Он идет по миру шагом семимильным,
И реке не задержать его разливом.
Лилипута все считают
Самым сильным,
Самым добрым
И, конечно, справедливым.

Этот сон ему казался не обманным,
Только утро
Приближалось по минутам...

Лучше б он себе не снился
Великаном, —
Каково потом проснуться
Лилипутом.

* * *

Я ночью зов бросал в пустыню —
Никто не откликался мне,
Лишь отголосками пустыми
Дразнило эхо в тишине.

Но вспомнилось
Войны начало
(Потом к такому я привык):
От горя женщина кричала
В толпе.
Толпа не замечала,
Не слышала тот страшный крик.

Перрон окутывало дымом.
«У всех война.
Кричит?..
И пусть!»
Как все,
Тогда прошедший мимо,
Я не боюсь быть нелюдимым,
Я не боюсь быть нелюбимым, —
Быть неслышанным боюсь.

Бегу на улицу, как отрок,
Все начинаю вновь с азов:
Жду, затаив дыханье, Отклик —
Ведь эти строки только Зов.

* * *

Как много открыто слепому:
Он может разглядывать тьму,
И стены тяжелые дома
Смотреть не мешают ему.

Огромные зоркие руки.
В сверкающих кнопок глазки
Он может разглядывать звуки,
Как зрячие —
Красок мазки.

В мелодии солнечной пляски
Он видит на синем снегу

Одни только чистые краски,
Что с детства засели в мозг.

Он видит всю песню,
Как будто
Не песня она —
Полотно.
А мы только видим, как мутно
Затянута пылью окно.

И, не рассмотрев из-за пыли
Простор, что ему отворен,
Невольно глаза мы прикрыли,
Чтоб видеть так ясно,
Как он.

* * *

Не просто «руки умываю»,
Как скажут злые языки, —
Обыкновенно умираю.
И это знаем я и ты.

Не нарекут «самоубийца»,
Хоть я себя и не берег.
Теперь тебе самой учиться
Плыть быстрину поперек.

На теле не отыщут рану,
Хоть было б легче —
Наповал!
Я постепенно, постоянно,
Обыкновенно умирал.

Я не сдаюсь, не удираю,
А просто падаю в пути.
Прости меня — я умираю,
Теперь тебе самой идти.

Бумажные кресты

Как любила девочка меня,
Семнадцатилетняя,
С косичками,
Встреченного среди бела дня
В час военный
С мирными привычками.

К отправленью эшелон готов.
Зрение фиксирует невольное:
У вокзала церковь
Без крестов,
Все в крестах бумажных
Окна школьные.

Глубоко, безоглядно...

Как спится в дождь!
Глубоко,
Безоглядно!
Вагоны бесплацкартные полны.
На тридцать лет вернувшийся обратно,
На третью полку лезешь —
Как приятно
Уснуть у отопленья у стены.

Как спится в дождь!
Как сны точны и долги.
За кипятком бежит товарищ твой.
Погибшими заполнены все полки.
Ты среди них единственный живой.

Ты можешь спать
И, чтоб не разбудили,
Надвинь ушанку на ухо во мгле.
Спокоен будь: они давно остыли
И больше не нуждаются в тепле.

Почти что тридцать лет вы не видались.
Ах, сколько ты без них уже прошел!
Сон — та же смерть,
Но только — в идеале.
Ты мертв и жив.
В дождь спится хорошо!

Мой Байрон

Ни шага я не делал без усилия —
Мне подпирали плечи костыли:
Над мостовую выгнутые крылья
Меня с вороным креном понесли.

Я догонял ровесников ночами,
Чтобы утрами отставать от всех,
Размахивая крыльями-плечами
И у здоровых вызывая смех.

Но мое детство
Оставалось детством —
С пиратами,
С поскрипываньем рей.
Я ересью считал, коль не злодейством,
Мысль, что родиться мог без костылей.

От жизни убегал я к разным книгам.
Прочел я в хрестоматии простой
О лорде, одиноком и великом,
Чья хромота считалась красотой.

Четырнадцать лет,
Почти у цели,
Сломал я о колено костыли.
И утюги шли в дело, и гантели,
И, как у лорда, мускулы росли.

Па-де-Кале не находя в России,
Я покорил здесь шесть речных стихий
И сочинил веселые такие
О жутком одиночестве стихи.

Однажды показать
«Чего мы стоим»,
Мне захотел вожак мальчишьях орд.
Но занялся я с ним не мордобоем,
А в подбородок засветил, как лорд.

Я голосом ломающимся, звонким
Читал на вечеринках, горд и мал,
И был уверен:

Нравится девчонкам,
Что я немного, как и лорд, хромал.

Да, был я комсомольцем, а не лордом,
Но, не как все, я Байрона любил,
Не просто увлекался Чайльд-Гарольдом —
Сам Байроном
я в восемнадцать был.

У станционной кассы

Название станции конечной
Она должна вписать в билет,
Хоть станции такой, конечно,
На свете не было и нет.

Кассирше железнодорожной
Шепчу застенчиво чуть-чуть:
— Билет пробейте, если можно,
Куда-нибудь...

А очереди не до смеха —
Толкает в спину,

Торопя.
Но я кассирше:
— Мне уехать
Необходимо от себя,

Мне и дорога не помеха,
Мне больше ждать нельзя
Ни дня,
Мне нужно от себя уехать
Туда, где б не было меня...

Я падал вверх

Я падал вверх.
Я падал в небо.
И свет земной почти померк.
Быть может, это и нелепо,
Но падал я не вниз, а вверх.

Я ровно восемь дней не брился,
Белок от напряженья ал.
Друзья шептали:
«Опустился.
Ну до чего он низко пал!»

Не ел,
Не покупал я хлеба,
Лишь воду из-под крана пил.
Но падал вверх,
Но падал в небо.
Свое паденье торопил.

«Ну как он низко опустился», —
Шептали не враги — друзья.
А я трудился,
Оступился,
Но завтра вновь трудился я.

Под небосклонную громадой
Я понял свой короткий век.
Случалось, что и вниз я падал,
Но падаю сегодня вверх.
И вдруг на самой высшей точке,
Минуя молний пересверк,
Я падаю,
И это точно,
Но только вверх
И только вверх.

* * *

Чайку убило прибоем
У ноздреватых камней,
Ветер с торжественным воем
Круг совершает над ней.

И, без согласия, без спросу,
Вот уже более дня

Чайку мотает по скосу
Так, как мотает меня.

Камешки береговые
Сложены в лунки запруд.
Мокрый песок, как живые,
Мертвые крылья метут.

Галина Костелянец

Сколько их, почти безымянных...

Страницы воспоминаний

Моей дочке Оле

Маневры

Выпускные экзамены стремительно шли к концу. Каким-то чудом успешно были преодолены чуждые мне предметы: математика, физика, химия. 20 июня — последний экзамен, днем 21-го в солнечную субботу — награда за отличный аттестат: в Минск приехал на гастроли МХАТ, и я впервые в жизни смотрела «На дне» с Москвиным — Лукой и Качаловым — Бароном. Полюбившийся с детства Горький пронзил заново. К этому времени я была уже достаточно опытным зрителем, чтобы различать грань между пьесой и спектаклем. На мхатовском спектакле этой грани не было: горьковские слова звучали у артистов так, будто они, артисты, эти слова рождали тут же, при мне, а сам Горький, казалось, сидел тут же, рядышком, хотя его уже пять лет как не было на свете, и я неизгладимо запомнила день его смерти 12 июня 36 года как день огромной личной утраты. У мхатовцев Горький как-то волшебю ожил, сердце мое трепыхалось от гнева, сострадания и счастья одновременно. Понадобились годы, чтобы понять, какое оно, это счастье, а тогда, в солнечную субботу я была переполнена счастьем соприкосновения с чем-то великим, и мне остро захотелось сохранить эту сопричастность на всю жизнь.

В ту же субботу мы собрались в школе на выпускной вечер. После торжественной части, напутственных речей наших любимых учителей, вручения аттестатов и танцев в актовом зале мы собрались у себя в классе на четвертом этаже. Нас было 19 — 9 мальчиков и 10 девочек. Мы знали друг друга наизусть, будущее каждого казалось нам ясным: кто пойдет в науку, кто по военной части, кто — сразу замуж. Играл патефон, предусмотрительно принесенный из дома Толькой Маркусом, девочки пудрили носы, на учительском столе независимо поблескивали бутылки с вином, самый крохотный и совсем еще безусый Фимка Галкин шикарным жестом открыл пачку папирос «Пушка» и ломким голосом предложил мне: закурим? И мы закурили, самые тщедушные, самые маленькие из всего класса. За окнами уже светало. Около шести утра оконные стекла задребезжали от далекого сильного взрыва. Жорка Крейер, не расстававшийся с отцовским полевым биноклем, осмотрел окрестности через окно и авторитетно объявил: «Маневры».

Костелянец (Горохова) Галина Абрамовна (1924—2001) родилась в Киеве. В 1941 г. закончила среднюю общеобразовательную и музыкальную школы. С 1941-го по июнь 1943 г. — узница Минского гетто. Вместе с отцом, установившим связи с подпольщиками, ушла к партизанам. С осени 1944-го по 1949 г. — студентка театроведческого факультета ГИТИСа, ученица Павла Маркова. Работала уполномоченным Главреперткома на Сахалине, журналистом в Комсомольске-на-Амуре, заведующим литературной частью в театрах Самары, Ижевска и Горького. С 1966-го по 1981 г. была завлитом ленинградского Театра им. Ленсовета.

Мы, дети пограничного года, привыкли к этому слову. Танцы под патефон продолжались. Через минут 15—20 еще один взрыв — этот был ближе и раз в десять громче. Через Жоркин бинокль мы увидели в стороне военного аэродрома по дороге на Могилевское шоссе дым. «Здорово дают», — одобрительно отозвался Крейер, и мы услышали мощный гул самолетов. Еще несколько взрывов, еще несколько столбов дыма. «Воздушные маневры», — уточнил Крейер. Ему поверили безоговорочно, так как он готовил себя в летчики и знал все про авиацию. «Красиво идут», — с тихим восторгом отметил Крейер и дал еще раз посмотреть в бинокль. Далеко, почти у горизонта летели почти неразличимые в солнечных лучах самолеты. Их было очень много. Их можно было бы принять за громадную стаю птиц, если бы они вдруг так плотно не закрыли небо. А дымных столбов на земле — там, далеко, где виднелись заводские трубы, становилось все больше. Танцы продолжались, пока не ахнуло совсем где-то рядом. Посыпались оконные стекла, и нас всех взрывной волной швырнуло от окон к противоположной стене. Обалдевшие, мы уставились на Крейера. Но он уже не смотрел в бинокль. И тут же мы почуяли резкий запах дыма. Горел военный госпиталь на углу Широкой и Госпитальной, как раз напротив бабушкиного дома. С четвертого этажа мы увидели бегущую с узлами толпу, люди бежали к школе. Мы ринулись вниз — ведь каждый из нас был готов к труду и обороне, прошел спецподготовку по ПВХО, а в подвале школы — мы знали точно, но как-то не придавали этому конкретного значения — находилось бомбоубежище. У входа в подвал приемом людей, в первую очередь раненых из госпиталя и женщин с детьми, руководил Павел Александрович Чулицкий. Рядом с ним пожилая женщина в белом халате, врач из госпиталя.

— Молодцы, что оказались здесь, — тихо сказал Чулицкий, — без паники, это война, дорогие мои. Мальчики — в подвал, к вентилятору, придется покрутить ручную, электричество не работает, а там воздуха мало. Девочки, принимайте ребятняшек, сейчас полный грузовик привезут, звонили из детского дома. Ты, — обратился ко мне Чулицкий, — доставь сюда деда. Тащи старика в бомбоубежище, одна нога здесь, другая там. — Я кинулась за дедом, он жил рядом, за углом, бабушка была в Ратомке. Мне не пришлось бежать за ним до самого дома: дед шел мне навстречу. Вид у него был не по обстоятельствам мирный: в мягкой шляпе, белом воротничке и галстук, с обычной палкой, в другой руке он нес венский стул и что-то в наволочке.

— Зачем стул, деда?

— Я стар, чтоб стоять в этой дыре, а сидеть там наверняка не на чем. Стул чистый, и я не испачкаю брюки.

У входа в бомбоубежище стоял грузовик, с которого детей передавали с рук на руки выстроившиеся цепочкой наши девочки. Самые маленькие ребятняшки были в рубашонках до пупка.

Три удара в сердце

К середине дня весь деревянный район вокруг школы гудел от огня. Пожар раздувало сильным ветром. Загорелось здание школы. В бомбоубежище не хватало воздуха. Дети плакали, иссяк запас воды. Горели верхние этажи, школа вот-вот могла обрушиться, и тогда люди в бомбоубежище оказались бы заживо погребенными. Налеты на город учащались с методическими интервалами каждые 15—20 минут. Остаться в школе было опасно. Чулицкий велел эвакуироваться маленькими группами. К пылающей школе снова подъехал грузовик. Мы погрузили в него полузадохнувшихся детей, с ними вскарабкались плачущие нянечки. У каждого из нас где-то были родители — уцелели ли они, сохранились ли сами дома — никто не знал. Телефонная связь прервалась. Дед неподвижно сидел на стуле и глухо повторял: «Роза, Роза, ведь она там совсем одна». Бомбоубежище почти опустело.

— Хватит, дед, здесь уже опасно, нужно выбираться.

— Куда?

— Твоего дома уже нет, попробуем садами пробраться к нам, папа с мамой нас там ждут и волнуются, Дойдешь?

— Что значит «дойдешь»? Мы с тобой побежим, девочка, как зайцы!

Дед ни за что не захотел расстаться со стулом и наволочкой.

— Здесь все необходимое — для меня и для Розы: белье, сахар, хлеб, чай, соль, ты ведь не знаешь, что такое война.

— Ты тоже не знаешь, от той войны ты бежал из Лодзи в Минск с комфортом — в карете и с вещами.

— Да, нам, беженцам, была предоставлена такая возможность, — с достоинством подтвердил дед, как будто возможности той войны соответствовали какому-то незыблемому правилу ведения войн вообще.

— Дедуля, родненький, ты задохнешься здесь, побежали!

И мы побежали. Двухэтажный дом деда на Широкой догорал. Догорали и все остальные дома вокруг. Садами и огородами мы спустились вниз по Госпитальной. Угол нашего квартала уже был в огне. Люди вытаскивали вещи, торопливо рыли ямы, закапывали имущество на огородах. Наш дом еще стоял, но огонь стремительно приближался к нему. Полонские волокли из дома ковры, чтобы закопать их.

Мама неподвижно сидела на диване. Папа с забинтованной головой спокойно складывал в рюкзак какие-то случайные вещи: мои лакированные туфли, будильник, простыни, туго набитые мешочки с сахаром и солью, хлеб, сало.

— Ты ранен?

— Пустяки. Маленькое дорожное происшествие: автомобиль по дороге из Могилева опрокинулся в кювет.

— Я чуть не умерла от испуга. Представляешь, в шесть утра его внесли в дом ногами вперед, голова разбита, в лице ни кровинки, — это мама.

— Зато, если ранит по-настоящему, ты теперь будешь знать, как накладывать повязку. Поторапливайтесь, они ждать не будут — вон, как спешат, гады!

— Куда?

— На восток, в лес. Самолеты нас, конечно, опередят, но в лесу больше шансов уцелеть. Здесь делать больше нечего, закапывать нам тоже нечего. А в рюкзак я сложил то, что в деревне можно будет обменять на еду.

— Будильник, например.

— На будильники в деревнях большой спрос... Вот только, Арон Абелевич, сможете идти пешком? Ведь неизвестно, сколько придется идти.

— Да будет вам известно, Абраша, что в свои семьдесят восемь лет я только и делал, что ходил пешком. В разные концы города. И никогда не пользовался трамваем.

— Вот и отлично. Вполне боеспособная команда. В дочке я уверен, у нее значок «ГТО», в жене не совсем, а отец у нас просто орел. Авось, удастся по дороге сесть в какую-нибудь машину, на худой конец, телега подвернется.

Дед возмутился:

— Бросить население на произвол судьбы! Не обеспечить его — я уже не говорю защитой — даже транспортом! Почему мы сами должны искать какую-то телегу? Мы ведь были готовы к войне! Я двадцать лет учил математике слушателей военных курсов — это же высоко организованные люди! Не могу с уверенностью сказать про кавалерию, но артиллеристы — в высшей степени одаренные в математике люди. Я имел дело с военными крупных рангов, и я всегда знал, что воевать мы будем только на вражеской территории!

— Арон Абелевич, дорогой, никто не знал, что война грянет со стороны немцев!

Дед почему-то успокоился и расположился продолжить тему подробно:

— Я старше вас, Абраша, и я знаю немцев с той войны. Вполне цивилизованные, интеллигентные люди...

Папа взорвался:

— Я тоже знаю немцев с той войны. Первым делом на фронте наше боевое подразделение поинтересовалось, где здесь плен. Так толково наши командовали...

— Вы хотите сказать, что после революции наше командование так и осталось bestолковым? Впрочем, ваши убеждения...

— Мои убеждения при мне и останутся, — сухо прекратил некстати развернувшуюся дискуссию отец. — А наш разговор мы пока отложим. В путь! — скомандовал

папа, и мы вышли из дома. По улицам бежали толпы. Все направлялись к деревянному мосту через Свислочь, за мостом, где-то за Комаровкой и Парком культуры начиналось Московское шоссе. С моста мы увидели, как загорелся наш дом. Папа выбросил ключи от квартиры в реку — за ненадобностью. Едва мы успели пройти мост, как загудели самолеты и посыпались бомбы, застучали сверху пулеметы — прямо по обезумевшей толпе, по грузовым и легковым автомобилям, по телегам.

Папа схватил маму, я — деда, и мы шарахнулись в кювет. Пронесло. Только дико завизжала раненая лошадь, закричал ребенок, заголосили женщины. Отряхнувшись, пошли дальше. Папа сообразил, что шоссе — не самая безопасная магистраль для движения на восток, и свернул круто влево, в лес, параллельный шоссе. Так мы шли сквозь лес, по коровьим тропам. Шоссе бомбили беспрестанно, и людей в лесу становилось все больше. Как-то само собой получилось, что во главе цепочки беженцев оказался мой папа. Он шел привычным к лесу размеренным шагом, держа маму за руку. Дед притомился часа через два. Шел, опираясь на палку и мое плечо. Остановился.

— Я, кажется, переоценил свои возможности. Видишь, мы все больше отстаем от твоих родителей. Оставь меня, я как-нибудь поплечусь по-стариковски, я ведь не один — вон сколько людей идет вместе с нами. Не бросят же они старика...

— Ты в своем уме? Посиди, отдохни, а я добегу до папы и попрошу, чтобы он шел медленнее.

— Ни в коем случае! Лучше достань мне еще одну крепкую палку.

Я подобрала здоровую суковатую палку, и мы с дедом поплелись дальше, километр за километром. Сколько мы их прошли, не знаю, только у деда, который приноровился передвигать ноги с помощью двух палок, откуда-то появилось второе дыхание, и он медленно, едва переводя дух, двигался вперед. Время от времени отец останавливался и ждал нас. Иногда он сворачивал к шоссе и безуспешно пытался остановить какой-нибудь транспорт. Никто не останавливался. У мамы совсем ввалились глаза от усталости. Стемнело, в лесу запахло сыростью. Папа остановился, дождался, пока мы с дедом подойдем.

— Безопаснее всего идти ночью. Судя по всему, ночью эти собаки спят.

Мы прошли около тридцати километров. Если с короткими передышками идти всю ночь, к утру мы будем за Смоленичами. Как думаешь, дед сможет идти?

— Если он не сможет, я его здесь не брошу. Его спрашивать не надо, он хочет, чтоб мы его оставили. Пока идет, останавливаться боится, потому что после отдыха не сможет двигаться. Вы с мамой идите вперед, а мы с дедом уж как-нибудь...

Папа понял, что обсуждать со мной вопрос про деда бессмысленно, и ушел вперед. Где-то посреди ночи лес вывел нас к перекрестку шоссе и лесных дорог. По другую сторону шоссе на горшке в темноте угадывалась небольшая деревенька. На опушке леса отец остановился. Вокруг него сгрудилось человек тридцать-сорок беженцев. Отец предложил дожидаться здесь рассвета, на рассвете наведаться в деревню, попробовать достать молока для женщин и детей и узнать, куда ведут эти две дороги. Костер для безопасности отец разжигать не позволил. Наломали сухих веток, раскинулись табором, подкрепились из припасов, захваченных еще из дома. Дед упрямо отказался прилечь, присел на пенек и прислонился спиной к стволу дерева. Измученные непривычно длинным пешим переходом, мы заснули. И тотчас же, как нам показалось, проснулись, хотя небо над лесом успело просветлеть.

Проснулись от свиста артиллерийских снарядов, лесок наш простреливался насквозь. Из глубины к нашему табору вышли человек десять военных. Изможденные лица показались мне заросшими щетиной, но самым страшным были не лица — на ободранных шинелях четко виднелись пятна от споротых петлиц. Это были не рядовые, а командиры. От них мы узнали, что немцы находятся километрах в шестидесяти восточнее Минска, а наши части попали в окружение, и те, кому удалось прорваться, пытаются выйти к своим. Командир окруженцев оглядел беженцев, глаза его остановились на женщине, кормившей грудью младенца, отец двинулся ему навстречу. Разговор между ними был тихий и короткий. Отец посоветовал командиру, куда им идти дальше, пожелал ему удачи, они обменялись рукопожатием, и военные скрылись в лесу. Встреча произвела на всех тяжелое впечатление. Дед начал было снова

монолог о своих былых связях в высших военных сферах, но под суровым взглядом отца смолк. Артиллерийская перестрелка между перпендикулярными шоссе то стихала, то снова возобновлялась, снаряды перелетали через наш лесок поверху, макушки деревьев падали, как скошенные. Наконец, стрельба стихла. Утро разгорелось вовсю, солнце проникло в наш лес, стало как-то спокойнее.

— Пап, я схожу в деревню? Может, молока достану, картошки и вообще выясню, что к чему?

— Только осторожно. Через картофельное поле до шоссе ползком, по-пластунски — умеешь? Прежде чем пересечь дорогу, спрячься в кювете, осмотришь и только тогда сигай через шоссе. В деревне найди мальчишек, они всегда все знают.

Я быстро переплела потуже косу, повязалась косынкой до бровей и поползла. До дороги оставалось метров тридцать, когда я услышала рокот тяжелых машин. Пока добралась до кювета, слева на шоссе показались танки. На зеленом кузове огромного танка отчетливо виднелось красное полотнище. «Наши!» — завопила я своим в лес, но они меня не услышали. Когда танк приблизился, я с ужасом увидела посреди красного полотнища белый круг и в нем черный фашистский знак. Сочетание родного красного с черной свастикой потрясло меня больше, чем первая бомба, обрушившаяся на военный госпиталь. Пока мимо меня шла танковая колонна, я лежала ничком в глубоком кювете и, презирая себя за детскую слабость, плакала злыми слезами. Танков было много, они шли неторопливо к перекрестку шоссе. Затем я быстренько пересекла дорогу, вскарабкалась на горюшку и очутилась в деревне со стороны огородов, которые спускались вниз, к самой дороге. Тишина стояла мертвая, собаки не лаяли, куры не кудахтали, людей не было видно. Добравшись до полуразрушенного сарая, я почувствовала спиной, что кто-то на меня смотрит. Сквозь щели сарая я увидела много испуганных разноцветных глаз. Сарай был заперт изнутри, я постучала тихонько, послышался мужской голос:

— Ты здешняя, девочка?

— Я из Минска, а вы?

— Мы тоже. Беженцы мы, от бомб.

Меня впустили в сарай. Там разместилось человек сорок — женщины, дети, мужчины.

— А почему вы в сарае?

— Много нас. В хатах полным-полно, всем места не хватило.

— А сколько отсюда до Минска?

— Километров тридцать пять — сорок. Видала танки? Это что ж, выходит, немец уже в Минске? Не слыхала?

— Окружение. В лесочке, вон там, внизу, мы утром видели наших военных. Попали, говорят, в окружение.

— О господи, господи, что теперь будет? — запричитала баба в дальнем углу сарая.

— Прекратите, женщина! Что будет, то будет, раньше надо было думать.

Суровый дядечка обратился ко мне: небось, там, в лесочке, народу тоже полным-полно. Веди их всех сюда, тут все же крыша и посуше будет.

Вскоре в сарай пришло пополнение из нашего лесочка. Мужчины стали держать совет, куда подаваться дальше, раз уж здесь немецкие танки и прут они с востока, значит, и впереди, на востоке, немец. Пока судили-рядили, дверь сарая приоткрылась, просунулись темные руки с двумя ведрами молока, рядом, завернутые в чистую тряпицу, легли три каравай хлеба. Молоко раздали женщинам и детям. Часам к двенадцати, когда в сарае стало душно-душно — солнце палило нещадно, — мы услышали стрекот мотоциклов. И тут же сквозь щели сарая увидели, как один за другим, лихо развернувшись у колодца, посреди деревни, въехали мотоциклисты — по три на каждом мотоцикле, в зеленых мундирах, с расстегнутыми воротами, крепкие шеи шикарно повязаны цветными платками, на груди плоские автоматы, совсем другого фасона, без круглых дисков. Здоровые такие парни, белозубые, улыбающиеся, очень добродушные. Из ворот крепкого дома в центре деревни вышли три пожилые бабы в вышитых нарядных кофтах. Одна из них держала каравай хлеба на красивом полотенце. Она поклонилась немцу в пояс и вручила ему хлеб-соль. Баб с хле-

бом-солью сопровождал аккуратненький старичок в очках — местный счетовод, наверное. Немец широко улыбнулся, порылся у себя в оттопыренных карманах и вытащил горсть конфет в блестящих обертках.

— Матка, гут, гут. Во ист дайне киндер?

— Ну, — шепотом крикнул суровый дядечка в сарае, — налетай на гостинцы. Друзья-освободители пожаловали, вишь, какие гладкие!

Офицер отдал короткую команду, и немцы сноровисто расположились тут же, на улице. Из колодца в чистенькие котелки набрали воду, стали шумно, с фырканием и удовольствием умываться, затем подоставали из мотоциклов складные стульчики и расположились еще обстоятельнее — кто бриться, кто закусывать, прихлебывая из термосов. Запахло незнакомым дымом сигарет. Мама вздохнула «Полжизни за папиросу, сутки не курила...»

— Дед, по-немецки «курить», кажется, «раухен»?

— Ты что, намерена просить?

— А что? Они ведь не церемонятся, расположились тут как дачники, почему мы должны церемониться?

Я вышла из сарая. На вид мне нельзя было дать мои семнадцать, да и косичка меня молодила, а платье в дорогу было на мне старенькое, выше колен, лет тринадцать, не больше. Коленки дрожали, но я, вздернув нос и откинув косу на спину, направилась прямо к немцу с конфетами.

— Гутен таг, — вежливо и старательно, как учили меня в раннем детстве в частной «Фребелевской» группе, произнесла я. — Гебен зи мир, битте цвай сигарет-тен.

Немец захохотал:

— Варум цвай? Битте! — и отдал мне всю пачку. Я кинулась прочь, но, спохватившись, вернулась и вежливо поблагодарила: — Данке шен.

Вслед мне солдаты загоготали еще громче.

В сарае тотчас же запахло немецкими сигаретами. Дед заволновался: «Я мог бы выяснить обстановку, видите, я же говорил — вполне цивилизованные люди, ничего страшного!»

— Арон Абелевич, побойтесь бога! Они очень цивилизованно сожгли ваш дом и весь город. И какую обстановку вы собираетесь с ними выяснять — не будете ли вы любезны, милостивый государь, объяснить, как далеко продвинулись ваши войска и где находятся наши? Вы хотите, чтобы вас тут же цивилизованно пристрелили?

— Не надо так нервничать, Абраша. Может быть, этот исход в какой-то степени облегчил бы проблему... Самое время меня пристрелить, вам всем сразу же стало бы легче. Просто я на сто процентов уверен, что здесь лучше меня никто не владеет их языком. А язык, знаете, единственный способ общения...

— Ну, конечно! Не этим ли способом они зверствовали в Варшаве? Вы забыли, что рассказывали беженцы из Польши еще в тридцать девятом?

— В моей старомодной голове это не совмещается. Я всю жизнь преклонялся перед немецкой культурой...

— Они вам помогут совместить.

— Не будем торопиться с выводами, дорогой Абраша, но я уверен, с людьми — не обезьянами ведь, а людьми, посмотри, они вполне похожи на людей, — всегда можно договориться!

— Сталин с Гитлером договорились, как люди, что с того?

— Ах, не будем гадать, мы ничего никогда не узнаем, о чем шла речь там, наверху.

— Оля! — взмолился папа, — попроси своего отца хоть помолчать! Он шестьдесят лет назад усвоил у немцев, что все действительно разумно и с тех пор никак не сдвинется с этой мертвой точки! А еще математик!

— Не смей кричать на деда. У него и в самом деле не совмещается. Ни у кого не совмещается. У меня тоже — фашистский знак с красным.

Мама, которую давно мучил жестокий приступ печени, умоляюще посмотрела на нас:

— Не ссорьтесь, ради бога, сейчас не время. Лучше позаботься о телеге. Куда

бы мы отсюда ни двинулись, нужна телега с лошадей. Ни я, ни отец пешком идти не сможем. А здесь нас так не оставят.

С противоположного конца деревни послышались крики, лающие немецкие перебежались с бабьими и детским плачем — по деревенской улице сгоняли к колодцу беженцев из Минска. Дошел черед и до нашего сарая. Появилось несколько запряженных телег. Немец постарше чином выкрикнул несколько фраз. Никто ничего не понял.

— Ну, вот. Переводи, внученька: все беженцы из города в сопровождении немецкого конвоя через пятнадцать минут должны отправиться к прежнему месту жительства. Старикам, больным и детям будут обеспечены телеги. Остальные — пешком. За безопасность продвижения колонны немецкое командование несет ответственность. За побег из колонны, а также другие акции против немецких солдат будут применены самые суровые меры, вплоть до расстрела.

— Видишь, дорогая, — неестественно высоким голосом сказал папа, — все как по щучьему велению. И думать ни о чем не надо. За нас уже подумали. Если б мне еще сказали адрес моего прежнего места жительства, я был бы очень признателен... Куда? На пепелище?

Спустя пятнадцать минут наш караван двинулся из деревни и направился в сопровождении десятка мотоциклов в сторону Минска. Обратная дорога запомнилась лишь огромным количеством грузовых машин, двигающихся по Московскому шоссе на восток. В машинах сидели веселые вооруженные парни, они горланили песни с игривыми мотивчиками. Никто из немцев не шел пешком. А на запад, в сторону Минска, пешком тянулись наши пленные красноармейцы. В лицах их, казалось, отложились годы, изнурительные годы поражения. Лица, глаза наших пленных, их неисчислимое количество — третий удар в сердце, полученный мной с 22 июня. Шел четвертый день войны.

Реставрация капитализма

До Минска в сопровождении мотоциклистов добрались к вечеру. Поравнялись с Парком культуры, откуда начинался город. На обочине Московского шоссе стоял новенький столб с аккуратной надписью: «700 км нах Москау». Обоз наш остановился. Начальник конвоя приказал освободить телеги и идти по домам. Над городом стояло зарево, пахло гарью. Идти было некуда. На противоположной стороне шоссе стояли какие-то сараи и бараки, во дворе копошились люди. До войны здесь был маленький завод безалкогольных напитков, где директором работал отец Риты Полонской. Вся семья Полонских оказалась здесь: Рита, ее родители и двое детей — восьмилетний Людвиг и родившаяся накануне войны девочка. Сам композитор недавно уехал в Москву вместе с другими участниками декады белорусского искусства. Полонские ушли из города позже нас и спрятались от бомбежки здесь. Подаваться обратно в город было бессмысленно, и мы разместились в одном из пустовавших сараев. Дед был совсем разбит дорогой, мама корчилась от болей в печени, мы с отцом пытались как-то приноровиться к новым условиям жизни: сложили из битых кирпичей во дворе печку, нашли ведра, старые тазы, кастрюли, из ящиков от бутылок — их валялось вокруг множество — соорудили нечто вроде нар. Есть было нечего. С утра мы с папой решили отправиться на разведку в город. Он направился к центру, я на Сторожевку, где до войны жила Галка. Мама с дедом оставались в сарае. Им строго-настрого было наказано не выходить днем, так как с шоссе то и дело во двор забредали немцы. У столбика с надписью «700 км нах Москау» немецкий транспорт, движущийся на восток непрерывно днем и ночью, останавливался, и солдаты, заведя подобие жилья, живо интересовались, нет ли у местного населения сала, яиц и картошки. Дед, поблескивая очками, на старинном, очень правильном немецком языке, мало похожем на солдатский говор, добросовестно объяснял, что мы — не крестьяне, а погорельцы и хозяйства у нас здесь никакого нет. Солдаты, пошвыряв сапогами битые бутылки, воспринимали дедовы пояснения без всякого интереса и, спросив воды, располагались для бритья и умывания. Они были точно такие, как те

первые мотоциклисты в деревне. Один только раз контакт с победителями принял более острый характер. С грузовика прыгнул долговязый солдат с гусем в руках, постучал пальцем в дверь нашего сарая и на чистом русском языке спросил: «Хозяева дома?» Не дожидаясь ответа, он вошел, щелкнул каблучками и вежливо обратился к маме:

— Прошу прощения за беспокойство. В моем распоряжении около получаса. Не откажете ли вы, мадам, в любезности помочь мне сварить этого гуся! Давно не ел ничего, кроме концентратов, — некогда, очень торопимся в Москву.

Тут, естественно, выступил дед с его давней жадой контактов с европейцами:

— Господин солдат прекрасно говорит по-русски, совсем без акцента. Вы русский?

— Вы тоже, не имею чести быть знакомым, из интеллигентов? Случайно не из жидов?

Мама испугалась до онемения, дед как подкошенный опустился на нары.

— Моя мама очень больна, она не в состоянии подняться. Мой дедушка — известный в этом городе математик. А я гусей готовить еще не научилась. Отсюда совсем близко до деревни, там вам помогут. Тем более вы на хорошем русском языке свободно объясните, что вам нужно, и ваш гусь попадет в чистые руки, не жидовские наверняка...

— Твое счастье, жиденка, что у меня нет времени. Попридержи язык, советую на будущее, если оно у тебя подразумевается. Насколько мне известно, это исключено. Честь имею! — Владелец гуся резко повернулся и исчез в своем грузовике.

Так произошло наше первое знакомство с «русским» фашистом, со словом «жид». Не скажу, чтобы впоследствии на моем пути их встречалось много, но тот, кто встретился, запомнился надолго. Особенно сильно впечатляла их безупречная, какая-то дистиллированная русская речь и повышенная, по сравнению с рядовыми немецкими солдатами, готовность говорить и делать гадости. Отца, к счастью, при этой сцене не было.

На Сторожевке я разыскала семью Б-й. Дом их сгорел, и жили они дальше по Сторожевке, в полуразвалившейся избе древней бабки, дальней родственницы. Пол-избы занимала закопченная печь, у которой ловко орудовала ухватами Галка. Младшие четко выполняли ее команды. Витька научился доить бабкину козу. Софка с Леликом ковырялись в запущенном огороде, мать, еле живая, тихо постанывала в боковушке. Бабка кряхтела на печи. Узнав, что все мои живы, Галка деловито осведомилась, чем я их кормлю:

— Говорят, на Нижнем базаре черный рынок, но денег нет, там вроде деньги вообще не в ходу, там меняют...

— Что меняют? С кем?

— Черт их знает. Соседи говорят, меняют с немцами на продукты золото царской чеканки, часы, кольца, серьги и всякое другое барахло. У нас этого все равно нет. Пока не посеет на огороде, ума не приложу, чем кормиться. Надо в город сходить, поразнюхать, что к чему.

И мы пошли с Галкой в город. Его не стало, руины еще дымились, под ногами было горячо. Мы шли вверх по бывшей Советской, прошли сквер, в глубине которого чудом уцелел театр. Потом по разрушенной Ленинской спустились к площади Свободы. Костел стоял целехонький и моя музыкальная школа тоже. Мы пересекли площадь по раскаленному булыжнику. Окна бельэтажа школы были распахнуты, слышалось дребезжание рояля. Мы вскарабкались на облупленный фундамент и заглянули в окно. За белым роялем графа Радзивилла сидел пьяный немец и одним пальцем тыкал по клавишам. Зрелище это не вызвало эмоций — так, видимо, и должно было быть, раз нет города. Затем мы спустились по крутой улочке к Немиге и Нижнему базару. Нас окликнул пожилой человек с усами и бородой.

— Не узнаете?

— Господи, Ефим Георгиевич, вы? — выдохнула оторопевшая Галка, — откуда?

Физик Дятлов — это был он — как-то неопределенно качнул головой:

— Бежал из-под стражи во время бомбежки. Теперь вот собираюсь в этой разрухе налаживать народное просвещение. Дед твой жив?

— Жив. Только он ничего не знает о налаживании народного просвещения.

— Я очень уважаю твоего деда. Но, по-видимому, в новых условиях вряд ли смогу чем-нибудь ему помочь. А тебе помочь хотелось бы. Вот здесь, — он кивнул на уцелевшее здание Дома профсоюзов, — комендатура. Зайди ко мне через недельку, что-нибудь придумаем для тебя. И для тебя тоже, — кивнул он Галке. — Впрочем, с тобой будет легче.

— Спасибо, Ефим Георгиевич, — глухо, глядя себе под ноги, сказала Галка. — Но мы вряд ли придем, времени нет.

— Ну-ну, — усмехнулся бывший физик, — соображайте сами, совсем уже взрослые.

Галка дернула меня за руку, и мы, не попрощавшись с Дятловым, побежали. В первой же подворотне мы остановились. Красная, как рак, Галка, задышавшись, спросила:

— Ты поняла, где он работает? Поняла? Может, он в министры метит при новой власти? Мудрая Галка была права. Спустя недолгое время, когда оккупационный режим в Минске стабилизировался, мы узнали, что Дятлов — министр просвещения так называемой Белорусской рады. Больше мы его не видели ни разу.

На Немиге, возле одного из уцелевших домов, мы остановились, как вкопанные: висела вывеска «Торговый дом бр. Николаевых и Ко».

— Интересно, откуда они вылезли, эти бр. Николаевы и Ко?

Какой-то дикий сон. Как в кино про дореволюционную жизнь, — кипятилась Галка. Напротив дома с вывеской толпились солдаты. Строго соблюдая очередь, они предъявляли желтые талончики и скрывались за свежеевыкрашенной дверью. Над дверью висел красный фонарь. Талончики проверяла черномазая девчонка в локонах, пестром платье, с ярко накрашенными губами. Пожилой дядечка, поравнявшийся с нами, сплюнул и проворчал: «Конец света... Средь бела дня, при всем честном народе бардаки пооткрывали». Мы оглянулись. Через два-три дома точно так же дверь с фонарем, очередь солдат и размалеванная девица, проверяющая талончики. Мы шарахнулись в переулок. По мостовой неторопливо шел странный человек в черном лапсердаке, с бородой, пейсами, в ермолке — точь-в-точь такой, как когда-то в Борисове, возле синагоги. Вслед ему стайка мальчишек лет семи-восьми радостно вопила: «Жид пархатый, нос горбатый!» У еврея было отрешенное лицо.

— Пошли отсюда. Все ясно, весь набор. Не обращая внимания. Видишь, этот в ермолке идет и не обращает. Как будто их, этой шпаны, и нету вовсе. Это не дореволюционная жизнь. Это знаешь что? Реставрация капитализма! — Галка, найдя формулу, немного успокоилась.

Из-за угла на перекресток двух переулков вырулил немецкий грузовик с цистерной. Шофер остановился посреди улицы и куда-то в пространство негромко сказал: «Матка, млеко». Мгновенно из всех подворотен вынырнули бабы, дети с бидонами и бутылками. Мы кинулись в разрушенный двор, тут же, у колонки, вымыли трехчетвертную бутылку и тоже встали в очередь. Стоявшая перед нами толстенная баба в грязном фартуке без умолку трещала: «Вот, понимают, что людям есть-пить надо, молочка подвезли и денег не берут».

Очередь теткинго разговора не поддержала. Хвост перед нами выстроился длинный, словоохотливая тетка обратилась ко мне: «Вот ты, дочушка, видала раньше, при советах, чтоб молоко — и бесплатно? Само собой, культурные люди, не жиды какие-нибудь...» Галка толкнула меня в бок — молчи, не обращай внимания. Я молчала-молчала, а тетка передо мной раздувалась, как страшный пузырь, готовый вот-вот лопнуть. Вдруг в голове у меня зашумело, перед глазами завертелись круги, красные и черные. Затем я, как во сне, услышала звон моей здоровенной бутылки, раздался визг: «Караул, убивают!», но это уже издали, потому что мы с Галкой мчались от визжащей бабы проходными дворами и спрятались в руинах далеко от цистерны с молоком. У Галки зуб на зуб не попадал, я же почему-то успокоилась, в голове перестало шуметь, круги исчезли.

— Успокойся, — шептала дрожащая Галка, — ты ей правильно врезала, будет помнить...

— Значит, я ее не убила?

— А что ее убивать — это ж быдло, чернь — знаешь такое слово? Их еще много навыволзает, увидишь. Всех не перебеешь, бутылей не хватит. И вообще это не метод. А сейчас домой. Твой там уже с ума сходит. По дороге забежим к нам, возьмешь немного картошки, она прошлогодняя, мелкая, как горох, у бабки в подполе нашла, но есть можно. И козьего молока для матери. Оно хоть и противное, но целебное.

Отец, вернувшись из города раньше меня, беспокойно метался по двору. Никаких особых новостей из города он не принес, но в обмен на будильник удалось достать кирпич серого немецкого хлеба и две банки консервов. И еще папа был на нашем пепелище. Ничего на том месте не осталось, кроме скелета шредеровского рояля. Немцы в тех местах строят асфальтовую дорогу по направлению к оперному театру. Театр стоит, только его насквозь прошло фугасной бомбой. В опере расположилось много немцев, отец видел, как через главный вход внутрь вводили лошадей. «Очень музыкальный народ, наши победители, нужно обрадовать деда». За день хождения по городу папа сильно осунулся и как-то затвердел. Дед все больше неистовствовал по поводу брошенной на произвол судьбы бабушки и порывался сам идти за ней в Ратомку — за шестнадцать километров от Минска.

— И дойду, — упрямо твердил старик, — у меня уже есть опыт.

Отец пытался его успокоить:

— Роза Львовна — я уверен — жива и здорова. В Ратомке не было бомбежки, хозяйка дачи — преданный нашей семье человек, сберегла вашу жену. Через два-три дня Олечка придет в себя и вместе с дочкой доберется до Ратомки.

Мы с Галкой условились идти на промысел на следующее утро. Молва донесла, что где-то у товарной станции уцелели наши военные пакгаузы с продовольствием, голодное население эти склады грабит, а немцы не обращают внимания. Вот и мы с подругой решили немножко пограбить.

По пустынной окраине по направлению к товарной станции двигалась молчаливая толпа женщин. В руках у них были мешки, большие корзины, рюкзаки. У нас мешков не было, зато мы захватили две большие наволочки с фамильными монограммами Б-й. Скоро мы увидели длинный ряд приземистых строений с окованными железом дверьми и тяжелыми висячими замками на них. Насупленные мужики безуспешно пытались замки сбить. Толпа женщин вокруг пакгаузов росла и роптала. Метрах в ста от складов стояло несколько немецких фургонов, там шла своя мирная жизнь: часовой с автоматом на груди выводил что-то чувствительное на губной гармошке, остальные жевали, равнодушно поглядывая в сторону толпы. Наконец, исхудавшая баба истошно крикнула: «Хватит возиться! С крыши их надо брать — крыши-то толевые, стропила деревянные, поддать топориком и готово!» Вмиг на крышу вскарабкались мужики, кто ломом, кто топором вскрыли крышу, и тут начался невообразимый гвалт. Осатанелые бабы полезли на крышу, задрав юбки, обнажив выше колен пыльные, худые ноги. Немцы у фургонов заржали. Полезли на крышу и мы с Галкой, но благополучно нырнуть в темноту мне не удалось: баба, которой я загородила заветный пролом, сильно толкнула меня в спину, и я рухнула вниз. Изнутри пахло острым запахом жести. Но до низу я не долетела, споткнулась об торчащее из разобранной крыши бревно, как-то странно споткнулась — повисла вниз головой на собственной ноге, в которую вонзился гвоздь. Боли я не почувствовала, но живо представила, как висят кровавые мясные туши на крюках. От ужаса я завопила дурным голосом. На мой вопль раздался выстрел, и пакгауз, доверху набитый, как потом выяснилось, консервными банками, мгновенно опустел. Снаружи, чей-то голос оповестил: «Девочку убило», затем послышались немцы: «Лос, лос Вег!», и в проеме разобранной крыши я, продолжая висеть на собственной ноге, увидела рожу солдата. «Майн готт!» — охнул он, спрыгнул вниз и стал снимать меня с гвоздя, как окорок. Я завопила еще громче — от страха, что живой немец с автоматом схватил меня поперек туловища и куда-то тащит. Он выволок меня наружу, я визжала, царапалась в его руках, как взбесившаяся кошка. Галка моя бежала следом и, размазывая слезы по грязным щекам, подвывала: «Ой, Галочка, ой, куда он тебя несет, ой, что теперь будет...» Немец ругался, потому что мне удалось еще и укусить его пару раз, с трудом притащил меня к фургону, бросил на траву, подбежали солдаты, схватили

меня за руки, прижали к земле. И только тут я почувствовала, что из ноги хлещет кровь и кровью, моей иудейской кровью, залит с головы до пят тот солдат, что нес меня. Спустя минут десять меня отпустили, на ноге была тугая повязка, а плачущая Галка набивала наши наволочки бычками в томате. Из того же пакгауза солдат вынес громадный бумажный пакет с макаронами. С этими трофеями мы потащились по домам. Запаса бычков и макарон хватило почти на все время, что мы жили у обочины Московского шоссе, то есть на месяц. Голодная смерть в ближайшем будущем нам не грозила. Немецкая повязка на ноге оказалась чересчур тугой, и на следующий день я ее сняла. Рана оказалась небольшой, но глубокой, до кости на голени. Гвоздь уперся в кость — вот почему я так хорошо повисла. Еще спустя два дня рана затянулась сама по себе, и мы с мамой отправились в Ратомку за бабушкой — пешком, по шпалам, 32 километра в оба конца. Мы застали бабушку живой, чуть похудевшей от волнений. Она не изъявила никаких чувств по поводу сгоревшего дома, сожженного города. Ее глаза увлажнились лишь тогда, когда мы рассказали, как героически отшагал дед почти сорок километров. «И он жив? Вы ничего от меня не скрываете? Он здоров?» Я по привычке накапала бабушке капли, но она решительно отстранила лекарство. «Надо немедленно идти к нему. Немедленно. Немножко отдохните и пойдем, да?» Ни я, ни мама не посмели сказать, что больному человеку трудно будет отшагать такое расстояние. Бабушка сложила в соломенную корзинку увесистый узелок, завернутый в белое льняное полотно, какие-то шкатулки. Хозяйка дачи молча положила в ту же корзинку каравай домашнего хлеба, бутылку молока и десяток яиц. Перед уходом бабушка всплакнула, хозяйка перекрестила нас, и мы пошли обратно. Весь путь до Минска бабушка молчала, отдыхать не хотела, к еде не притрунулась. Ни единого оха и вздоха — шла в свои шестьдесят восемь лет так, будто всю жизнь совершала дальние пешие переходы. Оказалось, я плохо знала свою бабушку.

Всюду жизнь

20 июля 41-го года по городу был развешен приказ полевого коменданта о создании в Минске гетто. В приказе содержалось двенадцать параграфов, из которых мне особенно запомнился один — в нем без околочностей все расставлялось по местам:

«...Жид Илья Мушкин назначается председателем жидовской рады...» Далее шли пункты, в которых определялся размер контрибуции с еврейского населения для возведения каменной стены, которая будет отделять гетто от остального города. Размер контрибуции обозначался пудами серебра и золота. К тому времени по другим поводам и в разных местах уже висели разные объявления новой власти, заканчивавшиеся примелькавшимися словами «штрэнг ферботен» или «вирд ершос-сен». До сих пор в городе находились фронтовые части и действовало военное командование. Те, кто пришел следом, должны были учредить новый порядок и пустить в действие уже налаженную за предыдущие два года войны в Европе оккупационную машину, с учетом местной специфики.

Машина работала четко и быстро. Все и вся подлежало регистрации — не только евреи, но и уцелевшие дома, количество оставшегося в городе населения, все сохранившиеся от бомбежки предприятия и службы. Минск становился военно-административным центром всей оккупированной восточной территории, которая в ходе молниеносной войны увеличивалась со дня на день. В здании бывшего Дома профсоюзов на площади Свободы разместился генерал-комиссариат. Стало меньше зеленых мундиров фронтовиков, зато появлялось все больше мундиров других цветов: цвет хаки с кирпичным оттенком и красной повязкой со свастикой на рукаве означал принадлежность то ли к комендантской, то ли к строительной службе, зеленый с оттенком цвета морской волны, с металлическими ожерельями по вороту и черепами на касках — полицейская служба, жандармерия, сизо-серые мундиры — люфтваффе, то есть авиация. И еще попадались черные мундиры с серебряным шитьем, черепами на петлицах и теми же красными повязками на рукаве — гестапо.

Как вскоре выяснилось, немецкая служба безопасности ходила чаще в штатском или в любой другой форме.

На окраинах города под открытым небом, за проволочными ограждениями с вышками для часовых появились лагеря для наших военнопленных. Гражданское население сгоняли на расчистку руин в тех местах, где немцам нужно было прокладывать дороги. «Готт мит унс» — такая надпись на бляхах солдатских ремней — этот самый бог на законных основаниях поселился в уцелевших церквях и костелах. В еврейском районе открылась бездействовавшая до войны синагога.

Не были забыты и культурные развлечения. В театре Купалы, кинотеатрах, в наскоро приспособленных для культуры помещениях открылись казино для офицеров — с выпивкой и девочками. Девочек, по слухам, немцы привезли из Европы, поэтому обслуживающий персонал в этих заведениях был интернациональный, француженки, мадьярки, румынки, польки. Со временем заведения незначительно, но пополнились местным контингентом. Посетители казино, в основном младшие офицерские чины, накачивались там пивом и жуткой смесью коньячного типа под названием «Брандвайн». В фешенебельных казино в ходу были более изысканные напитки, вывезенные из винных погребов Европы. Все эти сведения мы с Галкой и другими ребятами, объединившимися с нами в вылазках по городу, накопили довольно быстро. Из одноклассников, кроме Иры Прилежаевой, в городе никого не осталось, но нам почему-то ее разыскивать не хотелось. Из официальных немецких источников мы не узнавали ничего, кроме победных маршей, астрономических цифр километров, городов, поселков, убитых, раненых и плененных, добытых немцами в стремительном наступлении. К этой информации мы относились недоверчиво — уж больно трескучей и фантастичной она была. Странное впечатление производила немецкая кинохроника, которую победители показывали прямо на улицах: фюрер, принимающий военные парады, многочисленные оружие митинги на площадях, плакаты, транспаранты, дети, преподносящие Гитлеру цветы, — весь этот ритуальный набор казался нам страшной пародией на зрелища, к которым мы привыкли с детства, особенно вот этот кадр: ребенок с цветами рядом с Гитлером на трибуне. До войны трогательная картинка с девочкой из Средней Азии Мамлякат Наханговой, вручающей цветы Сталину, не сходилась со страниц газет и журнальных обложек. В маршеобразных мелодичных солдатских песнях, которые звучали по радио и на улицах, навязчиво проступали ритмы и интонации наших массовых песен. Мы тогда, в первые месяцы войны, гнали от себя эти ассоциации, вернее, мы пытались им найти объяснение каждый внутри себя. К тому времени мы уже кое-что слышали о фашистской идее национал-социализма. Само слово «социализм» в этом диком контексте звучало как чудовищное извращение. Нам, с нашими невспаханными в ту пору мозгами, невозможно было переварить обрушившуюся на нас мешанину из хорошо продуманной, организованной до деталей смерти — и социалистического мифа, в который она, смерть, рядилась. Тогда, в немецких военных сводках, в фанатичных лозунгах впервые я услышала слово «тотальный». Вникать в эти сложные категории нам мешало ежедневное, ежечасное сопротивление смерти, которая свободно гуляла по городу и материализовалась то в выстреле по человеку, нарушившему комендантский час, то в короткой автоматной очереди по обессилевшему пленному. И, наконец, смертью дышали сытые, ухоженные, в блестящих сапогах с твердыми высокими голенищами, отборные военные мужчины, сделанные из какого-то другого материала. Нам, семнадцатилетним, полуоборванным целомудренным девчонкам становилось страшно, когда они проходили мимо и оглядывали нас. Казалось, всю доблестную немецкую армию от солдата до расфранченного офицера гложет неутолимый сексуальный голод, что они свою половую потенцию несут с той же смертоносной силой, какая содержалась в их танцах и самолетах. «Фрейляйн, шпацирен!» — неслоь нам вслед всюду, где попадался немец, и ему, этому представителю культурнейшей нации, было невдомек, почему голодные, невзрачные барышни норовят ушмыгнуть от них, скрыться. Впрочем, не все барышни. Однажды мы увидели нашу минскую девушку в нарядном платье и модной немецкой прическе, она шла мимо офицерского казино походкой цирковой лошадки, мелко перебирая стройными ножками на высоких каблуках. Вслед ей неслись восторженные немецкие междометия, ее стати громко комментирова-

лись, а девица — это излучали ее торжествующие глаза и улыбка — была счастлива. Она несла свои прелести, как награду, как подарок отборнейшему из них. Лицо ее показалось знакомым, вскоре мы узнали, что она — наша сверстница, дочь уважаемого в городе человека, стала одной из лакомых приманок самого шикарного заведения.

По-видимому, такая судьба не была единственной. Наше тогдашнее семнадцатилетие, еще не успевшее пробудиться от девственного сна, было грубо, наглядно поругано, и вспомнила я эту девочку из хорошего дома как один из трагических штрихов оккупационного быта. Штрих этот косвенно наложился и на мою судьбу, потому что обостренный инстинкт самосохранения — не от смерти, а от любой угрозы открытого мужского начала — заморозил меня надолго. Эмоциональная атрофия, поразившая меня на все военные годы, началась именно тогда, когда я увидела, что девочка предлагает себя как подарок. Само слово «секс» тогда у нас не было в ходу, хотя в немецком лексиконе времен войны оно уже существовало. Но мне до сих пор кажется, что сексуальная революция середины XX века было подготовлена тогда, когда благонаправного, воспитанного в строгих традициях, хорошо выкормленного немца выпустили за пределы милой Германии и объявили ему, что все дозволено. Нравственные, психологические последствия этого сексуального взрыва исследованы, как мне кажется, мало, хотя для человечества в целом они зловещи почти так же, как последствия атомной катастрофы.

А тогда, в июле 41-го года, медленно остывавший от пожара Минск, обыкновенные мирные люди, оказавшиеся в оккупации, были сосредоточены на лихорадочных поисках выхода из создавшегося положения. Об ужасах войны, о зверином облике фашизма написаны горы книг, художественных и документальных. Мне в моих скромных записках вряд ли удастся сообщить что-нибудь доселе неизвестное. Речь пойдет о совсем не героических людях, сумевших сохранить в себе человеческие свойства — доброту, порядочность, способность к состраданию, бескорыстие. Ведь объективная реальность — от кошмарных бытовых мелочей до глобальной идеи истребления народов и государств — состояла в уничтожении человеческого в человеке. Откуда обыкновенные люди черпали силы для великого противостояния? Я говорю не про воинов, не про партизан, не про тех, кто с первых дней войны ушел в подполье.

Я думаю об учительнице Клавдии Сергеевне Котляровой и ее сестрах. На вопрос чиновника из нового министерства просвещения, почему они не хотят учить детей при новом порядке, Клавдия Сергеевна бесстрашно ответила: «Я, вероятно, была очень плохой учительницей до войны, если восьмилетний мальчик, сын моей бывшей ученицы, при мне произнес отвратительное слово «жид». Чему я буду учить детей сейчас?» Очень быстро сестры Котляровы получили повестки с приказом явиться на тяжелые земляные работы. Все это я узнала про них позже, а летом 42-го года, когда меня в числе других трудоспособных евреев гнали по мостовой восточной окраины города на работу, из калитки ветхого дома вышла совсем крохотная старушка и молча протянула мне три вареные картофелины. Старушка посмотрела на конвоира горящими глазами Клавдии Сергеевны и помахала маленькой знакомой рукой мне вслед. Пожилой солдат, сопровождавший нашу небольшую колонну, не посмел отогнать старую женщину, хотя так предписывала инструкция. Он явно испугался ее глаз.

Осень и зима 41-го

4 ноября 41-го года в гетто каким-то чудом проникла моя Галка.

— Нужно уходить отсюда. По городу ходят слухи: в праздники будет погром. Спрячетесь у нас на чердаке.

— Я одна не пойду. Родителей и стариков не брошу.

Дедушка и бабушка выходить с нами из гетто категорически отказались. «Хватит того, что из-за меня мы остались в этом аду, — сказал дед. — Я свое прожил. Ничего особенного не случится, если настанет конец. Мы с Розой уже все решили — мы не в праве мешать жить вам. И не возражай, внучка, я так решил. Участь моего народа — моя участь». Тезис об участи народа, которую он намерен разделить, дед довольно

пространно излагал еще до переселения в гетто, тогда они с папой жестоко поспорили. Папа пытался опровергнуть деда тем, что тот никогда не принадлежал к патриархальному еврейству, не верил в бога, не думал, не читал и не разговаривал на родном языке, по образу мышления, образованию и кругу общения деда скорее всего можно было отнести к разночинной русской интеллигенции. Война разорвала в сознании деда все устоявшиеся представления и связи, старик испытывал трагическое смятение духа и со дня на день все разбухавший комплекс вины: не будь его тогда с нами, под бомбами 24 июня, мы успели бы уйти от оккупантов. Как всякий старый интеллигент, дед всерьез стал верить в искупление своей вины страданием, которое он должен принять за всех нас. Что будет — то будет — это решение стариков осталось непоколебимым. Мама рвалась на части между родителями и мною с отцом, но дед сурово приказал ей: «Иди с мужем и дочерью. Им ты нужнее».

4 ноября во второй половине дня Галка вывела меня, папу и маму проходными дворами в «русский район» — тогда проволочное ограждение гетто еще не было завершено — а там, напрямик через руины, минуя оживленные магистрали, мы добрались до Сторожевки. Перед уходом из гетто бабушка сунула мне тяжелый сверток, завернутый в льняное полотенце: мало ли что — пригодится — старое столовое серебро, ложки, вилки, ножи, которые бабушка наотрез отказалась сдать в фонд контрибуции. Отец исследовал подвал дома, где мы разместились в гетто. Это было двухэтажное здание бывшей больницы. Левая сторона улицы относилась к гетто, напротив, через узкую булыжную мостовую, был «русский район». Там работал маленький хлебозавод, к которому с раннего утра выстраивалась очередь немецких машин за хлебом. В больничной палате, где вместе с нами поселились еще шесть семей, рядами, вплотную стояли железные кровати. В смежной с нашей маленькой палате жила старая женщина с двумя взрослыми умалишенными детьми. Сын, слюнявый кретин лет сорока, целыми днями сидел на балконе, уставившись в одну точку. Дочь, крупная брюнетка лет пятидесяти с дико блестящими глазами, днем копошилась у печки-голландки, помешивая варево в котелке. Ночами она не спала. К рассвету ее возбуждение достигало крайней точки, и она пускалась в пляс на одном месте, выкрикивая резким голосом бессмысленные частушки, приближалась к кровати моего отца и довольно агрессивно обращалась к нему. Папа спокойно вставал, брал ее за руку и отводил к старухе-матери. Безумная успокаивалась и засыпала.

Так вот, все население больницы перед нашим уходом из гетто спустилось в подвал, захватив с собой что у кого было: тюфяки, одеяла, запас воды и еды. Мы простились со стариками, напоследок бабушка сняла маленькие золотые серьги и отдала маме. Простились молча, без слез и вздохов. Где-то в этом районе оставалась Рита Полонская со своими детьми и стариками, наша довоенная приятельница Соня Садовская с маленьким сыном Игорем, десятки тысяч других людей — сколько их скопилось в гетто поначалу, никто толком не знал. Не знали и мы, вернемся ли сюда, не знал никто, что такое «погром», все так или иначе вспоминали о погромах на юге России до революции, когда в еврейских кварталах летели перья из подушек, и хулиганы грабили лавчонки.

На чердаке у Галки мы пробыли примерно неделю. Там пахло сеном, пылью, кошками. Как-то вечером поднялась к нам встревоженная Галка и сказала, что здесь оставаться опасно, соседи пронюхали и наверняка донесли, в любой момент может нагрянуть полиция. Семейство Б-й решило уходить из города в Западную Белоруссию, где живут родственники на глухом хуторе. Всем вместе нам туда не дойти. В гетто вроде бы операция закончилась — вывезли несколько тысяч в Тучинку, тихо и аккуратно их там прикончили. Соответственно сократилась территория еврейского района.

Рано утром мы вернулись обратно тем же путем, что вела нас Галка из гетто. Прошли обезлюдившие улицы очищенного от евреев квартала. На площади, неподалеку от еврейского кладбища, в двухэтажном деревянном доме находился так называемый «юденрат», то есть та самая жидовская рада, председателем которой был назначен Илья Мушкин, седой, благообразный человек. Функции этого учреждения были мало понятны. Члены юденрата поначалу отвечали перед немецкой администрацией за сбор контрибуции с населения. Необходимые пуды серебра и золота были

собраны — я сама в первый и последний раз в жизни видела в одной из комнат юденрата груды золотых монет на столах — отец специально водил меня показывать контрибуцию, так как я не понимала значения этого слова. Каменная стена, на сооружение которой якобы требовалось это золото, настолько мне помнится, так и не была построена. Отец не предполагал, что люди в своих загашниках хранили такое количество золота и теперь, обуреваемые страхом перед новым порядком, добровольно опустошали свои тайные запасы, хранимые все двадцать три года жизни при советской власти. Немцы требовали от юденрата скрупулезной нумерации и регистрации всех домов гетто и каждого жителя в отдельности. Еще они требовали соблюдения норм санитарии, так как очень боялись вспышки какой-нибудь эпидемии. Никаких административных прав у юденрата, естественно, не было.

Выяснилось, что после акции 6 ноября многие уцелели. Не добрались немцы и до больничного подвала, бабушка с дедушкой живы, спаслась Соня Садовская с сыном, погибли Полонские, не успевшие спрятаться, и семья бабушкиных родственников, из которой случайно уцелел восьмилетний мальчик Ося — теперь он прибил к нашей семье.

Нас поселили в одноэтажном деревянном доме № 17 на улице Опанского. Цифра «17» соответствовала номерному знаку, который, кроме желтых заплат диаметром десять сантиметров на спине и на груди, носили все обитатели гетто. В двух крохотных комнатах пришлось соорудить двухэтажные нары, так как набилось туда много людей. Спустя несколько дней отец привел домой бледного красивого человека с застывшими глазами. Это был Михаил Абрамович Зоров, знаменитый артист театра Купалы, тот самый Платон Кречет. Михаил Абрамович не уехал почему-то вместе с театром в Москву накануне войны. События, разразившиеся 22 июня, настолько потрясли его, что он потерял реальное представление об опасности. Незнакомые люди узнали его в русской черте города, где он бродил без дома и крова, и переправили его «к своим» в гетто. Отец нашел его в состоянии прострации неподалеку от нашей улицы и привел домой. Бабушка накормила его оладьями из картофельной шелухи — изысканным тогда блюдом. Зоров механически съел все, что ему дали, тихо поблагодарил и сделал попытку тотчас же уйти, но отец его не выпустил. С трудом Михаила Абрамовича уговорили прилечь, и он заснул.

На следующий день папа привел еще двоих, отца с сыном — Моисея Ефремовича Иоффе и 15-летнего Золика. Моисей Ефремович не терял присутствия духа, был неправдоподобно для тех дней элегантен. Двух-трех сказанных им с польским акцентом фраз оказалось достаточно, чтобы понять: Иоффе — беженцы из Польши. Отец познакомился с Моисеем Ефремовичем в юденрате, где Иоффе, отлично знавшего немецкий, назначили заместителем Мушкина. С его появлением в нашем доме установилась столь не достававшая нам вера в то, что еще не все кончено. Жена Моисея Ефремовича погибла в 39-м году во время оккупации Варшавы, оттуда ему удалось бежать с сыном в Вильно и как крупному радиоинженеру перебазироваться накануне войны вместе с Виленским радиозаводом в Минск. Уже обстрелянный войной, он не строил никаких иллюзий по поводу конечных намерений немцев насчет евреев и, чувствовалось, знал нечто такое, чего никто из нас не знал, даже мой папа.

Его сын Золя оказался прекрасно воспитанным здоровым мальчиком, маленьким мужчиной, который незаметно, ненавязчиво принял на себя все трудные домашние мужские дела: таскал из колонки воду, колол дрова, опрометью кидался на помощь женщине, тащившей тяжелый узел. Моя мама, всю жизнь мечтавшая о сыне, очень быстро прилепилась к Золику всем сердцем. Моисей Ефремович предупредил нас, что в ближайшую субботу на воскресенье в гетто придет из концлагеря на Широкой улице его приятельница еще по Варшаве, замечательная женщина София Курляндская. Вот она, работающая в лагере переводчицей, и станет источником столь не достающей нам информации. И действительно, в субботу вечером он привел к нам Соню Курляндскую, рослую, статную женщину с матовым лицом и непроницаемыми глазами. Трое: папа, Моисей Ефремович и Соня уединились в маленькой комнате и долго о чем-то совещались. Мне запомнилось это первое их совещание, потому что после него отец как-то ожил, и в глазах появилось упрямое, озорное выражение, которое он сохранил почти до самого своего последнего часа.

Шли дни, месяцы будней гетто. Настала страшная зима 41—42-го гг. Сквозь все преграды внутрь гетто проникали слухи, один фантастичнее другого. Рассказывали про отчаянных евреев, которые пытались бежать через проволоку, но гибли тут же, не успев сквозь нее пробраться. На площади перед юденратом формировались по утрам колонны бесплатных рабов, которые уводили и увозили за пределы гетто на самые тяжелые работы. В гетто открылась больница с блистательным врачебным персоналом. В другой половине нашего дома жил очень известный до войны в Минске доктор Чарно, пожилой человек с аристократическими манерами. Доктор Чарно умудрился наладить работу еврейской больницы вопреки отсутствию оборудования и медикаментов. Несмотря на ужасающую скученность, голод, холод, население гетто проявляло поразительную жизнестойкость. Десятки тысяч людей, заточенных в минском гетто, были обречены на вымирание, так как никаких легальных каналов поступления хоть какой-то еды не было. Но жизнь опрокинула эту установку. Одним из главных источников существования стали контакты с населением русского района. Контакты возникали через рабочие колонны — возвращаясь в гетто, каждый приносил в котелке, за пазухой хоть какую-нибудь еду. На границе с русским районом, через проволоку, вопреки строжайшим запретам и опасности быть подстреленным без предупреждения, шел обмен. В ходу было все: за буханку хлеба и три луковицы можно было приобрести золотые часы. Черный рынок вскоре развернулся в самом гетто. Предприимчивые немцы, имевшие доступ внутрь, торговали и меняли что угодно и с кем угодно.

Я не помню, каким образом мой отец из гетто попал в концлагерь для военнопленных на Широкой улице. По-видимому, он оказался там в результате очередной облавы в русском районе, куда отец проникал любыми способами. В лагере, где содержались военнопленные разных национальностей, отец официально числился плотником. Плотничать папа действительно умел, но благодаря бойкому владению со времен австрийского плена так называемым немецким языком (это была чудовищная смесь еврейского, немецкого, венгерского, польского и итальянского) у папы в лагере появились еще неофициальные обязанности переводчика, довольно универсального. Могу лишь предполагать, потому что в свои конспиративные дела отец меня никогда не посвящал, что связи с минским подпольем отец начал осуществлять именно тогда, когда с помощью Сони Курляндской в лагере на Широкой начал свою кропотливую, рассчитанную на длительное время деятельность. К сожалению, с гибелью отца канули в неизвестность подробности начала этой работы. Но по ее результатам, а главное — по ярости и бесстрашию, которые за время нашего заточения в гетто накапливались в моем отце, я представляю себе сюжет в жанре высокого психологического детектива...

Кое-что из семейной жизни

...Правда, в этом сюжете есть один мотив, выводящий его за рамки условно обозначенного мною жанра, в котором мой папа сыграл свою жизнь до конца. Мотив этот очень важен для меня, потому что открыл тогда передо мной причуду жизни, изумляющую меня до сих пор.

...Я выросла в напряженной атмосфере неблагополучной семьи, потому что мама не любила папу. В гетто, где счет оставшейся жизни велся не на дни, а на часы, мои родители вопреки всему пережили поразительный, ярчайший всплеск любви. По-видимому, папина воля, его безбоязненность, когда кругом все всегда чего-то боялись, его крутая сила, развернувшаяся как пружина перед лицом подлинной опасности, покой, который приходил вместе с отцом в дом, — все это постепенно овладевало моей слабой, беззащитной мамой. Я не могу забыть потрясшего меня сияния в маминых глазах — оно сразу же потухло, когда папа ушел из дома, и загорелось тотчас же, как он появился снова. Во мне, с моим «синечулочным» комплексом излучение, которое исходило от моих заново влюбившихся друг в друга родителей, вызывало мрачное осуждение (нашли, мол, время для любви). Но ответное сияние в папиных глазах, его волшебное помолодевшее лицо, когда он просто смотрел на

поблекшую маму, даже меня, заостеневшую, застывшую после первых потрясений войны, облучало своим светом. Душевное равновесие, которого всегда так не хватало нашей семье, необъяснимо установилось в самые страшные дни. Оно проявлялось в трогательной опеке, которую отец безоговорочно установил над мамой, она заняла в нашей семье место ребенка, а я, ребенок, из-за которого по существу этот болезненный до войны союз мужчины и женщины не распался, как-то естественно выпала из привычного круга забот моих родителей. «Ты уже большая, — сказал мне как-то папа, — а мама самая маленькая, к ней так и нужно относиться, поняла?» Я пряталась от самой себя, когда мама, никогда не умевшая совладать со своими глазами, завороченно смотрела, как папа, приходивший в гетто раз в неделю, ест: обычное варево из ржаной муки, заправленное тошнотворным рыбьим жиром, папа ел как французский бульон, а Мама, измученная болезнью печени и содрогавшаяся от одного только запаха рыбьего жира, ела вместе с ним, и папа был счастлив. «Она поела», — сообщал он мне по секрету, как удивительно радостную новость.

Зеркальное отражение ситуации папы с мамой я с не меньшим изумлением обнаружила в отношениях бабушки с дедушкой — те просто поменялись ролями. На положение нежно опекаемого ребенка перешел дед, а бабушка, вдвое похудевшая и именно поэтому исцелившаяся от всех своих недугов, властно взяла на себя бытовые заботы. Дед так и не смог привыкнуть к тому, что его Роза стоит у плиты и своими не привыкшими к черной работе руками ловко промывает картофельную шелуху или лихо драит закопченные кастрюли. После еды старики уединялись на кухне, где на плите всегда стоял огромный чайник с горячей водой, и мыли посуду — деду милостиво разрешалось вытирать ложки. Бабушкиной изобретательности мы были обязаны тем, что из обыкновенных пивных дрожжей у нее получались лепешки, пахнувшие настоящей печенкой, а из картофельных очисток — отличные драники. Бабушка для всех нас неожиданно приноровилась к новым тяжким условиям быта, в невероятной тесноте поддерживала дотошную чистоту и несла это бремя с гордой, упрямой выдержкой. Такое бабушкино превращение навсегда положило конец ее многолетнему конфликту с моим отцом. Обе стороны сильно зауважали друг друга, а все суетное, мешавшее бабушке до войны смириться с «мезальянсом» младшей дочери, отступило, исчезло перед лицом всеобщей беды. Полная перестановка сил в нашей семье в самое тяжелое время — это ли не трагическая ирония судьбы? Так, с зарубцевавшейся от времени тоской, я думаю об этом сейчас. А тогда все было понятно: несчастье расставило все и всех по своим местам.

В этом зыбком равновесии растворились, не оставив в душе резкого следа, внешние обстоятельства жизни гетто со всеми его ужасами и чудовищными подробностями. Видимо, все вытеснилось неизбывным страхом за жизнь нашедших наконец друг друга родителей и стариков. Страхом за них — и изматывающим, отупляющим сознанием собственного бессилия. Страх за свою жизнь не было вовсе — мужество здесь ни при чем — по-видимому, психологический шок начала войны был столь сильным, что он разрушил, истребил во мне естественную жажду жизни. Состояние полусонной апатии, вызванное не голодом — ему мы усилиями отца и бабушки как-то сопротивлялись, — а ежедневным, ежечасным пониманием безысходности нашего положения, подводило меня исподволь к опасной черте, долго оставаясь у которой человек умирает не физически, а духовно. Отец сознательно изолировал меня от своих дел, и я это понимала, поэтому все домашние разговоры, все новости, которые приносили в наш дом люди, и даже папино общепризнанное лидерство в этих бесконечных разговорах о том, что есть и что еще будет, — все это вызывало у меня глухое раздражение. Клетка, в которой я жила, была двойная: клетка самого гетто и искусственный кокон, которым незаметно окутал меня мой отец, движимый инстинктом уберечь, спрятать обожаемое чадо. Папа видел, как я внутренне усыхаю, страдал от этого, но страх за меня был сильнее — мы никогда не говорили с ним про меня, слов не надо было, мы понимали друг друга молча, и я чувствовала себя виноватой за то, что папа страдает из-за меня.

Немного легче мне было с мальчиком Золей. Он был добр и жизнерадостен, хотя в свои пятнадцать лет успел многое пережить. Чутко реагируя на мое состояние, Золька по-мальчишески пытался меня расшевелить, отвлечь от тягостных мыслей.

Мы с ним забирались на чердак, там у него было свое хозяйство — какие-то катушки, проволоки, из которых он мечтал смастерить радиоприемник. Ему было все интересно, и он заставлял меня рассказывать про довоенную школу, про комсомол (это слово он произносил, очень старательно выговаривая все буквы «о»). Для своего возраста он, с моей точки зрения, был очень мало начитан, и я немножко оживала от неподдельного восторга в его продолговатых карих глазах, когда рассказывала ему очередную книгу. После наших просветительских собеседований на чердаке Золя с большим воодушевлением докладывал маме о моей непостижимой образованности. И еще Золик научил меня курить. Там же, на чердаке, он прятал заначку с табачной трухой — остатки махорки и окурков, которые он тщательно собирал после взрослых. Очень уязвленный моим превосходством в умственном развитии и возрасте, Золька, как маленький мужчина, компенсировал этот свой ужасный недостаток ловким умением вертеть самокрутки и курить свою адскую смесь в затяжку и без кашля. Тут его превосходство было очевидным, а я, с моей порочной склонностью к курению (первый раз я выкурила папиросу в 10 лет, за что была бита отцом линейкой по мягкому месту), — я очень старалась научиться и довольно быстро преуспела, пока грех наш не вышел наружу и мы не получили изрядную взбучку от моего папы. Правда, курить мы не перестали, просто баловались куревом подпольно, когда папы не было дома.

Золя очень гордился едва пробивавшимся пушком над верхней губой, мечтая поскорее стать взрослым, чтобы жениться на мне — об этом Золька говорил с уверенностью, исключая какие бы то ни было возражения, и очень развеселил мою маму, когда серьезно и официально попросил у нее моей руки — в будущем, разумеется, после войны. Золя никогда не сомневался в лучезарном будущем, оно виделось ему справедливым и очень красивым, как прекрасная Варшава, где он пять лет учился в гимназии и где до войны, когда ему исполнилось двенадцать лет, отец надел свой лучший парижский костюм и повел мальчика в настоящий шикарный ресторан. Посещение ресторана произвело на Золика неизгладимое впечатление: он помнил названия блюд и все мелодии, которые играл оркестр. Я до сих пор слышу ломкий басок Золика, его роскошный варшавский выговор, когда он учил меня словам модных польских песенок. В этом мальчике еврейского происхождения чувствовался неистребимый польский корень. Я потом его замечала у многих, даже очень немолодых людей, родившихся в Варшаве, — через такой вот еще не сформировавшийся польский отросточек я узнала о поляках больше, чем за всю дальнейшую жизнь. Золька был по-польски горд, изыщен, самолюбив, независим, ему в высшей степени было присуще рыцарски восторженное отношение ко всем женщинам — молодым паненкам и пожилым пани.

Любил он и прихвастнуть при случае: всячески давая мне понять, что его мужская биография изобилует некоторыми пикантными событиями. Я оскорбительно посмеивалась, а распетушившийся Золька в доказательство своей мужской осведомленности сообщал мне по-польски двусмысленные куплеты — видимо, они были популярны среди маленьких варшавских гимназистов. Кумиром Зольки был его отец, мальчик мечтал быть на него похожим и очень огорчался, когда в нем не обнаруживали буквального сходства с Моисеем Ефремовичем. В облике Иоффе-отца сказывались подвижность, острота реакций и темперамент скорее французского свойства, так как инженерное образование он получил в Париже. Отец и сын Иоффе сроднились с нашей семьей и внесли в нее неунывающую энергию, ясно ощутимую сопротивляемость обстоятельствам.

Март 42-го

Я не знаю, каким образом отцу удалось получить «аусвайз», то есть удостоверение, с которым он мог раз в неделю — с субботы на воскресенье — уходить из лагеря в гетто без конвоя. В кирзовых сапогах, в полудеревенской суконной куртке и кепке, низко надвинутой на лоб, с неизменным рюкзаком за плечами, с желтыми заплатами и номером 17 на спине и груди отец пересекал весь город. Предъявляя патрулям свой «аусвайз», папа по дороге, видимо, успевал наведаться куда следует, увидеться с

кем надо и получить необходимую информацию в виде, например, свежей сводки Совинформбюро. В рюкзаке он приносил иногда остатки лагерного пайка, пакетики с сахарином или тугие свертки, которые дома не разворачивались и куда-то быстро исчезали. Каждый приход отца в гетто сопровождался большим сбором самых разных людей. Чаще других приходила Соня Садовская — папа ее очень ценил за острый ум и умение молчать, когда все кругом говорили чересчур много. Среди частых посетителей нашего дома была маленькая, темнобровая Сарра Левина, вдова погибшего еврейского поэта. С ней впервые появилась у нас стройная, энергичная медсестра Ядзя Шпирер. Ядзя отличалась от других женщин гетто внешней подтянутостью и неуловимым сходством с Соней Курляндской — Ядзя тоже была варшавянкой. Она говорила по-русски правильно построенными фразами, даже цитировала Маяковского и Есенина, но понять ее можно было, только привыкнув к ее речи — Ядзя безбожно картавила и шепелявила. Вела она себя очень самоуверенно, как большой политический деятель, не скрывая своего еще довоенного участия в подпольной партийной работе, у себя на родине, в папской Польше. По любому поводу Ядзя произносила большую речь, изобилующую теоретическими терминами. Мама Ядзю невзлюбила, потому что та относилась к ней снисходительно, как к человеку аполитичному. Папа терпеливо выслушивал Ядзины монологи, но, когда терпение иссякало, резко обрывал ее. Спустя год, когда мы встретили Ядзю в лесу, с ней произошло почти невероятное событие, ничего общего с политикой не имевшее, о котором я еще расскажу.

На традиционный папин вопрос: «Что слышно?» — воскресные гости сообщали ворох немыслимых новостей, например, вчера видели человека из Бобруйска — там слышна артиллерийская канонада. Или: наши форсируют Березину под Борисовом. Папа мрачно глядел на захлебывающихся от новостей женщин и после большой паузы резюмировал: «Агентство ИВА» — так папа называл ложные слухи, которыми полнилась геттовская земля: «Иди вили а зей», что в переводе с еврейского означало «Евреи так хотят». Когда сообщалась новость, выходившая за рамки благих надежд скопища обездоленных людей, и эта новость ложилась тенью на чье-то доброе имя, отец реагировал грубее: «Кто вам это сказал? Плюньте ему в рожу!» Гости почему-то на папу не обижались, а две его присказки «Агентство ИВА» и «Плюньте ему в рожу!» в скором времени вылетели из стен нашего дома на улице Опанского и вошли в обиход других обитателей гетто.

Неподалеку от нас жили тихие, интеллигентные беженцы из Вильно — отец и два взрослых сына Голомбы. Все трое работали на радиозаводе. Завод уцелел от бомбежки, немцы были заинтересованы в его продукции и мобилизовали туда всех оставшихся в городе специалистов, в том числе и евреев. Младший Голомб — Федя, румяный, лопоухий парень лет двадцати, тоже стал нашим частым гостем. Федя был по-своему наивен и аполитичен. То ли тихий папа так его воспитал, то ли сказался изрядный по сравнению с нашим опыт войны, но Федя не выдерживал сравнения с моими знакомыми полублатными парнями из дома по нашей улице напротив. Эти ребята пытались вырваться из гетто, оборудовали на чердаке мастерскую по изготовлению фальшивых «русских» паспортов, собрали на уровне знаний, почерпнутых из довоенного пионерского журнала, радиоприемник, по которому иногда удавалось слушать Москву. Все эти рискованные в условиях гетто дела не мешали им резаться в карты и пить невесть откуда бравшийся самогон. Короче говоря, это были отчаянные ребята, и папа неодобрительно относился к моему знакомству со «шпаной». Другое дело — воспитанный, всегда в чистой рубашке с аккуратно выложенным поверх «западного» пиджака воротником Федя Голомб. Папа частенько пристально оглядывал мои округлившиеся не ко времени формы. От картофельной шелухи и мучной затирки я — вопреки общенародному бедствию и в силу своих восемнадцати лет (тяжелые внутренние переживания этому, видно, не препятствовали) — сильно раздобрела, и отец все строже напоминал мне, чтоб я не очень-то высывалась со двора — мало ли что...

И тихий, правильный Федя — папа понял это с ходу — опять же вопреки войне попросту влюбился в пышнотелую дочку всеми уважаемого Абрама Павловича. Папа посмеивался, наблюдая мучительно красневшего Федю, но ему, как всякому папе,

нравился воспитанный тихий парень рядом с расцветшей дочерью. Мне же Федины вздохи по вечерам на лавочке во дворе были ни к чему, всякая «лирика» казалась мне оскорбительно неуместной, когда кругом такой ужас и люди гибнут ни за что, ни про что. «Но мы же еще живые», — тихо, отводя в сторону глаза, говорил Федя. «Вот это меня и бесит, это твое «еще»! Покорно, как коровы на бойне, ждем смерти! И любая сволочь может с тобой расправиться!»

— А что ты предлагаешь? — еще тише спрашивал Федя и обращал ко мне свои круглые добрые глаза.

— Ничего не предлагаю! И не трогай меня за руку! Нашел время для вздохов! Иди домой! — и Федя покорно удалялся, а я еще долго после его ухода по старой детской привычке произносила внутренние монологи, полные гнева и осуждения ни в чем не повинного Феде.

2 марта 1942 года над гетто разразилось очередное несчастье. Двенадцать тысяч человек не вернулись с работы, их отправили в Тучинку, для чего был подан специальный для этих целей транспорт. По обезлюдевшим улицам гетто бродили полуобезумевшие старухи и осиротевшие дети. В этот же день на площадь перед юденратом согнали большую толпу евреев. Из детского дома неподалеку от площади вывели 300 ребятишек с воспитателями. Подъехали легковые автомобили, из них выскочили офицеры в жандармской форме. Ребятишек построили парами, и один из офицеров, румяный, как яблоко, и совсем юный, как вскоре выяснилось, выродок из русских эмигрантов, методично, из пистолета, в упор расстрелял сирот прямо в головы. В толпе поднялся вой. Расстреляв триста детей вместе с воспитателями, жандармы приказали забросать снегом кровь и очистить площадь от трупов. Все это мы с Золиком видели собственными глазами, так как Моисей Ефремович, чуя недоброе, велел прийти к нему в юденрат. Когда порядок на площади был восстановлен, в гетто пожаловал сам гауляйтер Вильгельм Кубе, весьма представительный человек с породистым лицом. Его сопровождал эскорт нарядных офицеров. Потрясенные представители юденрата встречали высокое начальство. Иоффе с посеревшим лицом на безукоризненном немецком языке доложил гауляйтеру о бессмысленном эксцессе. Моисея Ефремовича сопровождал доктор Чарно. Гауляйтер и старый врач пристально посмотрели друг на друга и — к изумлению всех, кто видел эту сцену, — обнялись. Кубе обернулся к сопровождавшим его офицерам и отдал какое-то приказание. Через минут пятнадцать на площадь въехал крытый фургон, солдат откинул заднюю стенку кузова, а столпившихся на площади людей, преимущественно женщин и детей, стали выстраивать в очередь к фургону. Он был доверху наполнен блестящими пакетиками с «бон-бон», дешевыми солдатскими конфетками. Каждому ребенку немец вручал такой пакетик. Во время этой идиллической сцены гауляйтер, бережно поддерживая под локоть доктора Чарно и прогуливаясь с ним вдоль мрачного здания юденрата, прочувствованно рассуждал о бессмысленном варварстве войны, о свиньях, которые запятнали здесь честь немецкого мундира, о растленном поколении, идущем — увы — на смену им, старой гвардии. Просвещенный гауляйтер и доктор Чарно встретились в Минске спустя много лет после того, как когда-то они оба учились в Марбургском университете. Встреча с однокашником оказалась для доктора Чарно роковой. Гауляйтеру не нужны были свидетели с общим студенческим прошлым. Расставаясь с доктором, Кубе долго тряс ему руку, а спустя несколько минут по приказу гауляйтера доктор Чарно и Моисей Ефремович Иоффе были убиты подле юденрата офицерскими выстрелами в затылок.

Некоторые уточнения

В первые послевоенные годы разные люди с разными целями задавали мне один и тот же вопрос: почему ты осталась жива? У меня на этот вопрос был и есть конкретный ответ: меня спас мой отец — каким образом, расскажу, когда придет время, тем более что мой рассказ, в нарушение принятых нынче признаков художественности, не нарушается ассоциативными ходами в другие временные пласты, не

претендует на исповедальность, — мой рассказ, как мне кажется, течет так, как текла сама моя жизнь.

Ореол мученичества, которым овеяны 6 миллионов евреев, погибших во время Второй мировой войны, требует, по-моему, некоторого прояснения. Если взять минское гетто как стереотип, по которому фашисты осуществляли свою программу расового истребления, то и в этом стереотипе, я уверена, есть свои особенности. Нельзя рассматривать цифру 80 тысяч евреев в минском гетто или 6 миллионов в Европе для обозначения некоей однородной массы замученных и уничтоженных. Как и в каждом человеческом сообществе, если можно применить эпитет «человеческий» к античеловеческой идее гетто, там зарождались, накапливались и получали свое завершение вполне наглядные процессы социального расслоения. Достаточно было быть евреем, чтобы очутиться в гетто и погибнуть. Но само понятие «еврей» в условиях гетто так же, как любая другая национальность в условиях дискриминации, вовсе не однозначно. В минском гетто были свои неизвестные герои, свои стойки, свои наивные праведники и свои подонки. Война, как это уже много раз отмечено в отечественной и мировой литературе, с беспощадной четкостью отвечала на вопрос, кто есть кто, причем ответы эти часто ошеломяли своей неожиданностью.

На смену погибшим Мушкину и Иоффе в юденрат пришел некто Эпштейн, молодой человек из польских беженцев. Румяное, смазливое личико Эпштейна, его щегольской вид, всегда мокрые и красные, как у вурдалака, губы, цепкая устремленность на общем горе построить собственное благополучие — все в Эпштейне свидетельствовало о патологическом упоении властью над евреями Минска, в которую он уверовал всерьез. Меня никогда не занимала психология вырожденцев рода человеческого, но фигура Эпштейна побуждает думать о феномене власти, оказавшейся в руках у ничтожества.

Эпштейн учредил в гетто так называемую еврейскую полицию, функцией которой был шпионаж внутри гетто. Нашлись для этой полиции и соответствующие кадры... При правлении Эпштейна юденрат расторопно принял на себя обязанности по планомерной селекции еврейского населения на трудоспособных, специалистов и шлак. Таким образом, уничтожение евреев приняло системный характер: истреблению подлежали все, но постепенно появился термин «нуцлихер юде», то есть «полезный еврей», — он мог быть уничтожен в последнюю очередь.

По утрам на площади перед юденратом бойко работала так называемая биржа труда, откуда немцы черпали даровую рабочую силу. На биржу съезжались обычно не только военные, все больше появлялось штатских — к тому времени их много обособилось в Минске в качестве представителей всевозможных фирм, обслуживавших армию. Уклоняться от поголовной отправки на работу к немцам в условиях сыска и исчерпывающих сведений о каждом жителе, собранных добротами эпштейновского юденрата, становилось все труднее. Если члены юденрата первого призыва наивно полагали, что их контакты с немецкой администрацией могут хоть в какой-то степени облегчить участь евреев, то юденрат во главе с Эпштейном проявлял холуйское рвение, чтобы всячески угодить хозяевам. Рвение это побуждалось страхом, животным страхом за собственную шкуру и чисто лакейской верой в милость господина. Как всякий холуй по отношению к более слабому, нижестоящему, так сказать, по геттовской иерархии, такой рьяный холуй оборачивался жестоким хамом. Эпштейну невероятно хотелось хоть как-то походить на фашистского функционера, он изъяснялся короткими лающими фразами, постукивая плеткой по добротному голенищу. При нем состоял целый штат прихлебателей, доносчиков, были даже многочисленные наложницы, которых он охотно поставлял охочим до запретных удовольствий немцам. Группу таких молодых красивых женщин, при содействии Эпштейна оказавшихся в услужении чуть ли не у самого Кубе, как-то ярким весенним днем 42-го года привезли в гетто, провели по улицам на кладбище, раздели донага и постепенно, чтобы продлить удовольствие, расстреляли — не сразу, сначала прострелили руку, потом ногу, потом живот, а потом уж насмерть. На память о самой красивой из них один из немцев положил в карман сувенир — бюстгальтер.

Особенно туго приходилось двадцати тысячам немецких евреев из Гамбурга, Франкфурта и других городов Германии. Их привезли в Минск весной 42-го года, и

внутри нашего гетто четкий квадрат из четырех маленьких улиц огородили колючей проволокой. Немецкие евреи по облику и языку ничем не отличались от немцев. За неполный год жизни в минском гетто они умудрились навести у себя в квадрате идеальный немецкий порядок, даже высадили цветочки, даже музицировали. С собой они привезли добротные чемоданы, содержимое которых быстро перекочевало на черный рынок. Самым поразительным в этих благообразных, очень аккуратных людях была их непонятно сохранившаяся, патриархальная, средневековая приверженность субботе. По субботам эти бывшие, как мы считали, капиталисты облачались в черные котелки, белые воротнички и чинно прогуливались внутри своей клетки. Существовали они абсолютно автономно от нас, голодали страшно, общение с ними нам было строжайше запрещено. Не помню уж, когда точно к квадрату подъехали хорошо известные всем нашим евреям усовершенствованные для этих целей фургоны-душегубки, и немецкие евреи очень организованно, с оставшимися чемоданчиками, погрузились в них. Больше мы про них ничего не слышали.

Огород и малина

Кольцо минского гетто сжималось все туже. Фронт от нас был далеко, рядом с нами в тылу у немцев был другой фронт — партизаны, слухи о которых все чаще и чаще проникали в гетто. Отец мой давно бы мог, вероятно, оказаться у партизан, но уйти из гетто всей семьей было невозможно, а оставить меня и маму папа не мог, так же как не мог, не имел, видимо, права оставить до срока хорошо налаженные в городе связи. Вот почему параллельно отец решал сразу две задачи: во-первых, нужно было на случай новой акции уничтожения обеспечить нам в гетто надежное убежище. Во-вторых, в лагере на Широкой подготовить группу людей, способную в нужный момент осуществить задуманную отцом операцию. Папа был человеком с обостренным чувством собственного достоинства и отлично понимал, что право уйти в лес, к партизанам, да еще с семьей, нужно завоевывать в Минске. Из города в гетто проникали достоверные сведения об отчаянной смелости людей, уже сражавшихся в тылу. Им было неимоверно трудно, и каждый человек, пополнявший ряды партизан, не мог, не имел права стать для них обузой. И еще у папы был очень точный психологический расчет. Он понимал, что в сузившемся гетто, где каждый человек на виду и трудно затеряться в общей массе, нужно придумать такой ошеломляющий способ побега, какой до сих пор еще никем не применялся и может оказаться реальным лишь в силу фантастической дерзости. Над решением этих проблем отец бился около года.

В начале лета 42-го года песчаный двор дома № 17 на улице Опанского за две недели превратился в обширный огород с аккуратно взрыхленными влажными грядками. Соседи, прохожие, глядя, как все обитатели нашего дома, особенно женщины и дети, хлопчут на огороде, пожимали плечами: эти люди свихнулись — они хотят дожить до урожая! Ну-ну, немцы (имелись в виду евреи из «немецкого» гетто) тоже сажали цветочки, а где они сейчас? Почему-то никому не приходило в голову: откуда на этом огороде появилась такая влажная, жирная земля?

Как-то субботним вечером отец собрал всех мужчин, живших в нашем доме. Папа до войны работал для Донбасса, знал толк в крепежном деле и представлял себе, что такое штрек и шахта. А что, если... Всю ночь папа просидел с соседом-инженером, и к утру была готова продуманная до мелочей идея. Во время акции спрятаться нельзя — ни на чердаке, ни в погребе. Исполнявшие черную работу по отлову очередной порции евреев эсэсовцы из латышей и эстонцев рыскали по гетто с собаками.

На кухне в нашей квартире стояла обыкновенная плита. Под кухней был неглубокий погреб. По идее папы из погреба вглубь на три метра нужно было выкопать люк, ведущий в туннель, такой ширины, чтоб сквозь него ползком мог пробраться человек. Туннель этот длиной метров двадцать на трехметровой глубине под землей должен привести под сарай во дворе. Пол в сарае был выложен его довоенным владельцем кирпичом и сверху залит цементом. Вот из-под этого пола в сарае, через туннель должна быть вырыта земля ровно настолько, чтоб там образовалось пространство

для тридцати человек, которые смогут там пробыть 3—4 дня, то есть столько, сколько продлится акция. В этом убежище, которое сразу же по-блатному окрестили «малиной», должны быть запас сухарей, специальное место для отправления естественных надобностей, вентиляция, чтоб люди не задохнулись на трехметровой глубине, и слуховое устройство, чтоб можно было услышать, что происходит наверху. Вход в убежище — через кухонную плиту, дно которой поднималось, и через него люди могли спуститься в люк, ведущий в туннель. Для креплений была разобрана бревенчатая перегородка, делившая дом на две половины. Работали всем домом по ночам. Куда было девать выкопанную землю? Так и появились во дворе грядки. Самым трудным оказалось рытье двадцатиметрового туннеля. Здесь незаменимыми оказались дети под предводительством нашего маленького Оськи, полного недетского сознания важности совершаемого дела. Дети, как кроты, вгрызались в землю, за ними следовали взрослые.

Вот такое сооружение было построено за две недели. И в нем в самой многотысячной акции 4 июля 42-го года спаслось 40 человек. Кроме жителей нашего дома там укрылись и Соня Садовская с сыном, и еще несколько близких нам людей, которых необходимо было сохранить. Погиб из нашего дома только один человек — Михаил Абрамович Зоров. Он просидел в «малине» вместе с нами немногим более суток, воздух там был спертый, маленький ребенок плакал, а сверху, через слуховое устройство, доносился лай собак. Плач ребенка мог всех нас обнаружить, мать все судорожно накрывала ребенка подушкой, и он перестал плакать, задохнулся. Сидевший рядом с этой женщиной Михаил Абрамович бесцветным голосом сказал, что следующим придется душить его, ибо человек не должен добровольно прятаться под землей, ему нужно небо. Спустя годы я впервые услышала слово «клаустрофобия», то есть боязнь замкнутого пространства. Все время, что Михаил Абрамович жил с нами в гетто, он либо находился в состоянии полной отрешенности, либо вдруг бурно порывался куда-то уйти, само заточение за проволокой было для него равносильно заточению в подземелье. Он надломился с первых дней войны. Ни бережное отношение к нему нашей семьи, ни отчаянные попытки моего отца вывести Михаила Абрамовича из этого состояния не дали результата. В убежище мы его затащили, но удерживать его там было выше наших сил, тем более что папы с нами не было — он находился в эти жуткие дни в лагере на Широкой. Михаил Абрамович выбрался на поверхность, когда наша улица уже была очищена от евреев, и его убили тотчас же. Трагический конец Зорова был обусловлен его умопомешательством, единственным случаем такого рода, с которым мне пришлось столкнуться вплотную. Я знала много других трагических судеб, тем более страшных, что на следующий день после гибели жены и детей вдовец мог оказаться в постели совсем чужой женщины, и никто не судил его строго — ни вдовца, ни женщину, у которой он нашел утешенье...

Фирма «Ганзер и К^о»

Акция 4 июля продолжалась трое суток. Цифра изъятых из гетто была пятизначной. Мы вышли на поверхность. К этому времени здесь оставалось не более десяти тысяч человек.

В конце июля отец решил, что мне следует явиться на биржу труда, иначе ищейки Эпштейна приведут туда силой. На бирже я оказалась рядом с двумя молодыми женщинами — Бертой, моей ровесницей, и Соней, нервной худощавой блондинкой лет двадцати шести. Решили мы постараться попасть на работу куда-нибудь в одно место. К бирже подъехал маленький «Опель», из него с трудом выбрался грузный немец в коротких кожаных штанах с детскими ляпочками и зеленой шляпе с пестрым перышком. «Ду, ду унд ду», — ткнул он коротким волосатым пальцем в каждую из нас и что-то добавил на совсем непонятном немецком языке. Нас посадили в кузов грузовика и в сопровождении хмурого солдата повезли через весь Минск на восточную окраину города. На пустыре, огороженном проволокой, стояло длинное одноэтажное строение, возле него много-много грузовых и легковых автомобилей. По всей территории сновали немцы в летней форме. На самом высоком месте пустыря

стоял только что отстроенный одноэтажный жилой дом, рядом с ним небольшой сборный домик с вывеской «Остгебит. Фирма Ганзер унд К^о». В конторе толстый немец в коротких штанишках с помощью поляка-переводчика в промасленной спецовке деловито сообщил нам, что хозяин фирмы «Ганзер» он — Карл Барт, уроженец баварского города Ульм ам Донау. Фирму обслуживают двенадцать немецких специалистов, для которых сооружен новый дом, а мы, три еврейки, доставлены сюда, чтобы хорошо убирать этот дом, стирать белье, короче, выполнять женскую работу. Платить за нее в соответствии с правилами использования еврейского труда он не обязан, но, как хороший хозяин, заинтересованный в том, чтобы рабочая скотина приносила пользу, он, Карл Барт, проследит за тем, чтобы мы не подошли с голоду. Следить за нашей работой будет вот этот молодой человек — Барт вытолкнул вперед парня в чистом комбинезоне с дегенеративной нижней челюстью и близко поставленными глазками. Пауль — так звали молодого дегенерата — любит порядок, и шутки с ним плохи. Нам выдали ведра, тряпки и швабры и велели драить окна жилого дома, заляпанные краской и известкой. Каждое вымытое окно Пауль проверял белой тряпичей и, если на ней оставался след, выпячивал челюсть и бросал коротко: «швайнерай». Это означало, что окна надо чистить заново. Драили мы эти окна с восьми утра до восьми вечера. Пауль от нас отлучался дважды за день — на обед с послеобеденным отдыхом и на предвечерний кофе. Пока не было Пауля, нас караулил пожилой солдат. Он же проводил нас на кухню, где упитанный повар плеснул нам на доньшко котелков по ложке не то супа, не то каши — гороховый концентрат. Окон было много, и мыть их нужно было изнутри тоже — так мы очутились в помещении. По длинному коридору направо и налево по три большие комнаты с аккуратно заправленными тремя-четырьмя койками. Отдельный вход вел в апартаменты Барта, где он жил вместе со своим компаньоном и двоюродным братом Фрицем Мюльшлегелем, занимаемая три комнаты. В противоположном конце коридора размещалась кухня с громадной электрической плитой, из кухни был выход во двор, огороженный проволокой. За проволокой раскинулся большой огород, там работали наши пленные.

Немцы, столь основательно поселившиеся в этом доме со всем удобствами, целый день проводили в гараже или конторе и возвращались с работы в грязных комбинезонах. Они сбрасывали с себя рабочую одежду прямо у входа, и наш надсмотрщик Пауль показал нам место, где мы должны были стирать эти промасленные робы. Фронт работ для нас, трех девчонок, не очень-то приученных к физическому труду, был достаточно обширным. Нужно было, как потребовал Пауль, довести до зеркального блеска крашенные полы, в которые въелась известка, вымыть стены и вообще все, что моется, а в дальнейшем следить за чистотой так, чтоб на белой тряпке Пауля никогда не оставалось следа пыли, иначе — Пауль выразительно помахал плеткой, которая висела у него на правой руке. Кроме того, трижды в день нужно было доставлять на кухню грязную посуду и мыть ее под бдительным присмотром повара, а в свободное от уборки время помогать ему на кухне чистить картофель, который немцы потребляли в немыслимых количествах.

По-видимому перед нашим появлением население этого дома было соответственно проинструктировано — все двенадцать немцев реагировали на нас совершенно одинаково: они нас не видели, как не видят столы, стулья, любые другие неодушевленные предметы. Все, за исключением одного — Фрица Мюльшлегеля, подвижного улыбчивого человека лет сорока. Скоро мы заметили, что улыбчивость Мюльшлегеля автоматическая, а глаза у него пристальные, беспокойные. Мы часто ловили на себе его странный, какой-то скрытно-тоскливый взгляд. Все немцы фирмы были швабами, и их диалект поначалу был для нас почти недоступным. Разницу в произношении наиболее ходовых фраз объяснил тот же Фриц, который все чаще навещался к нам в рабочее время, чтобы поговорить. Он расспрашивал нас о родителях, о гетто, об образовании, полученном до войны, советовал остерегаться Пауля, который приходился Барту родственником и за немалые деньги был освобожден от службы в армии. Про своего шефа и двоюродного брата Фриц говорил больше жестами, из которых можно было понять, что ума у хозяина не больно много, но деньги он любит и считать их умеет. Фирма «Ганзар», унаследованная Бартом от родителей, ветвь могучей автомобильной фирмы «Опель», на войне приносит солид-

ные барыши. Фриц согласился возглавить вместе с Бартом дела компании на востоке, потому что не хочет служить в вермахте, для этого нужно много денег, есть и причины семейные. Мы не задавали Мюльшлегелю вопросов, все это, когда спустя два-три месяца мы привыкли к его швабскому диалекту, он рассказывал нам сам, между прочим, на ходу. Постепенно мы привыкли к его ровному, веселому нраву, резко отличавшему его от других немцев, лояльному отношению к нам. Глаза его грустнели все больше. Однажды Соня, самая бойкая из нас, спросила Фрица, почему у него такие грустные глаза. Фриц быстро изобразил одну из своих автоматических улыбочек, помахал пальцем перед носом Сони и вдруг очень серьезно сказал: «Об этом как-нибудь в другой раз, когда случай подвернется». Случай вскоре подвернулся.

Когда случай подвернулся

В гараже работали три поляка, из бывших солдат войска Польского, плененные еще в 39-м году. Барт приобрел их в лагере на Широкой как специалистов-автомехаников. Поляки были «казернированы», то есть жили под охраной в сборном домике барачного типа на территории фирмы. На ночь их запирали, и у домика стоял часовой. С утра до вечера поляки работали в гараже наравне с немцами. Все трое отлично владели немецким, родом были из Варшавы. Кормились мы вместе, на заднем дворе кухни. Поляки были постарше нас, вели себя с нами снисходительно, как с сестрами по несчастью. Иногда нам днем удавалось повернуть ручкой радиоприемника в комнате Барта — там мы узнали о разгроме немцев под Сталинградом и о пятидневном государственном трауре в Германии. Польские парни ликовали, а потом еще больше затосковали по своей Варшаве. Когда им было совсем тошно, они пели модные еще до войны польские танго с терпкими и тоскливыми словами — что-то о дрожащем пламени свечи, отражавшемся в окнах, за которыми плакала дождливая ночь. Иногда, когда они перекидывались между собой польскими словами, мы улавливали в них какой-то скрытый, тайный смысл. И вообще польские парни излучали тайну, как будто их объединяло общее секретное мужское дело.

Поздней осенью 42-го года Барт, от Мюльшлегеля получивший сведения о порядках в гетто и привыкший к трем бесплатным и вполне расторопным «путцмедхен», съездил куда-то по начальству и получил разрешение «казернировать» нас тоже. Это означало, что всю неделю мы находимся на территории фирмы, ночуем во второй половине домика, где жили поляки, а на воскресенье нас конвоируют «домой» в гетто. По вечерам, когда кончался изнурительный рабочий день, господин Барт собственноручно запирает нас на огромный висячий замок, и под маленьким окном барака становился часовой. Солдатам скучно было нести вахту при трех еврейках, и каждый развлекался, чем мог. Большинство из них через десять минут после начала вахты просовывали нам через зарешеченное окно фотографии их жен, детей, родителей, своих домиков под черепичными крышами, своих любимых кошек и собак. Среди солдат почти не попадалось сознательных или «утробных» антисемитов, им и в голову не приходило, что на другом конце чужого для них разрушенного города происходит планомерное истребление десятков тысяч людей. Больше всего они боялись русских морозов и фронта и потому службу свою несли покорно, лишь бы не дай бог не угодить туда, где стреляют. В солдатах конца 42-го года не было и следа бравых завоевателей начала войны, да и по возрасту они были значительно старше. На губных гармошках они заунывно выводили невесту откуда залетевшую к немцам кубинскую «Голубку» или «Ком цурюк» — душещипательную песенку с обязательным для солдатской немецкой лирики образом любимой, которая его ждет, потому что она создана для него и больше ни для кого. Иногда, когда нам очень надоедали их излияния, мы как-то пытались изменить направление разговора в более интеллектуальное, что ли, русло. Мы спрашивали, кто написал «Вер райтет зо шпет дурьх нахт унд винд», и получали удовольствие от того, что ни один — за целый год ни один! — солдат армии победителей не смог ответить на этот вопрос. Однажды нам, правда, попался совсем иной экземпляр. Этот был помоложе, лет двадцати восьми, почти альбинос огромного роста... Не помню уж, почему он знал русский язык — среди рядовых немецких солдат знание нашего языка было редкостью. Говорил он по-

русски с сильным акцентом, но фразу строил логично и правильно. Этот не играл на губной гармошке. Он считал себя интеллектуалом, так как попал на восток после увеселительной прогулки по Франции, чем-то он там проштрафился. Три месяца этот тип жил в Париже и прошел, по-видимому, элементарный курс сексуального французского всеобуча. А может быть, и не прошел, может, просто был ущербным на этой почве. Когда заступал на вахту альбинос, для нас наступали скверные часы. Одной рукой он извлекал из внутреннего кармана объемистый пакет с французскими порнографическими картинками, другой просовывал дуло своего карабина сквозь решетку нашего окна и требовал, чтобы каждая из нас внимательно рассмотрела картинку и своими словами объяснила содержание. Так продолжалось недели две, пока самая старшая из нас — Соня — не рассказала о развлечениях альбиноса Фрицу. У того перекошилось лицо, он выругался матерно по-русски и побежал к Барту. Наутро нас вызвали в контору. Там сидел красномордый фельдфебель, начальник охраны, и взбешенный Барт с ним хрипло ругался. К тому времени мы уже были хорошо осведомлены о правилах строгой нравственности в арийских рядах и в разговоре с фельдфебелем употребили слова, доступные его фельдфебельскому сознанию. Храбрая Соня употребила даже такое научное словечко «рессеншан», что в нашем языке не имеет адекватного значения, ибо означает что-то вроде расового стыда. Фельдфебель выпучил глаза, Барт одобрительно закивал головой, Фриц ухмыльнулся, и инцидент с извращенцем-альбиносом на этом закончился. Когда мы рассказали об этом полякам, самый старший из них — Рышек Чайковски заорал: «Почему вы не постучали нам в стену? Мы бы ошпарили этого гада кипятком!» Бедный Рышек в этот момент забыл, что окна их половины барака выходили на противоположную сторону, в «казернировании» поляков и евреек было все предусмотрено.

Однажды послеобеденную тишину нарушили автоматная очередь и отчаянный визг собаки. Мы в это время на кухне мыли посуду... На кухонном дворе, у проволоки, за которой работали наши пленные на огороде, столпились солдаты из охраны. Главным героем оказался повар — он застрелил дворняжку, которая давно вертелась возле кухни. Пленные по ту сторону проволоки понуро разглядывали трупик собаки. Вдруг повара осенило: «Эй, рус! — обратился он к самому старшему из них, — собачка варить! Сладкий зуппе!» Немцы из охраны весело загомонили. Наши пленные потупились. Голодали они уже давно, добавляя в свой скудный лагерный рацион полусгнивший картофель и свеклу с огорода. Повар велел бородатому пленному освежевать собаку. Вслед ему раздались голоса: «Мы же еще люди, не может даже голодный есть собачатину». Но бородатый молча оглянулся на своих и принялся за дело. «Помоги, дочка, сроду собак не свеживал». Я было двинулась ему на помощь с ножиком, которым чистила картошку, но повар меня отогнал, схватил собачью тушку и мигом разделал ее. Я успела сказать бородатому: «Люди от сильного голода еще не то ели. У корейцев — я читала — собака — лакомое блюдо. А китайцы лягушек едят. Пусть ребята подкрепятся, они ведь уже совсем дошли».

— Может, ты и права. А сама собачий суп будешь есть?

— Смогу, наверное.

— Глядя на тебя, и мои ребята поедят.

Тем временем повар покидал куски собачьего мяса в котел. Делал он это вовсе не из сострадания к голодным. Ему доставляла удовольствие предстоящая процедура унижения: русских, эти животные будут есть что угодно. Развеселившийся повар щедро накидал в кипящий котел картошку, капусту, помешал в котле, приговаривая «Карашо, русски борщ, сладкий зуппе» и напевая свою любимую песню «Вольга, Вольга, муттер Вольга». Спустя час пленных впустили во двор. Их было человек двадцать, и повар разлил по котелкам варево. Я тоже протянула котелок. Повар заржал и зачерпнул мне погуще, сказав при этом, что ему приятно доставить удовольствие еврейской барышне. В котелке дымился очень жирный суп. Никто не ел. Наши мужики переглядывались, судорожно глотали слюну, но отведать собачьего супа первым никто не решался. Повар прикрикнул: «Бистро, бистро!». Никакого отвращения к незнакомой пище я не испытала, поэтому легко проглотила первую ложку.

— Вкусно, только соли не хватает. Гебен зи, битте, етвас зальц, — обратилась я к повару.

— О, битте! — радостно откликнулся повар и швырнул наземь алюминиевую плошку с солью. Солдаты из охраны сгрудились вокруг и вели себя точно так, как любопытные при кормлении зверей в зоопарке. Я проглотила еще несколько ложек — собачий суп, если не знать, что он собачий, был вполне съедобен.

— Ребята, вкусно, честное слово. А на этих свиной наплюйте. Они б на вашем месте еще не то стали есть.

Первым следом за мной стал есть бородатый, за ним, преодолевая внутреннее сопротивление, остальные. Постепенно мужики повеселели, кто-то бросил соленое словцо, кто-то уже жевал жесткое мясо. Ели по-русски, красиво, с достоинством, как будто и впрямь едят вкусный борщ. Вскоре котелки опустели, повар выплеснул им остатки из котла, бородатый похлопал себя по животу и сказал: «Благодарим тебя, дочка, за компанию, хороший ты, видать, товарищ. Ауфвидерзейн!» — козырнул он повару. — Гришка, песню! Да понахальнее! — И команда опухших от голода русских пленных с лихой частушкой покинула кухонный двор. Повар смотрел им вслед с явным разочарованием: представление не состоялось. Вдруг он резко повернулся ко мне, глаза его побелели от бешенства, и прошипел: «Ты! Чтоб я тебя здесь больше не видел, еврейское отродье!»

— Благодарю вас за вкусный обед, — вежливо ответила я и скрылась в коридоре.

Там меня поджидали испуганные Соня с Бертой — так, будто я добровольно приняла яд. «Вы обе — дуры, ничуть не умнее этого дикаря повара. Зато наши люди получили хорошую порцию витаминов. И я тоже», — и похлопала себя по животу точно так, как бородатый.

Весной 43-го года поляки исчезли, бежали на рассвете, разобрав дощатую стену барака. Побег свой они, по-видимому, готовили долго. Поговаривали, что за пределы города их вывез какой-то немец на машине прямо с территории фирмы. После исчезновения поляков понаехало много эсэсовцев, на красномордого фельд-фебеля орал офицер. Барта допрашивали в конторе почти целый день, и он лишь раз забежал к себе, потребовал кофе и пил его, отдуваясь, со всевозможными швабскими проклятиями. В глазах у Фрица бегали лукавые искорки. Когда эсэсовцы уехали, Фриц успел шепнуть нам: «Все в порядке, но обошлось это братцу недешево».

Там мы и не узнали, добрались ли куда-нибудь трое отчаянных парней. Но позже нам казалось, что там, в восставшей Варшаве, дерутся и наши польские братья по несчастью. Я рассказала про них потому, что бегство поляков и стало тем «случаем», который показался Фрицу Мюльшлегелю удобным поводом для откровенного разговора с нами. Однажды после обеда он задержался, долго наблюдал, как мы собираем грязную посуду, и, когда мы уже направились на кухню, остановил нас и велел хорошенько прикрыть дверь.

— Я не понимаю, — сказал Фриц без обычной своей улыбочки, — что мешает вам, трем молодым здоровым девушкам сделать то же самое?

Мы вытаращили на него глаза.

— Вы, конечно, боитесь меня, я ведь враг, немец, но если я сам отвезу вас в лес — я знаю, в какую сторону надо ехать — поедете?

— Непонятна ваша чрезмерная готовность к риску, — сухо заметила Соня.

— Что вся наша жизнь, как не риск! А я не рисковал, когда в самый разгар преследования евреев в Баварии отправил свою жену-еврейку, двоих детей и ее стариков-родителей нелегально в Швейцарию? Правда, эта операция стоила немалых денег, но я же рисковал! И они живы и будут жить в безопасном месте, пока не кончится это свинство!

Тут встряла я:

— Ваша забота о спасении семьи понятна. И там, в Германии, да еще за большие деньги, это сделать, вероятно, было легче. Но ведь у каждой из нас в гетто — вы это знаете — есть семьи. По-вашему, выходит, вы поможете нам бежать, а с ними что будет? С моей больной мамой, например?

Фриц помрачнел:

— Ты думаешь, твоим родителям будет легче, если ты погибнешь с ними вмес-

те? Забудем пока про этот разговор. Надумаете — скажете. Любая машина фирмы довезет вас до леса, а там уж сами доберетесь, куда надо...

Деловые люди

Странный разговор с Фрицем привел нас в смятение. Мы так и не поняли, провоцирует он нас или действительно хочет помочь. История с женой-еврейкой показалась нам не очень убедительной. В ближайшую субботу я рассказала обо всем отцу. Реакция его была неожиданной. Папа очень развеселился и совсем по-мальчишески сдвинул кепочку со лба на затылок:

— По-моему, это отличная идея. Только нужно продумать все детали и уехать на этой машине без всякого Мюльшлегеля... Тебе, дочка, придется на некоторое время стать большим и очень тонким дипломатом... Ты говоришь, Барт любит деньги? Это очень хорошо. И свежее крестьянское масло и яйца он тоже любит. И поросята тоже... «Какие яйца, при чем здесь поросята, о чем ты говоришь, папа? Барт не умирает от голода, можешь мне поверить!»

— Конечно. Но ему надоела еда, которой снабжают оккупантов. Он привык у себя в Ульме к вкусной и здоровой пище. Они все обжоры, я это знаю по лагерным немцам. Во сне видят, где бы хапнуть чего-нибудь свеженького... Вот мы и проведем небольшую заготовительную операцию. Комендант лагеря обеспечит товар для обмена в деревне — табак, спиртное, соль, сапоги, — все это ему девать некуда — обеспечит охрану и путевые документы, а твой шеф — транспорт. Для этого ты мне устроишь с господином Бартом деловую встречу. Мол, так и так... До войны мой папа был крупным хозяйственным работником и хочет предложить вам интересный гешефт. Гешефт — слово международное, его все понимают, швабы в том числе. Спорим, что твой дурак-хозяин купится на мое предложение, а соблазнить коменданта лагеря выгодным барышом проще простого. Все они спекулянты.

Так я и сделала. Господин Барт, когда бывал в благорасположении, любил поговорить о политике почему-то со мной:

— Ты думаешь, мне охота здесь торчать и копаться в этих грязных автомобилях? — Тут Барт пускал слезу и в который раз показывал мне фотографии: необъятной толщины фрау Барт и много непохожих друг на друга мальчиков и девочек. Чета Бартов было бездетной и имела хобби по усыновлению сирот — таких у них было девять. Роскошный дом Барта в Ульме, вилла в предместье на берегу Донау, внушительное здание фирмы «Опель» в Мюнхене...

— Из-за чего началась эта проклятая война? Англичане, эти выскочки, завладели всем мировым кофе, а кофе — немецкий национальный напиток. Давно пора было дать им по мозгам.

— А при чем здесь Россия? В России пьют чай, — для поддержания разговора спрашивала я.

— Ну, это же ясно. Лучший чай во всем мире выращивают в Индии, а кому принадлежит Индия? Тем же англичанам. Вот и получается, что они распространились по всему миру, как эпидемия, а немцы просто задыхаются в тесноте...

— Но при чем здесь Россия? — наивно повторяла я.

— Россия, гм... Россия — это жизненное пространство, которое нуждается в крепких хозяйских руках. От России совсем недалеко до Индии... Никто ведь не думал, что фюрер станет возиться с русскими так долго... — тут Барт вскипал: — Только ни слова о Наполеоне! У него не было нашей техники! Единственное, чего я до сих пор не понимаю, — зачем фюреру понадобилась эта возня с евреями. До войны я имел с ними дело, это были толковые, надежные партнеры. Без них, без их умения рассчитывать на десять ходов вперед стало только хуже.

— Вам нужен такой партнер? Господин Барт, мой папа...

И я рассказала Барту о деловитости моего отца и о заманчивых перспективах заработать на вполне легальных условиях. — Для этого нужно только встретиться с моим отцом, крупным довоенным гешефтмахером.

— Но он же еврей? — задал идиотский вопрос Барт.

— Конечно. Я ведь его родная дочь. Но папа имеет аусвайс, дающий ему право раз в неделю ходить по городу без конвоя.

Аудиенция высоких договаривающихся сторон была назначена на ближайшую субботу. В четыре часа дня на территории фирмы «Ганзен и К^о» появился мой папа в своей полукрестьянской курточке, подпоясанной солдатским ремнем, в кирзовых сапогах, с рюкзаком на плече, в кепочке, надвинутой на лоб, и еврейскими знаками отличия на груди и спине. Барт ждал его у себя в апартаментах. Я представила папу, он запустил какую-то длинную фразу на немыслимом немецком языке, которую шваб Барт, естественно, не понял.

— Придется вашей дочери быть переводчиком. Я слышал, вы пользуетесь доверием подполковника СС?

— Доверие — слишком сильное слова. Я ведь еврей. Просто господин комендант иногда поручает мне небольшие хозяйственные операции. По роду довоенных занятий я хорошо знаю окрестности Минска в радиусе около ста километров...

— У вас было крупное дело? — живо поинтересовался натуральный капиталист Барт.

— Да, — с достоинством ответил папа, — я руководил крупной фирмой по заготовке леса для угольных районов юга России. Оборот моей фирмы в год исчислялся шестизначной цифрой.

— О! — уважительно воскликнул Барт, — значит, я познакомился с крупным советским бизнесменом? Коммунист? — вдруг по какой-то тупой инерции спросил политически безграмотный Барт.

— Нет, — сдержанно сказал папа, — для моей фирмы это было не обязательно. А сейчас — увы, так распорядилась судьба, я просто еврей. Еврей, не теряющий надежды на лучшие времена.

Барту понравилось оптимистичное заявление папы, и он одобрительно похлопал отца по колену:

— Мне всегда нравились деловые люди, не теряющие надежды. Кофе, коньяк? — От коньяка мой пьющий папа скромно отказался. Я подала им кофе. Барт понюхал, поморщился, извинился за эрзац-кофе и повторил папе уже известный тезис о подлых англичанах. Папа, которому я рассказывала о политических изысканиях Барта, улыбнулся самой лучезарной из своих улыбок, а его ярко-голубые глаза выказали полное понимание благородного негодования господина Барта по поводу сложившейся в мире ситуации.

— Да, англичане... Ведь мы с вами, господин Абрам, встретились для делового разговора. Что вы предлагаете?

Дальше разговор пошел в стремительном темпе, без перевода. Папа попросил бумагу, карандаш и выстроил цифры тремя столбиками. В одном столбике — стоимость товаров, необходимых для обмена в деревнях, по официальному, так сказать, курсу, — их дает комендант. В другом — перечень продуктов, получаемых в результате обмена. В третьем — стоимость этих продуктов, излишек которых можно сбывать на черном рынке. Далее папа подвел черту и крупно вывел итоговую цифру чистого дохода — очень впечатляющую цифру. Барт смотрел на быстрые папины выкладки, как смотрят дети на фокусника. От напряженного внимания он даже вспотел, и его низкий лоб, заросший почти до бровей редким ежиком рыжих волос, собрался в складки. Папа бросил карандаш и откинулся в кресле, заложив ногу на ногу. Две ноги — папина кирзовая и Бартова в крепком ботинке на толстой подошве — одинаково покачивались в наступившей паузе и подчеркивали несколько гротесковую ситуацию этого коммерческого сговора. Все это на минуту показалось мне кадром из довоенного комедийного фильма, где в роли плутоватого Чарли выступал мой папа. Он почувствовал впечатление, произведенное на Барта, и, к моему ужасу, стал его пугать:

— Как честный человек, я обязан вас предупредить, господин Барт, что дело, которое я вам предлагаю, связано с немалой долей риска. Вы, вероятно, кое-что слышали о партизанах?

— Да, — всполошился Барт, — вы имеете в виду бандитов, которые прячутся в лесах?

Отец тонко улыбнулся и уточнил:

— Я имею в виду вооруженных людей, которые действительно размещаются в лесах, но время от времени совершают нападения на немецкий транспорт. Вероятно, они не так сильно вооружены, чтобы оказаться серьезной угрозой для хорошо охраняемого немецкого транспорта, но предусмотреть нужно всякие неожиданности.

— Что именно?

— Охрана, сопровождающая вашу трехтонку (меньшую гонять не имеет смысла), должна быть надежной и хорошо, блестяще вооруженной. Охрану в количестве десяти человек обеспечит господин комендант. Нужен хороший шофер — это ваша забота.

— За рулем будет сидеть классный военный шофер, в кузове — пулемет, гранаты, патроны — военное обеспечение я беру на себя. Дело коменданта — охрана и путевые документы. А за услуги и успех операции вы, господин Абрам, получите комиссионные — деньгами или продуктами, как вам будет угодно.

— У меня к таким делам чисто спортивный интерес, — тут моего папу явно занесло, и я выразительно на него посмотрела. Барт воспринял папино озорство как обычное для коммерсантов кокетство и заручился обещанием: если первый рейс пройдет удачно, за ним последуют новые рейсы. Перед уходом папы Барт вручил ему свою визитную карточку и выразил уверенность, что после войны, когда кончится вся эта неразбериха с евреями, мой папа снова займет столь высокое положение, что оно позволит ему совершить путешествие в Европу с семьей и он, Карл Барт, будет рад встретиться с моим папой, его женой и дочкой в уютном доме в Германии, в Ульме ам Донау. Папа поблагодарил за приглашение и, метнув на меня веселый взгляд, ушел. Пока я убирала со стола, Барт, глядя моему папе вслед в окно, задумчиво сказал: «Я и не предполагал, что ты дочь такого интеллигентного отца. Что только не делает с людьми эта проклятая война!»

Непредвиденные обстоятельства

Тем временем в гетто и в лагере на Широкой шла деятельная подготовка к предстоящему рейсу. С комендантом отец управился быстро — тому не терпелось заработать на казенном добре и даровом транспорте. Охрана была подготовлена давно. Около года папа присматривался к украинцам, охранявшим лагерь. Многие из них оказались на службе у немцев, не выдержав тягот плена. К зиме 43-го года, под осторожным и методичным воздействием отца, получившего о каждом охраннике информацию от Сони Курляндской, часть украинцев дозрела до сознания, что прощение у родины нужно завоевывать с оружием в руках. Отцу они верили как спасителю. Сформировать охрану предстоящего рейса именно из них не составило особого труда — «папины» украинцы в лагере прикидывались туповатыми, исполнительными простачками.

В гетто была сформирована группа для побега из восемнадцати человек, куда кроме меня с мамой, Зелика и Оси, Сони Садовской с сыном входили врач, медсестра, радиоинженер и другие люди, нужные там, в лесу. Решено было, что из первого рейса в Ивенецкий район, где, по имевшимся у нас сведениям, группируются партизаны бригады им. Чкалова, папа, чтобы усыпить бдительность коменданта лагеря и Барта, привезет обещанные продукты. Во второй рейс, который должен состояться в следующую субботу, машина пойдет через город другим маршрутом и забрет на окраине Минска нашу группу. Как мы выйдем из гетто, папа, после длительных консультаций с врачом из еврейской больницы, тоже придумал.

Ранним утром в субботу, 20 мая, папа сел в кабину рядом с шофером, до зубов вооруженные украинцы погрузились в кузов, битком набитый товаром, пулеметами, ящиками с патронами и гранатами. Все путешествие, по папиным расчетам, должно было завершиться до наступления комендантского часа в Минске, с тем чтобы отец успел вернуться в гетто.

В субботу вечером отец не вернулся, не вернулся и в воскресенье. Рано утром в

понедельник за мной, Соней и Бертой, как всегда, в гетто пришел конвоир, на этот раз другой, незнакомый. Он гнал нас через город почти бегом, подталкивая то одну, то другую прикладом в спину. При подходе к фирме сразу же бросились в глаза чужие легковые автомобили. Территория была густо оцеплена жандармами. Конвоир доставил нас прямо в контору. Там за столом Барта по-хозяйски расположился красномордый фельдфебель, у стены стояли перепуганный Барт и бледный Мюльшлегель. У стола Барта спиной к нам сидел офицер в форме СС. Как только нас втолкнули в контору, офицер спросил: которая из трех? Фельдфебель плеткой указал на меня. Соню и Берту выставили.

— Что пишет папа? — спросил меня офицер по-русски почти ласково.

— От папы нет никаких известий. Мы очень беспокоимся, потому что обычно в субботу вечером папа приходит из лагеря в гетто, а в этот раз не пришел. Может быть, господин офицер знает, что случилось с моим отцом?

— А ты еще и нахалка. Или артистка. Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Это много. Много для жидовского выроodka. Увести.

Красномордый фельдфебель вытащил пистолет из кобуры и вытолкнул меня во двор. Там он приказал, чтоб доставили на бугор — был такой бугор в дальнем конце территории — четырех Иванов с лопатами. Иванами называли наших пленных. Фельдфебель привел меня на бугор и приказал взять лопату.

— Не возьму. Если нужно выкопать яму, это сделают для меня русские товарищи. Я их сама об этом попрошу. А вас попрошу не устраивать длинного спектакля. Вы слышали, что сказал господин офицер СС. Он сказал, что девятнадцать для меня чересчур много. Выполняйте приказание.

— Но, но! Разговорилась! Ты лучше поговори там! — он кивнул в сторону конторы.

— Там мне больше говорить нечего. Я точно знаю, что с отцом случилось что-то страшное. Он не мог меня здесь бросить на произвол судьбы. Он очень меня любит.

Русские ребята, бородатые, опухшие, переминались с ноги на ногу, не понимая моего диалога с фельдфебелем, который подбрасывал на руке пистолет. Но они хорошо понимали, зачем их сюда позвали с лопатами.

— Девчонка, ты не теряйся. Может, только пострадать решили, они это любят.

Фельдфебель стегнул плеткой того, кто это сказал, и, разрядившись от злости, уже спокойнее обратился ко мне:

— Копать не будешь? Бить тебя бесполезно, все равно пристрелю. Марш в контору, там с тобой продолжат разговор о папе.

В конторе эсэсовец беседовал с Бартом и показывал ему какие-то обгоревшие бумаги. Фриц шепнул мне: «Скажи, что тебе надо в туалет». Туалет был через маленький коридорчик. «Пусть идет, — разрешил эсэсовец, — бежать ей некуда». Фриц вышмыгнул следом за мной, втолкнул меня в туалет. Через тонкую дверь я услышала его торопливый шепот:

— Машину кто-то сжег на шоссе в шестидесяти километрах западнее Минска. Ни твоего отца, ни охраны. Только убитый шофер, а при нем документы. Мог твой отец уйти в лес, а тебя бросить? Не мог. Вот и держись за это. Барт перепуган до смерти. Он будет все валить на партизан, а от еврея и охраны отрекаться — это не его люди. Ты для них — единственная ниточка. Главное — выиграть время.

Меня привели обратно. Молодец Фриц! Теперь уж немного легче. Главное — отца не нашли, значит, он жив, а если так — даст о себе знать, любым способом. Прав Фриц — я для них — единственная ниточка. На обратном пути из туалета мне удалось выдавить из себя слезу. Это было нелегко, так как в трудных обстоятельствах я обычно не плачу, а каменею.

— Так что пишет папа?

— Если он жив, обязательно напишет. Если он жив.

— А почему ты думаешь, что его нет в живых?

— Если б с ним ничего не случилось в лагере, он пришел бы домой. Он всегда приходил, даже больной. Он больше всего на свете любил меня и маму. А мама моя совсем больная. Папа обещал принести лекарство...

— Ха-ха. Маме твоей помогут отправиться на тот свет и без лекарства. А ты, хитрая тварь, что-то знаешь и молчишь! Мог твой отец уйти к партизанам?

— Мой отец очень умен и осторожен, чтобы пускаться в такую авантюру. И я не понимаю, как он мог уйти в партизаны, если находился в лагере?

— Опять врешь! В субботу его не было в лагере! С самого утра!

— А где же он был? Обычно выпускали из лагеря в субботу вечером. Значит, кто-то его выпустил утром? Вот у того и спросите, где мой папа. Я вас очень прошу, узнайте, пожалуйста, где мой папа! Мама так волнуется. — Тут я стала плакать по-настоящему.

Офицер осерчал: «Убрать! — или очень хитра, или полная идиотка. В гетто не отпускать, пока не выясним, куда делся этот паршивый еврей. Глаз с нее не спускать!» Меня вытолкали во двор и заперли в бараке. Жандармы уехали. Следом за ними укатил на своем «Опеле» Барт. К вечеру вернулись с работы Соня и Берта. Они принесли мне котелок с гороховой жижей, вопросов не задавали. Уже совсем стемнело, когда заскрипел замок и в нашем бараке появился Фриц.

— Ты молодец, все сказала правильно. У них дурацкое положение. Сожженную машину обнаружил жандармский патруль. По документам, оставшимся у убитого шофера, установили и принадлежность машины, и того, кто подписывал маршрут. Комендант, видимо, с перепугу стал все валить на еврея. На вопрос, почему еврей оказался в машине в шестидесяти километрах от Минска, а с ним десять украинцев, комендант пока ничего толком не ответил. Мой родственник оказался похитрее. Он все свалил на коменданта, который якобы попросил машину для каких-то неизвестных ему, Барту, нужд. Как он мог отказать подполковнику СС? Думаю, что сам Барт выпутается, не в его интересах болтать о сделке с твоим отцом, тем более что о его визите к Барту начальник охраны не знает. Была суббота, он пьянствовал в городе. Так что держись прежней линии.

Торопливо сообщая все это, Мюльшлегель улыбался, но не автоматически, как обычно, а всем лицом. Он не мог, да, вероятно, и не хотел скрывать удовольствия, которое получал от всей этой истории.

— Я вам очень благодарна, господин Мюльшлегель, и хочу вас попросить еще об одной услуге. Я напишу записку маме, а вы отвезите ее, пожалуйста, в гетто или пошлите кого-нибудь, кому доверяете. Пусть только он скажет, что приехал от вас, мама все про вас знает и немного успокоится. Ради бога, господин Мюльшлегель, завтра с утра мама должна получить от меня записку, иначе она погибнет, и не только она...

Мюльшлегель велел быстро написать записку и обещал выполнить мою просьбу. Когда он ушел, Соня со вздохом сказала: «Господи, и среди них, оказывается, есть люди...»

Трудно понять, чем вызваны были поступки этого баварского немца, который вроде бы ничем не отличался от своих соотечественников — так же служил вермахту, так же наживался на войне, но почему-то не хотел, как многие из них, закрывать глаза на то, что происходит на оккупированной земле. Объяснить Фрица только его еврейскими родственниками — значит ничего не объяснить в нем. По-видимому, сказалось в нем либо врожденное чувство справедливости, либо — можно ведь такое предположить? — внутреннее созревшее чувство протеста по отношению к режиму у него на родине. Про Мюльшлегеля нельзя сказать «прозрел», потому что его прозрение наступило, вероятно, задолго до войны... Фриц Мюльшлегель был и остался для меня исключением из правил, исключением, возможно, подтверждающим правило о том, что любая нация в любых, самых чудовищных обстоятельствах сохраняет в себе островки человечности, порядочности, пусть робкой, но все-таки попытки противостоять всеобщему оболваниванию.

Барт рассердился

Утром началось все сначала. Опять тот же офицер задавал те же вопросы, опять начальник караула водил меня на бугор и играл пистолетом (Иванов уже не звали).

Барт был значительно спокойнее, Фриц с притворным равнодушием разглядывал потолок, офицер орал на меня, я добросовестно плакала и умоляла узнать что-нибудь про папу. Лишь на секунду Фриц оторвался от потолка и весело мне подмигнул. Разговор зашел в тупик. Вдруг Барт побагровел и сам заорал на офицера СС: «У меня из-за вас вторые сутки стоит срочный военный заказ! Генерал (Барт назвал какую-то, видимо, очень важную фамилию, потому что офицер вскочил и вытянулся) не погладит по головке бездарных жандармов, если эта дурацкая история затянется еще на неделю! В конце концов я, Карл Барт, деловой человек и не обязан тратить драгоценное время попусту!» И Барт, ушел, эффектно хлопнув дверью. Следом за ним развалистой походочкой вышел Фриц, красномордый фельдфебель крикнул, чтоб меня заперли, повторяя мне вслед по-русски: «Записка, записка от папы!» Офицер укатил, жандармскую охрану сняли. Вечером после работы Фриц сообщил мне, что записку мою мама получила, очень просила отпустить меня в гетто с пятницы на субботу, так как она совсем расхворалась. Среда и четверг прошли на фирме тихо. В контору меня не таскали, один только раз Барт велел явиться и задал тот же дурацкий вопрос: «Я с таким уважением относился к твоему отцу, пришлет он, черт возьми, записку или нет?» И тут я, совсем уж невинно глядя Барту прямо в глаза, ответила: «По-моему, господин Барт, вам будет совсем невыгодно, если мой папа пришлет записку. Тогда меня арестуют, и мне придется рассказать, как вы, крупный немецкий предприниматель, вступили с моим отцом в незаконную сделку и чем все это кончилось. Мой папа учил меня всегда говорить правду и только правду...»

— Вон! — почти завизжал мой хозяин.

Это была последняя наша с ним встреча.

Разве так уходят?

В пятницу вечером нас, всех троих, отвезли в гетто. У калитки стояла мама. На ее бескровном лице все вытеснили огромные глаза. Она не заплакала, не кинулась ко мне. На кухне мама молча показала пальцем на плиту. Я подняла дно и опустилась в люк. Там в пламени коптилки на меня уставились незнакомые диковатые глаза. Хриплым голосом неизвестная девица проговорила: «Явилась наконец-то, красуля. Третьи сутки из-за тебя в этой яме околачиваюсь. Батька твой с ума там сходит. А ну, покажь морду. Ничего, симпатичная. Как раз нашему комиссару подойдешь. Поторопи их там, наверху, а то мое терпенье лопается. Как бабахну гранатой, так все полетит к чертям собачьим». Девица выругалась и прикурила самокрутку от коптилки. «Вылазь и шугани их там. Вопросов не задавай, твоя мать в полном курсе. Батька письмо прислал — не письмо, приказ. И я буду последней б..., если этот приказ не выполню. А ну, вылазь, трам-тара-рам...»

Я вылезла из люка, бросилась к маме, она вытащила из-за пазухи сложенный в маленький комочек листок. Папиным почерком второпях было написано: «Девушка по имени Ева — моя связная. Откомандирована по приказу моего нового начальства. Слушать ее беспрекословно. На подготовку и сборы — максимум три дня. Пусть Соня С. свяжется — она знает с кем, чтобы вы организованно, как мы решили, вышли из гетто. Куда, как — все знает Ева. Ничего лишнего с собой не брать. Медикаменты, шрифты — все нести на себе, под платьем. До скорой встречи. Папа».

Все остальное я помню, как в полусне.

Пришла Соня с Игорем, пришел доктор из больницы, долго о чем-то совещались. Почему-то чаще других звучало слово «тиф». Медсестра принесла большую противогазную сумку с широкими бинтами. В бинты мы пытались зашить тяжелые литеры типографского шрифта. Шрифт притащили из «малины» Золик и Ося. Всю ночь во дворе кто-нибудь из нас дежурил — на случай если появятся добровольцы из команды Эпштейна. Ева сидела в люке, и ярость ее распирала. Доктор дал ей немного спирта, чтобы она успокоилась. Две ночи мы провозились с тяжелыми свинцовыми литерами, бинты их тяжести не выдерживали, в дело пошли разрезанные на полосы простыни. Бабушка с дедушкой вообще не ложились спать, молча сидели на кухне, взявшись за руки. В воскресенье опять пришел доктор и доложил, что пропуск на

восемнадцать человек, нуждающихся в рентгеновском обследовании, будет только во вторник утром. А что делать в понедельник, когда за мной придут с работы? Соня Садовская, прикусив короткую, как у маленькой княгини из «Войны и мира», верхнюю губу, спокойно объявила: «В понедельник в этом доме начнется тиф. Терять нечего — или они испугаются тифа, или вступит в дело Ева из люка». Так мы и поступили. Утром в понедельник прямо к нашему дому подъехал красномордый фельдфебель. Во дворе его встретила бледная, дрожащая от неподдельного страха мама и сказала, что в доме тиф. Машина с фельдфебелем, изрыгающим проклятья, круто развернулась и исчезла. Мы вздохнули, но ненадолго. Время бежало неумолимо. К десяти утра 1 июня мы должны были быть в полной готовности, то есть обмотаться лентами с защитными в них шрифтами, медикаментами, копировальной бумагой, натянуть на себя по две смены белья, сверху платья, построиться возле больницы в колонну — 18 человек, среди них двое детей до десяти лет, предъявить у выхода из гетто пропуск и в сопровождении еврейского врача с желтой повязкой на рукаве выйти в город для прохождения рентгеновского обследования в русской больнице, так как в еврейской рентгеновского аппарата не было. Такой порядок был установлен еще год назад — это было странным в условиях гетто проявлением чьей-то заботы о здоровье евреев, но такой порядок был, и никто, естественно, его не оспаривал.

Прощанье со стариками, которые знали, что остаются на скорую и верную гибель, было коротким. Оба торжественно встали и благословили нас. Дед сурово повторял: «Только без слез, Олечка, прошу тебя. Жаль, что я неверующий, я бы помолился. Видеть вас здесь я больше не могу». Плакать было нельзя — старикам наши слезы уже не были нужны, они себя давно приговорили...

Когда мы шли к воротам гетто, из всех окон, со всех сторон на нас смотрели оторопевшие от страха люди. Все знали, что исчез Абрам Костелянец и его ищут, все понимали, что люди в колонне — семья Костелянца и его близкие друзья, но никому не пришло в голову, что эта кучка людей может вот так, среди бела дня, со спокойными лицами, на глазах всего гетто и охраны выйти за ворота. По-видимому, общий шок поразил людей — именно на него рассчитывал придумавший все это папа! По-видимому, люди решили, что это какой-то новый немецкий способ изъятия семьи и близких неизвестно куда исчезнувшего еврея. Евы с нами не было. Она выбралась из люка на рассвете и скрылась в неизвестном направлении, сказав перед уходом Соне: встречу, как договорились.

Мы вышли в город и направились в сторону вокзала. Шли со своими номерами и заплатами по мостовой, никто на нас не обращал внимания: к колоннам евреев, бредущим по мостовым Минска, население за два года оккупации привыкло, привыкли и полицейские, и все другие стражи порядка. На одной из разрушенных улиц где-то впереди мелькнула маленькая фигурка Евы. С этого момента мы ускорили темп движения через город и шли уже не улицами, а проходными дворами, огородами, через руины. Ева впереди то исчезала, то появлялась снова. Шли долго, не меньше часа. Неподалеку от железной дороги мы увидели старую железнодорожную больницу. Мы вошли туда и очутились в тесном кабинете главного врача. Он запер дверь и шепотом велел снять еврейские знаки с одежды. Из кабинета главврача на улицу вела еще одна дверь. Через нее мы должны были выйти не строем, а по одному, с интервалом 15—20 метров. Под желтыми заплатами мы с ужасом обнаружили невыгоревшие пятна. Главврач сокрушенно покачал головой: черт возьми, раньше догадаться можно было, но теперь поздно, рискуем, авось, проскочите. По одному мы вышли на залитую солнцем почти деревенскую улицу минской окраины. По обе стороны стояли деревянные дома с мирными геранями на подоконниках, с белыми занавесочками. Шли мы уже не по мостовой, а по дощатому тротуару. Цепь наша растянулась почти на всю улицу, где-то далеко впереди мелькала Ева, за ней доктор, за ним Соня с Игорем за руку, наши мальчики. Передо мной шла мама — только теперь я увидела, как она исхудала, какие стоптанные на ней туфли. Шествие замыкала я. На улице не было ни души, только в окнах из-за занавесок следили за нами испуганные глаза, много глаз. Шаги наши долбили по доскам тротуара, с каждым шагом звук этот казался все громче. Он стал совсем оглушительным, когда следом за собой, шаг в шаг, я услышала, как идет за мной грузный, тяжелый человек. Незнакомый старик с

большими обвислыми усами поравнялся со мной и, не поворачивая головы, тихим басом обронил: «Вы с ума посходили, разве так уходят? Особенно вон та женщина, впереди тебя — того и гляди упадет, помоги ей. На, хоть морковину погрызи и ей дай...» Я ничего не ответила старику, запомнила только густой его голос и корявую руку, протянувшую три морковки. Старик прогудел мне вслед: «Храни вас бог, бедолага» и свернул в подворотню.

Очень военный папа

Бог или черт, или судьба нас и впрямь хранили. Даже тогда, когда кончилась последняя улица и мы через большой огород вышли к железнодорожному полотну, за которым виднелось еще зеленое ржаное поле. Мы увидели, как птицей перелетела через дорогу Ева и исчезла во ржи. Перед тем как исчезнуть, она что-то крикнула следовавшему за ней доктору. По цепочке до меня дошло: соблюдать интервал. Дорога охраняется, переходить по одному только тогда, когда с поля махнет платком Ева. Мы перебрались через дорогу и, обессиленные, залегли во ржи. Ева командовала: ползком. И мы поползли. Не помню, как долго, было нестерпимо жарко в двойных одеждах, пить хотелось ужасно. Мама оглянулась, я подползла к ней, в глазах ее, расширенных от пережитого страха и смертельной усталости, не было ничего, кроме покорности судьбе. Мы снова поползли, запахло пылью, послышалось тарахтенье телег, лошадиное фырканье. «Ложись! — командовала Ева, — поличай!» и выдернула откуда-то из-под юбки гранату. Тарахтенье приближалось. Сквозь прореженную у проселочной дороги рожь мы увидели, как катят шесть повозок, на каждой по шесть черных полицаяв с белыми повязками на руках. Еще метров двадцать, и они нас заметят. Мы прижались к сухой земле и вдруг услышали истошный Евин вопль: «На-а-а-ши!». И Ева побежала навстречу страшным повозкам.

С передней прыгнул седой коренастый человек с длинной винтовкой на плече. Спотыкаясь, падая, он бежал Еве навстречу. Это был мой папа, поседевший добела за две недели неизвестности о нашей судьбе. И тут — то ли от счастья, то ли от нервного перенапряжения я захохотала, я просто умирала от смеха. Уж очень смешным показался мне мой папа, всегда такой штатский, а сейчас такой нелепый с длиннющей винтовкой, перепоясанный ремнями, с наганом за поясом. Я тормозила совсем ослабевшую маму, она так и не смогла подняться с земли, и, закатываясь от смеха, кричала: «Мамочка, ты только посмотри, какой у нас смешной папа, какой весь военный!» Отец цыкнул на меня сердито, подхватил маму на руки и понес к повозке.

Курносый возница взбил солому в телеге и сочувственно пробормотал: «Совсем ослабла женщина, да и девчушка — соплей перешибешь». От такой лестной характеристики смех у меня как рукой сняло, я прижалась к папиной спине, он взял у курносого вожжи, издал какой-то незнакомый лихой звук, и мы покатили к зеленой деревеньке, открывшейся за поворотом дороги. Голова мамы лежала у меня на коленях, она беззвучно плакала и все пыталась рукой дотянуться до папиной ноги, перекинутой через край телеги.

Ехали мы так не долго, пять телег с «полицаями» и с пулеметом на одной из них и с остальными беглецами шли за нами быстрой рысью.

Здравствуйте, товарищи интеллигенты

Иван Казак

Деревня называлась Птичь. Все в ней показалось мне непередаваемо прекрасным: и густая, сочная зелень, в которой утопали дома, и прозрачное небо, и вкусный воздух, и — самое потрясающее — по главной деревенской улице парами и живопис-

ными группами гуляли увешанные оружием парни и нарядные девчата. Громко играла гармошка что-то до боли довоенное, на головах парней лихо сидели набекрень «кубанки» с красными ленточками, девчата и детвора льнули к ним, в воротах и калитках стояли мужики и бабы постарше. Таратайки наши с грохотом проехали сквозь веселую толпу и завернули во двор дома с надписью «Сельсовет». Все геттовские домыслы и слухи о недостижимых партизанах рухнули — вот они, рядом, в пяти километрах от Минска!

Во дворе у длинного деревянного стола под навесом сновали женщины. Кто-то резал хлеб, кто-то тащил громадный чугунок с дымящимся варевом. Чубатый пожилой партизан водрузил на столе трехчетвертную бутылку с мутноватой жидкостью, подал, за забором, собралось много народу. Пожилой обратился к ним:

— Граждане, товарищи! Эти люди еще несколько часов назад находились за колючей проволокой. Они пробыли там два страшных года и чудом спаслись. Человека, хлебнувшего горя, по нашим обычаям нужно сначала хорошо накормить. Пожалуйста, садитесь, — обратился он к нам. — А вы, дорогие бабоньки, не смущайте их, они давно не ели настоящего хлеба. Пусть поедят досыта, спасибо вам за ласку!

Мы сели за стол. Пожилой партизан во главе стола, по правую руку он него мой отец, мама, я.

— Это командир?

— Да, по хозяйственной части. Командир комендантского взвода Родионов. Главные командиры — люди деликатные, придут знакомиться с вами, когда вы поедите. Есть надо осторожно, понемногу — всех предупредил. Всем, кроме детей и мамы, придется пить самогон. Традиции будем нарушать потом, а сейчас нельзя — обидятся люди, — и папа налил мне полный стакан самогона.

— Не бойся, доче, проглоти, как лекарство. Только съешь сначала что-нибудь.

Из чугуна мне положили в глиняную миску здоровенный кусок настоящего мяса. От него шел одуряющий запах. Я откусила большой кусок и, зажмурившись, запила его самогоном. Внутри стало горячо, в голове зашумело, но самолюбие не позволило не раскиснуть. Отец проделал то же самое с легкостью необыкновенной и закусил хлебной корочкой, круто посолив ее, как будто всю жизнь глушил самогон стаканами. Мама уставилась на нас с ужасом. Нужно отдать должное нашей измученной, оголодавшей команде — все ели и пили неторопливо, с достоинством. Когда трапеза, проходившая в молчании, закончилась, Родионов сказал отцу: «Товарищ Костелянец, постройте своих людей, с ними будет говорить комиссар бригады». Мы построились в длинную шеренгу, мальчики стали на левом фланге, отец — на правом.

Во двор на сером в яблоках коне в сопровождении парня в кожанке и с маузером, въехал комиссар бригады Иван Петрович Казак. Отец тихо скомандовал нам «смирно» и, выйдя из строя, совсем по-военному отрапортовал:

— Товарищ комиссар бригады имени Чкалова! Группа в количестве восемнадцати человек, выведенная по договоренности с командованием из минского гетто, построена.

— Здравствуйте, товарищи интеллигенты! — звучно приветствовал нашу умную шеренгу комиссар. — Поздравляю вас с избавлением от фашистского рабства! Отныне каждый из вас, независимо от возраста, пола и профессии, становится рядовым бойцом нашей бригады. Мы встретили вас под Минском, в деревне Птичь, откуда берет начало весь наш род Казаков. Здесь живут мои родители, родственники. Пусть вас не удивляет, что рядом с городом, среди бела дня партизаны свободно разгуливают, как будто в Минске нет значительно превосходящего нас по численности и вооружению врага. Так же дерзко, как вы осуществили свой уход из гетто, так же храбро, как угнал из города груженную боеприпасами немецкую трехтонку ваш руководитель, очень умный человек Абрам Павлович Костелянец, так же обдуманно мы предприняли рейд издалека в мою родную деревню, чтобы встретить вас и обеспечить вашу безопасность. Среди вас женщины и дети — наша святая обязанность их защитить. Среди вас есть люди, в уме и знаниях которых мы у себя на базе очень нуждаемся. Через три часа, после хорошего отдыха, нам предстоит в кратчайший срок преодолеть немалое расстояние. К сожалению, никого из вас, даже самых слабых, мы не сможем обеспечить транспортом, идти придется преимущественно

ночью и пешком, по тылам противника. Мы постараемся, чтобы обратный путь прошел так же благополучно. Еще раз поздравляю вас с вступлением в нашу партизанскую семью!

Комиссар на разгоряченном красавце-коне был великолепен. Даже самое романтическое воображение не могло подсказать такой эффектный, почти плакатный образ: соломенная копна волос, выбивавшаяся из-под фуражки, синие глаза на смуглом чеканном лице, гордо посаженная голова, стройная шея, широченные плечи, изящная посадка в седле.

Комиссар был очень молод — 23—24 года, не больше, тем сильнее впечатляли три шпалы на петлицах. Речь его, обращенная к нам, сочетала в себе неподдельный пафос и человечность, в ней деликатно, без лишней чувствительности звучала нота сострадания и нежелание унижить людей перебором в этом сострадании. И еще меня удивила в речи крестьянского сына Ивана Казака абсолютная грамотность, отсутствие признаков местного диалекта, как будто этот кованный парень прошел специальный курс ораторских наук.

После приветственной речи комиссар спешил, подошел к каждому из нас и попросил назвать имя, отчество, фамилию и профессию.

— Про семью вашу, Абрам Павлович, не спрашиваю — все про них знаю. Это, стало быть, дочка Галя, образованный товарищ, а это — супруга с редкой у нас профессией стенографистки. А это, судя по предварительным описаниям Абрама Павловича, Софья Семеновна Садовская, журналистка — очень нам такие кадры нужны, газету свою издаем, так что дела всем хватит. А теперь располагайтесь отдыхать.

Нас отвели на большой сеновал, где после сытной еды и самогона мы сразу провалились в сон. Перед тем как улечься, отец снял с себя ремень, перепоясал меня и засунул за ремень наган: «Береги, это мой подарок»... Когда нас разбудили, уже смеркалось. Нагана не было, я перерыла все сено, кто-то его украл. Отец побледнел, вклепил мне хорошую затрещину и прошипел яростно: «Хорошо начинаешь». Только потом, освоившись среди партизан, я поняла, что наган — личное оружие, некая привилегия, на которую имеют право не новички, да еще женского пола, а испытанные бойцы. Кто-то из них, видимо, счел наган за поясом у только что прибывшей девчонки несправедливой роскошью. Расследовать пропажу мы не стали, но она послужила мне хорошим уроком в дальнейшем: оружие надо беречь, как собственную руку.

Обратную дорогу на базу мы прошли за две ночи с короткими передышками в пути. В рейде за нами в Птичь принимало участие боевое подразделение — не меньше двухсот человек. По дороге к нам присоединялись мужики и бабы с детишками из окрестных деревень и хуторов. Вместе с ними наш строй пополнялся лошадьми, коровами, телегами, груженными мукой и картошкой. Дорога вела на запад, в сторону Налибокской пуши, за Ивенец, именно туда, куда ездил на немецкой машине папа.

Как папа встретился с партизанами

По дороге он рассказал нам, почему не вернулся из первого рейса. Когда приехали в Ивенец, выяснилось, что вдоль всего шоссе партизаны сидят в засадах и нападают на проезжающие в сторону Минска машины. Связаться с командованием бригады, направившей партизан в засады, отцу не удалось. Машина, как уже известно, была загружена оружием и боеприпасами. Их нужно было во что бы то ни стало сохранить для партизан. Сведущие люди в Ивенце сказали отцу, что обратно до Минска сквозь партизанский заслон вряд ли удастся проскочить, легко воспламеняющийся груз при хорошем обстреле взорвется, и ценное добро пропадет зря. Лучше самим, в тихом месте, не дожидаясь партизанского обстрела, выгрузить добро и податься в лес.

Так посоветовали знающие ивенецкие люди. Отец принял решение: по условному его стуку из кабины украинцы на замедленном ходу выбрасываются из кузова и

залегают с двух сторон по обочине дороги, на случай если покажется встречный немецкий транспорт. Шофера отец берет на себя.

Так оно и было. По дороге на Ивенец мой контактный папа обрел полное доверие шофера, автомат немца лежал рядом, между ними. Они отъехали от Ивенца в сторону Минска, когда на первом же повороте дороги отец посоветовал шоферу замедлить ход, так как ему кажется, что левое колесо стучит. Шофер открыл дверцу, нагнулся к колесу, и отец выстрелил ему в затылок из его же автомата. Разгрузка боеприпасов в двадцать рук прошла мгновенно. Машину облили бензином и подожгли. Второпях забыли забрать шоферские документы. Беглецы углубились в лес. Короткая автоматная очередь, прозвучавшая на шоссе, привлекла внимание партизанских разведчиков. Увидев группу вооруженных людей в форме лагерной охраны с ящиками на спинах и с ними какого-то штатского, разведчики вернулись к своим, сидевшим в засаде впереди километров в двух. Партизаны успели подготовиться к встрече с вооруженной группой неизвестных. По первому же их требованию беглецы остановились, сдали оружие и боеприпасы. Отец настоятельно потребовал доставить их к командованию отряда.

В сопровождении усиленной охраны их привели на глухой хутор, где разместился штаб одного из отрядов бригады имени Чкалова. Из папиного рассказа командир ничего не понял и велел под конвоем срочно отправить задержанных в особый отдел бригады. Начальник особого отдела, грузный абхазец Давид Зухба, велел всех арестовать и охранять впредь до особых распоряжений. Долгий допрос, учиненный Зухбой отцу и украинцам, ничего хорошего поначалу не сулил. Зухба не сомневался, что в распоряжение бригады заброшена хорошо подготовленная группа вражеских агентов, а еврей, сожженная машина, убитый шофер и боеприпасы — для дезориентации, чтоб втереться партизанам в доверие. Отец потребовал от Зухбы, чтоб тот вынес вопрос об их дальнейшей судьбе на обсуждение командования бригады, в частности командира Грибанова, комиссара Казака и начальника штаба Понявина.

— Решать, что с вами делать, буду я, в советах ваших не нуждаюсь. Откуда знаете фамилии командования бригады?

— В Ивенце на базаре про них, про всю вашу бригаду знает каждый третий. Конспирация — дело стоящее, но сейчас не 42-й год, и народ кругом знает, может быть, больше, чем вам кажется. Рейс именно в эти края я предпринял не случайно. Примерное местоположение бригады мне подсказали верные товарищи в Минске. А за украинцев я ручаюсь — пришли к партизанам сознательно смывать позор, другого пути у них нет, в лагере никакими безобразиями себя не запятнали. С подонками связываться мне не было резона.

Зухба думал долго. В реальность папиного мероприятия поверить было трудно. Особенно смущали Зухбу фигурировавшие в папиных показаниях комендант лагеря подполковник СС, капиталист Барт, группа ценных людей, оставшихся в минском гетто, за которыми нужно срочно посылать экспедицию в Минск, и многое другое. Недоверие Зухбы было обосновано его профессией старого работника органов госбезопасности. Папа просидел под арестом три дня. Все это время Зухба навещал его в специально отведенной для арестованных землянке, а папа упорно просил довести его историю до сведения командования, самого высокого. К исходу третьей ночи отца привели в особый отдел. Рядом с Зухбой находился незнакомый человек в полной форме полковника советской авиации.

— Вы можете изложить все письменно? — спросил полковник.

— Это потребует много бумаги и времени.

— Ничего, бумага будет, время терпит.

— В Минске со дня на день из-за меня могут погибнуть ни в чем не повинные люди, в их числе моя жена и дочь.

— И все-таки постарайтесь побыстрее и покороче, но со всеми существенными деталями изложить вашу историю появления у нас письменно. Вы рисковали — согласен, но и мы, принимая вас вот так, на веру, тоже рискуем, не правда ли?

— Я понял. Я совершил в каком-то звене ошибку. Я не имел права идти к вам вот так, из воздуха, без надежных рекомендаций. Пожалуйста, запросите обо мне товарищей из Минска. Они подтвердят, что Костелянец не предатель.

— Не волнуйтесь. У нас есть возможности для проверки обстоятельств вашей деятельности и побега из Минска. Что же касается вашей семьи, то в таких делах — война — возможны неизбежные трагические потери. Среди моих товарищей каждый третий либо вдовец, либо сирота. Я сам вдовец. Жена и двое детей недавно погибли в Барановичах.

Еще через двое суток отца выпустили, вернули оружие, вызвали к командиру бригады Грибанову. По распоряжению особого отдела соединения (полковник в летной форме был начальником этого отдела) за группой, оставшейся в Минске, был откомандирован отряд, который возглавил комиссар бригады Иван Казак, хорошо знавший Минск и его окрестности. Послать за нами в гетто отчаянную Еву придумал тоже Казак: эта пройдет куда угодно, ей сам Гитлер не страшен — девчонка из ямы, из-под мертвецов в Тучинке вылезла, со смертью знакома, можно сказать, за ручку...

Издержки городского воспитания

К утру 3 июня мы добрались до базы. Позади были десятки километров болотистого леса, казалось, весь мир вокруг стал лесом. Он был сказочным, бесконечным, все вокруг виделось огромным: и гигантские ели в три обхвата, и заросли папоротника в человеческий рост, и могучие лопухи на толстых, как у деревьев, стволах. Усталые люди с трудом отрывали ноги от хлюпающего болота, тишина стояла оглушительная, только пофыркивали притомившиеся лошади.

Лагерь штаба бригады располагался у бугра, в который были вкопаны основательные землянки. Там жило штабное начальство. Меня, маму и Соню с Игорем приняли к себе женщины — они обитали в летнем шалаше из еловых ветвей с бревенчатыми нарами по стенам и брезентовым пологом у входа. С наступлением холодов предполагалось переселиться в зимнее жилье, в бугор вкапывали новые землянки. Отца направили к Зухбе, в особый отдел, меня — в комендантский взвод, под начало к Родионову, маму и Соню — в штаб, маленького Игоря — в подпаски к старому пастуху довольно большого стада. Зольку с Осей определили в боевой отряд, располагавшийся неподалеку. Все остальные специалисты, пришедшие с нами, нашли себе применение по прямому назначению: врач и медсестра — в госпиталь, инженер сразу же занялся налаживанием очень примитивного радиохозяйства бригады. К комендантскому взводу был приписан и пришедший с нами парикмахер, очень необычный в тех условиях человек. Все новички несли караульную службу. Родионов проинструктировал нас об обязанностях часового на посту, показал, как обращаться с винтовкой, как разбирать, чистить и смазывать затвор, как заряжать и т. д. Дальнейшее военное обучение, сказал Родионов, будет зависеть от старания и расторопности каждого из вас и должно протекать на ходу, практически.

В комендантском взводе обязанности распределялись четко: четыре женщины должны были накормить и обстирать около шестидесяти штабных людей, мужики — их было полтора десятка — ездили по деревням и хуторам за продуктами. Спустя полтора месяца, когда по моей просьбе меня перевели к ним, я с лихвой испытала щекотливость и опасность партизанской интендантской службы. А на первых порах после года работы у немцев женская хозяйственная работа в партизанах показалась мне легкой и радостной, но только на первых порах, пока я чистила картошку и таскала воду для котлов, подвешенных на перекладине между двумя колыями. На третий день кухонная командирша тетка Маруся на рассвете сунула мне ведро и велела подоить корову. Тут начались и так и не кончились мои неприятности. Я сроду не приближалась к коровам, как их доят, понятия не имела. Маруся по моему растерянному лицу догадалась, что проку от такой доярки не будет на первых порах, но недооценила мою тупость.

— Бояться ее нечего, она скотина добрая, к ней с добром, и она к тебе так же, — и показала мне нехитрый способ извлечения молока из коровьего вымени. Но не тут-то было. Мирная буренка тотчас догадалась, что к ней прикасаются чужие неумелые руки, и хлестнула меня занавоженным хвостом по лицу. Ведро с каплями нацеженного молока ее звоном опрокинулось. Так же безуспешны были вторая и третья попыт-

ки. В третий раз корова больно лягнула меня задней ногой в бок, я мрачно вернулась на кухню. По моей перепачканной рожке и пустому ведру тетка Маруся все поняла, вздохнула и безнадежно махнула рукой.

— И к чему тебя приспособить, девка, не знаю. Завтра утречком пойдешь со мной в пекарню — авось, хлеб научишься печь.

А если с хлебом получится так же, как с коровой?

Самолюбие мое страдало нещадно, и я по старой детской привычке произнесла большой внутренний монолог о несовершенстве городского воспитания, вспомнила Галку, которая и здесь — я уверена — ловко бы управилась, и почему-то вспомнила взбешенного деда, когда он лупил меня геометрией Киселева по голове и кричал: «Дубина!»

Наутро я шла с Марусей в пекарню, как на самый страшный экзамен по физике. В закопченной землянке, где была сложена большущая печь, вкусно пахло кислым тестом. Маруся приподняла чистую тряпицу, которой была накрыта большая дежа с тестом и, потрогав мои руки выше локтя, ободрительно сказала: «Ну, вот, уже подошло, можно месить», — и показала, как месить. Я окунула руку в тесто до плеча, но вытащить ее оттуда было ничуть не легче, чем ногу, провалившуюся в трясину. Кое-как приноровившись к этой процедуре и проклиная свое гнилое интеллигентское воспитание, я долго, до седьмого пота, месила тесто. Тем временем тетка Маруся готовила печь к посадке хлеба. Затем она ловко вытащила из дежи здоровый кус теста, мокрыми руками покидала его на весу, пошлепала, положила на деревянную лопату, огладила и сунула в печь. Скоро весь под жарко натопленной печи был усажен круглыми караваем. Тетка Маруся объяснила мне, что делать дальше: «Хлеб, — сказала она, — должен подойти, от жара подняться и подрумяниться», — и ушла. К моему ужасу круглые караваи не подошли, а расползлись по поду печи и превратились в большие плоские лепешки. Вернулась тетя Маруся, глянула в печь: «Ах ты, божечки!» Причина была в том, что тесто я замесила плохо, слабо, а тетка Маруся не проверила. Я заплакала, уткнувшись в ее толстый живот, а она меня утешала:

— И что ты так убиваешься? Хлеб испечь — тяжелая работа, к ней приучаются сызмала, а тебе, городской, где было приучаться? Вот горе мое, да меня за эти лепехи комендант Родионов со свету сживет!

— Почему вас? Ведь я виновата — пусть меня и наказывают!

Тетка Маруся еще раз вздохнула и увела меня, потную и рыдающую, с пекарни.

— Ничего, дочушка, научишься, видно, силенок у тебя маловато, найдем другую работу, не реви. Мы, бабы, тут только успевай поворачиваться. Тяжело...

— Может, постирать чего нужно? Я умею.

— Можно и постирать. Только беда — нечем. Мыла нету, золой стираем, а она руки разъедает.

Неподалеку от коновязи, в противоположной от кухни стороне такой же котел с водой висел на перекладине, валялись деревянные корыта, и грудой было навалено мужское исподнее белье, заношенное до черноты.

— Вот, успели уже, видать, с утра баню топили. Берись, дочушка, только смотри — руки не перетри. Потом долго не заживают.

Я ожесточенно взялась за стирку. Вода от золы делалась мягкой, но домотканое белье было очень грязное, и пришлось забыть о совете тети Маруси. У меня получалось! Грубое полотно под моими руками светлело, становилось чистым, а после промасленных немецких комбинезонов эта стирка доставляла мне удовольствие.

Так я трудилась до обеда. Руки гудели, спина ныла, но на душе полегчало — хоть что-то умею! К вечеру, когда гора мужского белья была выстирана, кожа на руках, особенно на запястьях, полопалась, и из трещин сочилась сукровица. Добрая тетка Маруся смазала мои руки свежим свиным салом и залепила листьями подорожника.

— Завтра стирать не смей, так я и знала. Кто ж так трет? Нельзя рука об руку, нужно тереть тряпку тряпкой, а руками только помогать, — и тетка Маруся, плеснув воды в корыто, ловко простирнула кухонную тряпку. — Ничего, пообвыкнешь, характер у тебя есть...

Мой друг Яковлев

У коновязи почти одновременно со мной появлялся в исподней чистой рубахе и галошах на босу ногу кривоногий мужик лет тридцати. Вместо носа у него торчала какая-то загогулина, потому что переносица была сломана. Зато улыбался он белозубо, и черные цыганские глаза излучали свет и доброту. И улыбка, и сияние глаз относились к лошадям. Он скреб их щеткой, кормил с руки, поил, разговаривал с ними подолгу, и лошади платили ему взаимностью. Я с завистью поглядывала на мужика и лошадей, они после утреннего туалета лоснились на солнечном свете и выглядели намного красивее, чем цирковые лошади, которыми мы с мамой так восторгались до войны.

— С Сашкой не переглядайся, он чумной, матерщинник, только коней и любит, — строго предупредила тетка Маруся.

Сашку Яковлева, адъютанта командира бригады, побаивались. Слов нормальных в его обиходе почти не было, а мат, которым он выражал любую мысль, был столь заборист и изобретателен, что я то и дело поражалась неисчерпаемости русского языка. Матерился Яковлев беззлбно, весело, но с подковыркой, с внутренним побуждением расшевелить, раззадорить человека. Если б я не видела его по утрам, когда он нежно, без единого матерного слова, напевным окающим ивановским говором беседовал с лошадьми, я бы чуралась Яковлева. Человек, умевший так разговаривать с животными, не мог быть плохим. Когда не было стирки, я все чаще подходила к лошадиному загону и подолгу наблюдала, как Сашка обращается с лошадей. Это казалось мне чудом. Сашка не обращал на меня никакого внимания, изредка только зыркал цыганским глазом, пускал по моему адресу художественный матерок и продолжал свое дело. Я не сердилась, потому что и работа, и ловкие руки Сашкины, и улыбка — все мне в этом человеке нравилось. Воспроизвести мои дальнейшие собеседования с Яковлевым невозможно, потому как, я уже сказала, изъяснялся он непечатно. И все же учуял он во мне душу, лошадям родственную, и в одно прекрасное утро разрешил войти в загон и погладить свою собственную, самую тихую, как он сказал, кобылу. Так началась моя заветная дружба с удивительным человеком, редкостным по противоречивому сплаву грубости и нежности, безжалостности и самозабвенной преданности. Если не ошибаюсь, по возрасту Яковлев был старше своего комбрига, скромнейшего и молчаливейшего Михаила Ивановича Грибанова.

Грибанов партизанил с самого начала войны, вышел из окружения лейтенантом вместе с Яковлевым, служившим рядовым. Любили они друг друга крепко, причем Сашка питал к Михаилу Ивановичу почти отцовские чувства. Был Яковлев сиротой, пастухом в деревне на Ивановщине, любил животных и взял его за эту любовь к себе в помощники сельский ветеринар.

Сашка не успел закончить до войны и семи классов, но в любой скотине разбирался почти профессионально. К лошадям он присох в армии, где служил еще до войны в кавалерийской части вместе с Грибановым. Породнила их — молоденького лейтенанта, бывшего сельского учителя из-под Твери, и диковатого паренька с Ивановщины — та же одухотворенная любовь к лошадям. Разговаривали между собой адъютант с комбригом мало. Сашка покровительственно покрикивал на комбрига, зато военное обмундирование Михаила Ивановича, сапоги и вся амуниция были благодаря Сашкиной заботе безупречны.

По утрам Сашка заставлял худенького комбрига обливаться ледяной водой, потом сурово следил, как комбриг ест, потом оседлывал лошадей, и, если не было боевых операций, они уезжали в бригаду. В седле Яковлев преображался в красавца — такое превращение я видела только у истинных, богом избранных наездников.

Моя мужская дружба с Яковлевым вызывала веселое удивление. Еще бы! Сам Яковлев доверил девке лошадь и научил ее сидеть в седле! Папа, которого я видела в лагере редко, так как по поручениям особого отдела он где-то пропадал по два-три дня, а то и по неделе, удивил меня строгим предостережением:

— Здесь женщин мало. Каждая, если она не распущенная тварь, находит себе, как бы это помягче выразиться, покровителя, что ли. Некоторые просто переходят на положение так называемых жен — у Зухбы, например, его толстая еврейка Роза, у

начштаба — его Ронечка. Если у тебя тоже окажется один, слова упрека от меня не услышишь. Если узнаю, что их несколько, пристрелю, сам. Имей это в виду и пожалей маму — она очень встревожена. Кстати, этот лошадиник, по-моему, очень хороший человек. Только на каком языке ты с ним разговариваешь?

— А мы с ним беседуем через переводчиков. А переводчиков у нас целый табун. С лошадьми он говорит на прекрасном русском языке, заслушаться можно.

— Ладно, я за тебя спокоен. Будь поосторожней. Нравы здесь суровые. Все от тебя самой зависит. Люди здесь... разнообразные. Ты ведь у меня не совсем глупа — сама разбирайся. — И папа снова исчез на рассвете.

...и другие

Первый месяц моей партизанской жизни был сравнительно спокойным, если не считать драматических переживаний по поводу моей непригодности к крестьянской работе.

По вечерам, когда партизаны возвращались в лагерь, некоторые под хмельком, у догоравшего после ужина костра собирались говорливые мужики. Они были в 43-м году у нас очень разные. Рядом с коренным москвичом, сероглазым красавцем Толей Мягих, сидели его орлы — бригадная разведка, лихие парни, с ног до головы в немецком обмундировании. К разведчикам относились уважительно и рассказывали про них полулегендарные истории.

Толю Мягих в канун войны приняли в артисты Вахтанговского училища. За год плена, откуда он бежал очень романтично, при содействии влюбленной в него польской медсестры (Толя попал в плен раненый), он блестяще овладел немецким языком. Толя был знаменит рискованными верховыми наездами в образе лощеного немецкого офицера в близлежащие немецкие гарнизоны. Один из таких гарнизонов в Иванце благодаря осведомленности Толи и его орлов мы очень здорово разгромили в конце июня. Лично у меня тогда появился первый военный трофей — грубошерстное одеяло со штампом большими буквами посередине «Полицай». Это одеяло сослужило мне хорошую службу до конца партизанской войны и доехало со мной в октябре 44-го года аж до самой Москвы. Друг мой Яковлев спроворил мне у полицая хромовые сапоги 39-го размера. Для моих ног 35-го размера на портянки, пользоваться которыми меня научил тот же Яковлев, сапоги оказались в самый раз — они тоже доехали со мной до Москвы, правда, уже изрядно поношенные.

На вечерних посиделках среди неброских лиц местных мужиков, по давней белорусской традиции подавшихся партизанить, я увидела нервное, интеллигентное лицо Мишки Чижика. Чижик тоже был москвич, до войны работал корреспондентом «Вечерней Москвы». В канун войны по какой-то уголовной статье (чуть ли не за попытку убийства на почве ревности) Мишка получил срок. В 41-м, когда Минск бомбили, уголовники разбежались, кто куда. Чижик махнул в деревню, а оттуда в лес. Слыл он среди партизан одним из самых отчаянных и необузданных в своей храбрости подрывников. Трезвым на базе я его почти не видела, во хмелю он становился опасным, его вязали и сажали под арест — до следующей операции. Пока он приходил в себя, весь лагерь потешался, так как Мишка, сидя взаперти, во все горло орал блатные песни, многие из них с жестоким надрывом. Мишку пытались воспитывать. Комиссар, который любил Чижика за храбрость, взывал к его бывшей интеллигентности, но тщетно. Очеловечивался Мишка только тогда, когда шел «на дело», то есть на подрыв.

Подрывное дело тогда только приобретало свой «симфонический» размах. В расположении штаба бригады на отшибе находилась адская кухня начальника подрывной службы Володи Курзанова.

Зимой 42-го года химика Курзанова со специально сформированной в Москве группой перебросили через линию фронта, к партизанам. Мин и прочих подрывных устройств у партизан тогда было мало, а опыт в этом деле был далек от профессионального. У меня до сих пор хранится Володина фотография, с которой смотрят детские ясные глаза и застенчивая улыбка. В руках Володя держит маленький дере-

вянный ящичек с рычажком — мину его собственной конструкции. Взрывчатую начинку для мин Володя и его помощники добывали из невзорвавшихся бомб и снарядов, которыми обильно была уснащена окрестная земля. При разрядке такого снаряда произошел взрыв, от которого Володя оглох. Он мучительно стеснялся своей глухоты. Зато в деле проявлял чудеса изобретательности. Подрывная служба, изобретенная и организованная в наших краях, то есть в Барановичской области, Курзановым, стала школой подрывного дела и приобрела невиданный масштаб. О «концертах и симфониях» подрывников в Белоруссии написано много, но почему-то мало вспоминают Владимира Васильевича Курзанова, талантливого химика и скромнейшего человека.

Вскоре после нашего прихода в бригаду в ее составе появилось небольшое подразделение поляков. Ими командовал пан Свенторжецкий, седой, очень импозантный человек. Поляки отличались от обычных партизан бравым видом — все они были одеты в военную польскую форму, все верхом на отличных лошадях. Все, кроме командира: пан Свенторжецкий выглядел подчеркнуто штатским, в очень старомодном сюртуке, из-под которого сияла белизной тонкая рубашка, в узких брюках в полосочку и со штрипками и в совсем уж несуразных для наездника узконосых штиблетах. Это не мешало пану Свенторжецкому безупречно держаться в седле.

Столь же безукоризненно, на великолепном русском языке он представлялся моей маме, Соне и мне, повергнув нас всех в полное замешательство, когда изысканно приложился к ручкам пани и паненки. К «пану профессору» — иначе его никто не называл, даже бригадное начальство, — относились с особым уважением. Лишь после его скорой гибели от руки враждебно относившихся к нам польских партизан, воевавших под эгидой лондонского польского правительства и приносивших нам немало дополнительных неприятностей, — только после гибели Свенторжецкого папа рассказал мне некоторые подробности его судьбы.

Пан Свенторжецкий учился филологии в Петербургском университете, знал древние и многие европейские языки. Еще до революции, совсем молодым человеком получил кафедру русской филологии в Виленском университете. В Вильне довольно быстро он попал в число политически неблагонадежных. По-видимому, широка познаний, петербургская закваска смолodu отдалили его от националистической идеи Польши «от можа до можа». Пан Свенторжецкий никогда не был коммунистом, но питал неодолимую любовь к России, ее культуре, языку и литературе. С такими ничем не скрываемыми пристрастиями Свенторжецкий оказался отторгнутым от многих своих коллег из польских националистов, и его путь к советским, а не к «истинно польским» партизанам был естественным. Немногочисленная группа молодых поляков, присоединившаяся к нам вместе с профессором, состояла преимущественно из его бывших верных учеников, которые, как и пан профессор, оказались не только образованными филологами, но и храбрыми воинами. Подразделение Свенторжецкого выполняло сложные функции разведки в лагере враждебных нам поляков и среди местного, преимущественно польского, населения. Информация, доставляемая группой Свенторжецкого, была для нашего командования очень ценной.

В группе Свенторжецкого мы увидели одну женщину — ею оказалась наша давняя знакомая Ядзя Шпирер, исчезнувшая из гетто незадолго до нашего побега и независимо от нас. Встретилась она с нами в лесу внешне очень экспансивно, но какую-то невидимую грань между собой и нами тотчас дала нам почувствовать. Основания, хотя бы внешние, у Ядзи для этого конечно же были. Мы, то есть мама, Соня и я, занимались в лесу сугубо «дамским», как отметила Ядзя, делом, она же наравне с великолепными поляками гарцевала в седле в полной военной форме. После гибели Свенторжецкого и большей части его группы (их выдал хозяин хутора, где они обычно останавливались, как выяснилось впоследствии ярый польский националист, ненавидевший жидов и коммунистов) — после их гибели Ядзю и еще троих вынесли от погони их резвые лошади. На этом ее боевая карьера закончилась, и она вернулась к своей основной профессии — стала хирургической сестрой в бригадном госпитале.

Но тут Ядзю сразила роковая страсть к Володе Курзанову. Натура несомненно романтическая, одержимая, Ядзя обрушила на скромного Володю такой каскад эмо-

ций, что Володя просто испугался. Оправившись от испуга, он со свойственной ему честностью объяснил чересчур чувствительной «сестричке», что ответить ему на ее чувства нечем, да и вообще неудобно как-то, не время, а «просто так», как другие, он не хочет.

Мирным вечером, во время обычных посиделок у костра за мной прибежала санитарка из госпиталя и потащила меня за собой, приговаривая на ходу: «Беда-то какая, вот дура-баба, бежим, пока она не отдала концы!» В госпитале усталый хирург мыл руки. Кивком головы он указал на койку, где лежала Ядзя — «Только без лишних разговоров». Бледная до синевы, с ввалившимися щеками, она увидела меня, и из глаз ее потекли слезы.

— Мне очень стыдно, — прошептала она, — я стреляла точно и не понимаю, почему я жива...

— Куда ты стреляла?

— Сюда, — слабо улыбнулась Ядзя и показала на грудь, — в сердце.

— Бред какой-то, зачем? Не отвечай, если трудно, тебе нельзя разговаривать. Чем я могу тебе помочь?

— Ничем. Ах, нет... Сделай так, чтоб этот... блаженный, ну, Володя, не думал, будто я устроила мелодраматический спектакль. Я не виновата, что осталась жива.

— Ты виновата, потому что ты дура. — Ядзя опять заплакала. — Ладно, раз уж ты второй раз уцелела, значит, будешь долго жить. А Володя ушел под вечер на операцию.

Ядзя горько улыбнулась и закрыла глаза. По ее щекам безостановочно бежали слезы. Я бросилась к хирургу.

— Пуля прошла навылет, в области сердца. Эта идиотка целилась точно, но сердце, как ни странно, не задето. Я не верю в чудеса, но медицина знает случаи, когда сердце у человека оказывается с правой стороны. Если бы не война, этот казус мог бы вызвать сенсацию. Нам же сейчас не до сенсаций, поэтому ты попридержи язык и объясни там, что пуля прошла через легкое. Так оно и есть на самом деле.

Попытка к самоубийству из-за любви без взаимности вызвала сложную реакцию. Иван Петрович Казак, у которого о любви было своеобразное, мягко говоря, представление (он был попросту очень ретив по этой части в отличие от скромного Курзанова, никогда не отказывая себе в удовольствии «просто так»), — так вот, Иван Петрович, по долгу комиссарской службы, квалифицировал этот нетипичный случай как истерическое проявление с мелкобуржуазным оттенком. Добрый Володя, вернувшийся с подрыва, был потрясен, не мог вымолвить ни словечка и только спрашивал меня:

— Ты считаешь, я должен ее навестить?

— Раз сомневаешься, значит, не должен. И ей твой приход вряд ли будет сейчас полезен.

Соня Садовская, считавшая себя крупным специалистом в области женской психологии, с каким-то непонятным мне оттенком зависти загадочно сказала: «Влюбленная женщина на все способна...» Мама по доброте душевной плакала и жалела Ядзю: «Дурочка, столько пережить и наложить на себя руки из-за такой ерунды...» Папа, узнав о ЧП, довольно безжалостно заметил: «Эта дура всегда страдала избытком демагогии».

Так или иначе поступок Ядзи сочувствия ни у кого не вызвал. Может быть, потому, что была война и смерть ходила за людьми по пятам, к ней успели привыкнуть, но она всегда была связана с насилием, с чьей-то чужой злой волей.

Ядзя быстро поправлялась, мы с мамой ее навещали, Володю она видеть не захотела. Когда вышла из госпиталя, попросила перевести ее в другую бригаду. Ядзину просьбу уважили, и больше мы ее не видели.

Лишь в 47-м году в Москве я случайно встретила Ядзю в театре, цветущую и позаграничному элегантную. Она пригласила меня после спектакля к себе в гостиницу, в очень шикарный номер в «Москве», где рассказала мне финал своей истории. После окончания войны Ядзя работала в больнице в Барановичах. Неожиданно открылась рана. Врачи быстро установили Ядзину аномалию и, как редчайший случай, отправили ее в одну из московских клиник. Там к ядзиному сердцу с правой стороны

был проявлен пристальный научный интерес. Почти год как сенсационный экземпляр она находилась под наблюдением на полном содержании государства, выступая время от времени в качестве наглядного пособия на лекциях медицинских светил столицы. На одной из таких лекций ее увидели поляки, обучавшиеся медицине в Москве, привели ее в посольство. Там, узнав о перипетиях ядзиной биографии, ей предложили вернуться на родину и, если здоровье позволит, заняться более полезной деятельностью. Ядзя согласилась, моя встреча с ней произошла спустя полтора года после того, как она вернулась в Польшу. В Москве Ядзя Шпирер находилась теперь в составе представительной делегации деятелей польских профсоюзов. Ее поведение в московском номере гостиницы было очень задушевым, но опять-таки с некоторым перебором в этой самой задушевности. Так и осталась для меня эта странная женщина неразгаданной. Если б я, допустим, узнала сегодня, что Ядзя Шпирер на старости лет стала голливудской кинозвездой или получила Гонкуровскую премию за роман под названием «Сердце справа», я бы не удивилась.

А судьба Володи Курзанова в послевоенные годы, как мне известно, не сложилась. Еще в партизанах он был представлен к званию Героя Советского Союза, но так и не получил его.

Блокада

В середине июля немцы, для которых к тому времени партизаны в тылу стали угрозой № 1, предприняли против тридцатитысячной армии партизан, сгруппировавшихся в Барановичской области, грандиозную карательную акцию с применением танков, артиллерии и самолетов. Впервые немцы отважились свернуть с проезжих дорог и углубиться в лес. Деревни и хутора, примыкающие к партизанской зоне, были уничтожены. Каратели замкнули вокруг пущи плотное кольцо. По данным нашей разведки только в одном направлении кольцо еще не сомкнулось, и всем соединением решено было выходить из окружения на запад. К встрече с немцами в открытом бою мы не были подготовлены, так как не хватало оружия и боеприпасов. В ночь на 28 июля 43-го года наша бригада снялась из лагеря и вышла на запад. Тяжелее всего было идти не людям, а лошадям и коровам, им труднее было преодолевать болото. Избегая хожених троп, мы продирались сквозь чащу, соблюдая возможную тишину и не разжигая костров на привалах, так как было известно, что большие подразделения карателей-автоматчиков с собаками сплошной цепью движутся в глубь пущи. К рассвету за большим болотом, покрытым толстым слоем мха, мы услышали лай собак и непрерывный автоматный огонь. Разведчики доложили, что немцы идут прямо на нас плотной цепью.

Была дана команда рассредоточиться на группы по 10—15 человек и залечь под мох, прямо в воду. Моховой покров толщиной с полметра надежно укрыл нас. Сколько пролежали мы так, не знаю, потому что, когда каратели с собаками шли поверху, я... заснула и проспала самый страшный момент. Плюхнувшийся рядом со мной Сашка Яковлев растолкал меня и потом долго измывался над моей воинской доблестью. В этой первой встрече с немцами мы не потеряли ни одного человека. В полдень болотистый лес неожиданно кончился и бригада, уже без лошадей, обоза и коров — их пришлось оставить в болотах еще ночью, — вышла на край леса. Перед нами открылось большое поле, перечеркнутое сохранившимся, вероятно, с прошлой войны длинным, извилистым окопом. Справа мимо поля шла на запад заросшая дорога. Она и вела в том направлении, где, по сведениям нашей разведки, кольцо еще не успело сомкнуться. Едва мы успели залечь в окопе, как со стороны дороги на нас обрушился шквальный огонь автоматов, пулеметов, минометов. У каждого из нас, кроме немногих автоматчиков, было по десять винтовочных патронов, поэтому наш ответный огонь был мало эффективен. Одним краем окоп примыкал к небольшой роще, в которой, рассредоточившись на небольшие группы, нам удалось скрыться. При обстреле я потеряла из поля зрения отца и мать.

Как выяснилось потом, они тоже потеряли друг друга и оказались в разных группах. Яковлев почти за волосы протащил меня по окопу в рощу, а я все порывалась

вернуться на место боя, чтоб найти родителей. Яковлев меня не отпускал, так я оказалась в группе комбрига.

Около двух недель длился наш рассеянный рейд по болотам. Запасы еды, «НЗ» давно кончились, но лес спасал нас и от голода, хотя от ягод и сырых грибов у всех разболелись животы. Не было и воды, вместо нее процеживали через тряпки болотную жижу.

Планы карателей были примерно известны: блокада Налибокской пущи должна была закончиться к 10 августа — к этому времени немцы должны были убраться из леса. По какому-то неведомому мне расчету комбриг уверенно вел нашу группу так, что мы все время оказывались на хвосте у выбравшихся из болот немцев.

Однажды ночью — это было уже на исходе почти двухнедельного хождения по пуще — мы выбрались на крохотный островок. Посреди островка стоял огромный трухлявый пенёк. На нем мы с трудом уместились спинами друг к другу, опустив ноги по колено в болото. Неподалеку от островка высился освещенный луной холм. Там стоял немецкий пулемет и строчил безостановочно, в никуда, для устрашения. Потом уже мы узнали, что немцы имитировали непрерывность огня с помощью радиозаписи. До нас доносились немецкие голоса, запахи кухни, по-видимому, у холма каратели расположились на отдых. Сниматься с места было рискованно, и комбриг решил пересидеть немцев здесь, на пне.

Ночью они идти боятся, утром обязательно уйдут. А нам торопиться некуда, мы у себя дома. Только не спать или спать по очереди. А ты, Галка, расскажи нам что-нибудь интересное, только шепотом. И я всю ночь рассказывала измученным мужикам «Анну Каренину». Никогда в жизни у меня уже потом не было таких непосредственных, заинтересованных слушателей. Мой друг Яковлев изредка шепотом матерился по ходу излагаемых мной с непонятно откуда всплывшими в памяти художественными подробностями событий. Яковлевский комментарий к классическому сюжету был, конечно, уникален по словарному составу, но удивительно точен по оценке. Когда история Анны подошла к концу, и она бросилась под поезд, Сашка отвел душу, отmaterился, а потом горестно вздохнул и произнес свою самую длинную цензурную речь: «Это ж надо! Такую бабу угробили! А Вронский твой, хоть и лошадиник, а дерьмо. Да и лошадиник, видать, был дерьмовый». С этой ночи за мной утвердилась репутация Шахразады и впоследствии, в разных обстоятельствах, мне довелось пересказать своим ребятам многие любимые книги.

Не все вернулись

Еще спустя два дня мы добрались до нашего лагеря. Немцы до него не дошли, хотя следы их мы обнаружили поблизости. За последующие две недели в лагерь вернулись все, кому суждено было вернуться. Многим пришлось в пуще туго: отбившись от своих, они блуждали по лесу вслепую. Так вернулись опухшие от голода, с кровоточащими деснами Соня с Игорем. Одним из последних вернулся Иван Петрович Казак со своим адъютантом.

Не вернулись мои родители. Казак нашел мамин труп в числе других сбившихся с пути женщин и детей в глубине пущи, на перекрестке глухих троп. По-видимому, немцы набрели на них и тотчас же расстреляли. Комиссар с адъютантом там же их похоронили. Мама должна была погибнуть, я это почувствовала в первую же ночь нашего рейда. Испытания гетто не успели зарубцеваться в лесу. К 39 годам моя красавица-мама превратилась в старушку. Еще раньше, в гетто, у нее расшатались и выпали передние зубы. В лесу она совсем притихла, скрывала свои недомогания, из глаз ее не уходил страх за папу, за меня, она мучилась виной из-за оставленных на погибель в гетто родителей. Той первой ночью, когда мы снялись из лагеря, мама шла трудно, то и дело проваливаясь в болото по пояс, и умоляла ее пристрелить. Она не годилась для войны. Ей, обыкновенной женщине с головы до пят, нужен был мир.

Папа погиб по нелепой случайности. В его группе оказалось шесть молодых, необстрелянных ребят. Уже на исходе карательной акции папина горсточка партизан расположилась отдохнуть на сухом островке. Отец разрешил разжечь костер, чтобы

высушить портянки. На запах дыма вышла заблудившаяся в лесу большая группа немцев, около пятидесяти. Бой был неравным. Один из парней успел спрятаться под мох.

Как он утверждал потом, конец боя он только слышал. Из всех шестерых только у отца был автомат с двумя дисками. Отец расстрелял оба диска, выстрелил шесть раз из пистолета, седьмой патрон оставил для себя — глухой был этот последний выстрел.

Вот все, что я знаю о гибели отца.

Много лет после войны я все еще не верила в его смерть, да еще в такую смерть. Ведь папа всегда находил выход из любого, самого безнадёжного положения...

Во время войны в нем раскрылась энергия не реализованных до войны возможностей. Жизнь его была трагически печальной, всегда напряженной, но всегда по его вине. Но и в печали папа, истинный сын своего народа, умел находить радость. Горестный скептик, он никогда не терял веру в человеческий разум, а юмор помогал ему в самые мрачные минуты жизни. Врожденная честность заостряла в нем протест против любого проявления недобросовестности — в этом смысле мой папа был, вероятно, очень неудобным в деловом общении человеком. Вся его жизнь — от детства в маленьком полесском местечке до последнего боя в лесу — была стремлением выпрямиться, уйти от обезличивающей человека зависимости. Вот почему ему так хорошо дышалось в партизанском лесу.

На рассвете, накануне того боя, когда я навсегда потеряла папу, он вынул из-за пазухи аккуратный сверток, перевязанный бечевкой, достал оттуда мой аттестат об окончании средней школы.

— Вот, я вынес это еще из дома и сохранил. На тот случай, если будем живы. А теперь может всякое случиться, вдруг мы потеряемся? Пусть лучше будет у тебя, пригодится. — И папа, обычно скупой на ласку, нежно поцеловал меня, подергал за косу и ушел вперед. Я и сейчас вижу его совсем седой затылок и сутулую спину с рюкзаком на плече. Что-то больно меня тогда кольнуло, я почувствовала: папа попрощался со мной. Он и в самом деле попрощался, сработала его редкостная интуиция. А было ему тогда, за две недели до гибели — в начале августа 43-го года, всего пятьдесят лет.

Вместо эпилога

Дальнейшая моя жизнь без отца, достаточно трудная и полная всяких неожиданностей, в чем-то самом существенном оказалась обесцвеченной именно потому, что я потеряла отца слишком рано — в девятнадцать лет. Я не успела впитать в себя многообразие его личности. Понадобилось около сорока мирных лет, чтоб понять: мой отец обладал подлинным даром взаимопроникновения со временем, его из прожитого им времени вычленить невозможно. Я не знаю, удалось ли мне рассказать о нем так, чтоб его почувствовал и полюбил еще кто-нибудь, кроме меня. Для этого, вполне возможно, у меня не хватило дарования, а об отсутствии дарования мы все еще почему-то стесняемся говорить. Цель моя была более скромной — рассказать в меру своих сил только то, что знаю, помню.

По непроверенным данным, мой папа должен был быть посмертно награжден за успешно проведенную диверсионную операцию в Минске. Он успел ее осуществить за короткий промежуток, что был в партизанах. Должен был быть награжден, но этого не произошло, и сейчас, спустя сорок с лишним лет после его гибели, это не столь уж существенно и вряд ли восполнимо.

Пусть то, что я рассказала о моем отце, хоть в какой-то степени этот пробел в посмертной папиной судьбе восполнит...

Когда в июле 44-го года после освобождения Белоруссии закончилась для нас партизанская война, мы на первых порах испытали некоторую растерянность — как жить дальше? Ясно было, что рано или поздно каждому из нас найдется дело в послевоенной разрухе. Но когда долгое нервное напряжение, к которому мы привыкли за время оккупации и в партизанах, вдруг ослабло, выяснилось, что и в новых

условиях нужно определенное самообладание, чтоб не растерять накопленную за время войны энергию, чтоб найти достойное применение своим силам.

Осенью 44-го года я уехала в Москву учиться. В те трудные послевоенные годы каждый из нас по-своему переживал новые испытания на прочность. К людям, находившимся в оккупации, в осенней, еще военной Москве 44-го года, обыкновенные люди испытывали острый, естественный интерес. Интересовались нами и соответствующие органы, бдительно следившие за тем, чтоб в столицу с оккупированных территорий не проникли вражеские агенты. Так было и со мной в Москве, где я досыта хлебнула трудностей и с пропиской, и с поступлением в институт. У меня не было паспорта. Документы, удостоверявшие мою личность, — аттестат об окончании накануне войны средней школы и временное партизанское удостоверение — доверия в милиции почему-то не вызвали. И лишь спустя полгода, когда пришел из Минска ответ на запрос обо мне, что я — это действительно я и полностью соответствую имеющимся у меня документам, мне выдали паспорт, и я стала полноправной московской студенткой.

На запрос ответил бывший командир нашего партизанского соединения, занимавший после войны в Минске крупный пост в партийных органах, — Василий Ефимович Чернышев.

В те трудные для меня первые московские полгода, полные хождения по разным кабинетам, в которых далеко не всегда я встревала доверие и готовность помочь, я все чаще думала о друзьях, оставшихся в Минске, — как у них-то дела?

После 1-го курса летом 45-го года я приехала на каникулы в Минск — к моей Галке, вернувшейся со всей семьей из Западной Белоруссии в развалюху на Сторожовке. Город уже начинал отстраиваться, хотя минчане жили трудно. Как-то мы с подругой отправились на Червеньский рынок. В солнечное воскресенье рынок гудел многоголосым шумом, торговали, чем бог послал. В киосках шла бойкая торговля пивом. В толпе мужиков, сдувавших пену с кружек, я вдруг увидела знакомую соломенную шевелюру и широкую спину в распоясанной линиялой гимнастерке... Человек был пьян, его покачивало, землисто бледное лицо перечеркивала какая-то жалкая улыбка, помутневшие глаза были намертво прикованы к кружке с пивом, которую опорожнял другой мужик. Первое побуждение броситься к Ивану Казаку я притормозила.

Соня Садовская мне рассказала, что Казак действительно сломался, круто запил, и эпизод на Червеньском рынке вполне возможен. А произошло это с ним из-за неприятностей, которые начались у него после войны, — вроде бы партизанские его заслуги кем-то перечеркнуты, вроде бы и комиссаром бригады он сам себя назначил, вроде бы именно по этой причине наградные партизанские документы им в свое время, еще в лесу подписанные, так и остались недействительными и именно поэтому Володя Курзанов не получил звания Героя Советского Союза...

Только спустя тридцать с лишним лет в книге «За край родной», изданной в Минске издательством «Беларусь» в 1978 году, где усилиями сотрудников института истории Академии наук БССР собраны и опубликованы воспоминания партизан и подпольщиков Барановичской области, я в числе других прочитала воспоминания И.П.Казака — «Три многотрудных года». В аннотации, предшествующей воспоминаниям Казака, сказано, что И.П.Казак, партизанивший с сентября 41-го года и действительно бывший комиссар бригады им. Чкалова, стал членом КПСС в 1950 году. К этой информации издатели сделали примечание: «В практике партизанского движения на территории Белоруссии, в том числе и в Барановичской области, имели место случаи, когда на должности комиссаров назначались комсомольцы и даже беспартийные товарищи».

Это примечание многое для меня прояснило в незабываемом моем партизанском комиссаре, каким я его впервые увидела в июне 1943 года, комиссаре, если так можно сказать, милостью божьей.

Я вполне допускаю, что такие же холодные глаза, которые подозрительно смотрели на меня в одном из кабинетов Москвы осенью 44-го, смотрели тогда же и так же на Ивана Казака, беспартийного комиссара. Я вполне допускаю, как героическая жизнь Ивана Казака, полная душевного порыва, истинного бесстрашия, его талант

вожака, выдвинутого народом на гребень партизанской войны, — как все это пришло в острое драматическое противоречие с теми, кто осмелился усомниться в подлинности такой биографии.

В 1981 году я навестила Ивана Петровича в Минске, в его хорошей квартире с новенькой мебелью. Внешне он мало изменился, лишь поседели волосы да потухли сверкавшие когда-то синевой глаза. На лацкане пиджака — колодки наград в четыре ряда, пенсионер республиканского значения — все вроде бы в порядке, заслуженному человеку воздано по заслугам. Но обида, нанесенная ему тогда, сразу после войны, так и не прошла, она сказалась и в двух перенесенных инфарктах, и в некоей неприступной броне, в которую он заковал себя от каких бы то ни было расспросов. Один только раз за время недолгой нашей беседы, когда я не посмела спрашивать о былых его неприятностях, в нем прорвалось прежнее, личное, казаковское:

— А пушу-то нашу вырубили... Минск надо было восстанавливать.

Иван Петрович показал мне фотографии наших с ним общих друзей, уже ушедших из жизни, — Сони Садовской, Геннадия Будая и других. Они много лет после войны собирались в день Победы у себя в пуще.

— И ты приезжай. Хотя... — Иван Петрович нахмурился, — грустное это зрелище. Все стали старые, больные. Никому мы уже не нужны, — твердо заключил он, как бы подводя итог, с которым он, Казак, так и не смирился.

— И чего это тебя вдруг наши дела заинтересовали? Столько лет прошло, не появлялась, и вот на тебе, возникла.

— Да вот, хочу написать, мало нас уже осталось...

— И ты хочешь написать? И кто только теперь не пишет! — без всяких околичностей разграничил Казак себя и меня, вернее, тех, кто действительно имел право и мог бы написать, но этого не сделал, и тех, кто к старости спохватился, цепляясь за обрывки памяти, и не обладал таким правом, какое было у Казака и таких, как он. Он был прав по-своему, но я тогда же подумала, сколько их, почти безымянных, кануло и канет в небытие, если даже такие, как я, не расскажем о них хоть что-нибудь...

1976—1981, Ленинград

Публикация Ольги ГОРОХОВОЙ

Елена Скульская (Таллин)

Не спросясь у Бога

* * *

Памяти Сергея Довлатова

Глаза,
Натертые наждаком пустыни,
Разгребает лапками, чтобы напиться,
Летавшая за три моря синица,
Царапает стеклянную роговицу,
И небо над нею — солдатской сини.
Часовой с ржаными, распахнутыми руками
Весь пророс песком, но никак не остынет.

Жизнь, разграфленная на страницы,
Набрана мелко.
Зачем ты уехал, солдатик, зачем ты уехал!
Желтые листья плывут по воде и не знают брода,
И люди легко умирают, не спросясь у Бога.
И черный, как бок сухогруза, кофе пьют бедуины,
И колючками кактуса ковыряют в зубах верблюды,
Плюнь на смерть, мертвый солдат, закурим,
Будем ловить в твой котелок звезды.

* * *

Николаю Крыщуку

Возвращайся, заздравные кубки
поднимает с отравой сирень,
раскроши — будто зубы кистень
эту тень на часах,
отмеряющих солнце;

опоздав и устав,
на губах твоих тонких
картавая течь.

Нам на дно — деревянная клеть
занозила опухшее горло.

В предрассветной сирени прогорклой —
словно олово греется в горне,
чтобы к горним на искрах взлететь,
дышит смерть.

* * *

Прозрачен и розов огонь на просвет,
И небо к лицу подступает ответным дыханьем,
И сосны метут в вышине, очищая от мусора твердь,
Скрипит и крошится за розовой марлей дощатый
Порог
И колеблется дверь.

Войди не теперь,
А когда-нибудь в прошлом войди,
А впрочем не надо — такая отрада потери
Освоена мною, что медленный рот, будто ковш,
Лишь ветер умеет зачерпывать
Для колыбели,
Прорытой в земле,
Где и спишь — все равно не уснешь.

Не надо входить, но оставь за собою шаги,
Пускай я услышу, как ты,
Опираясь о стены,
Сойдешь и исчезнешь в коричневом пиджаке,
Затерянном во вселенной.

Прозрачен и розов огонь и сочится весной,
И ты за окном — сигаретой задев занавеску,
стоишь, чтобы тлеть и крошиться
быстрее, чем дом.

* * *

Не ходи к чужим,
Не целуй замки, не жди подаяния.
Не хлебай у них
Ни из лужи,
Ни из черной раны.

Не ходи по краю с сумой,
Не просись на постой
В воротах.
Добирайся на своих двоих
До погоста.

У меня в окне
Белая церковь
Выскоблена, как покойник,
С рождественскими глазами.
По слогам вылепляется слово,
А выпадет оловянным.

Не накладывай на себя руки —
Отведи за спину.
Воробей вот тоже
Пишет стихи,
А поет никудашно,
Так и ты не кричи
Над ребеночком заспанным.

Залежанным, зализанным,
Собаками затисканным.

Юхан Вийдинг

С эстонского. Перевод Елены Скульской

Перед самоубийством он передал в газеты свое поэтическое завещание:

«Кто? Йохан.

Что? Гулял.

Когда? В январе 1995 года.

Где? В центре Таллина и увидел на каменной стене предвыборную листовку, на которой значилось: «Эстония — для эстонцев». Йохан вздрогнул, замер на месте, уставившись в одну точку, и почувствовал, что теряет сознание или равновесие, а может, и то и другое вместе. Все смешалось в вихре, и куда-то исчезло чувство места и времени. (Ему представились другие времена и места, давние, но здесь.) И буквально через долю секунды он почувствовал, что надо паковать чемоданы, если еще успеет, и бежать. А в следующий момент он вспомнил, что сам принадлежит к нации, которая говорит на том же языке, на каком написаны и плакат на стене, и это письмо. Потом Йохан засомневался, принадлежит ли он все-таки к той нации, к которой до сих пор считал себя принадлежащим. А потом он подумал: Если уйду я, куда денутся или уйдут Мария, Юри, Йоозеп, Ханна, Андрес, Михаил, Дебора, Корнилий, Анна и другие?

Он спросил. «Наперекор своей судьбе», — прозвучало в ответ.

На панихиде президент страны — тоже писатель — Леннарт Мери сказал, что самоубийство для поэта своего рода творческий акт...

Мы с Юханом Вийдингом дружили с детства, жили в одном дворе.

Я видела на сцене его беззащитного Гамлета, его отчаянного Пер Гюнта, его изначально обреченного барона Тузенбаха, вошедших в историю эстонского театра.

В начале 1990-х студия «Человек» привезла в Таллин из Москвы спектакль «Эмигранты» по пьесе Мрожека. После спектакля была встреча с артистами. Юхан говорил: «Я эмигрант. Я эстонец, я родился на этой земле, я с детства чувствовал себя внутренним эмигрантом, художник — всегда и везде эмигрант, мы все — эмигранты».

Стихи Юхана я начала переводить еще при его жизни; мы задумывали сборник взаимных переводов. Большая часть переводов сделана мной специально для журнала «Дружба народов».

Пьеса

Это было перед началом четвертого акта,
Публика стала стекаться в зал, дождавшись знака.

Это было перед началом четвертого акта,
Публика стала стекаться в зал, дождавшись знака.

Я стоял за сценой перед последним выходом,
И ждал своей очереди, как вдох за выдохом,

Юхан Вийдинг — эстонский поэт и драматический артист; признанный и прославленный, он ушел из жизни в феврале 1995 года; ему не было и пятидесяти.

А он подошел ко мне, будто бы нехотя, мешкотно,
И спросил меня со странной усмешкою:

Сколько ролей, скажи-ка мне, Юхан-бой,
Ты сыграл не на жизнь, а на смерть, а все живой...

Сколько ролей, скажи-ка мне, Юхан-бой,
Выводили тебя на сцену как будто бы на убой...

Я ответил ему, что было таких четыре,
Когда артисты со сцены меня на руках выносили.

Я сказал ему, — в общем, было четыре роли,
Когда меня убивали артисты в конце истории.

И сам я спросил у него: к чему же такие вопросы —
Либо публика нас на руках несет, либо могила уносит.

И сам я спросил у него: к чему такие вопросы —
Либо публика нас на руках несет, либо могила уносит.

Он ответил с усмешкой, что есть такая примета,
Если на сцене умрешь, то и в жизни невзвидишь света,

Если на сцене умрешь, то уже поминай, как звали —
Не вспомнят и не отыщут и не найдут в завалах.

Быть беде, Юхан-бой, говорил он и улыбался...
Как медленно сцена шла, и занавес опускался...

Мы встретились с ним глазами, когда закончилась пьеса,
Мы кланялись, и на сцене обоим хватило места...

Разговор

«Я не могу разорваться...
Не умею рвать страсти в клочья,
да и кому я могу понадобиться,
разорванный на кусочки!»

«Кому-то, кому приелось
целое...»

* * *

Память прорастает жестью и осокой,
На траву ложится прошлогодний иней,
Рану зашивает торопливый шепот,
Штопает пространство долгополый ливень.

Память прорастает жестью и осокой,
Прошлогодним снегом темнота согрета,
Там поземку патокой облепляет копоть, —
Далеко-далеко, у истоков Леты.

Расставания

Прошное пройдено
по воде как по суху
или просто в прошлом
брод найден
или наших
жизней
двойная засуха
сплелась в узор
занавесок спальни

Стиснули души
соборные
нефы
горизонт
амфибия
с двойною ношей
и жажду рыбы
влажное
небо
никак
утолить
не может

Самому себе

Лежа, стоя и сидя
Небо ты должен видеть.
Сидя, стоя и лежа
Видеть ты небо должен.

Путь выбирая по небу,
Ты не иди, а следуй,

Прежде, чем выбрать слепо
Землю, — выбери путь.

Даже уткнувши в землю
Взгляд, ты небесной твердью
Будешь ведом, и зренье
Вывезет... как-нибудь...

* * *

О как смертельно устали
наши истоки
в саду
запах тления запах
опередивший беду

время с привкусом крови
соль на разбитых губах

из-под безудержных кровель
окна на землю летят

листьями

осень и скука
дождь зашторивший дом
и только тряпичная кукла
в сердце тонет моем

* * *

Еще денек и будет Жааніраев¹,
Год кончился, по мне — и не начавшись,
Никто не умер, жизнь полна участия,
И даже свет даруют небеса.

Будь счастлива, небесная краса,
Я вышел на балкон тебе навстречу,
Деревья шепчутся, и их прекрасны речи,
И странно: мир свободен... от меня.

¹ Жааніраев (Яанипяэв) — Иванов день.

Станислав Славич

Гараж для лошади

Повесть

Накануне вечером в одной из забегаловок Приморского парка случилась разборка между местными и приезжими. Трудно сказать, были то просто крутые ребята, которые погрызлись из-за пустяков (девки, неосторожно брошенное слово, показавшийся обидным смех за соседним столиком), или выяснявшие отношения молодые бизнесмены (Господи, что за шушера!), но была стрельба, а в кустах остались два трупа. Местных парней.

А наутро в городе началась охота за черными. Эти стычки в последнее время неизменно получали такой оборот. Объяснить его на обыкновенном житейском уровне нетрудно. «Кавказские гости», которые приезжали сюда и все прочнее стали пускать корни, были явно не лучшими представителями своих замечательных народов, держались обособленными, сплоченными группами, чуть что — демонстрировали, наверное, не без причины, готовность дать отпор; располагая деньгами, стали завсегдатаями злачных мест и вели себя — в маленьком городке это особенно бросалось в глаза — нагло.

Все так, но, когда по улицам заметалась хмельная, с остекленевшими глазами толпа эдаких мстителей, тоже отнюдь не лучших представителей местного населения, на душе стало пакостно.

Правда, мгновенно сработал «беспроволочный телеграф»: на рынке и в ларьках, где торговали кавказцы, стало пусто. На всякий случай исчезли и продававшие овощи корейцы. Этими руководил инстинкт: если кого-то бьют — спрячься. Потому что обязательно достанется и тебе.

Толпа — не очень, впрочем, многочисленная и сплоченная — ринулась к гостиничке при рынке, которую по привычке называли «Домом колхозника», но ни чернявых постояльцев, ни их машин с номерами из ближнего зарубежья уже не застала. На набережной схватили двоих смуглолицых, но те оказались сирийцами, и их — ничего не понимающих, перепуганных — отпустили с извинениями.

А вскоре прибыл ОМОН. Крепкие мужики. Вместе с хилыми и недомерками из местной милиции они и процеживали публику возле рынка, автовокзала, в центре и на выездах из города.

Но все это, с подробностями, стало известно позже, а утром, когда Илья Борисович засобиравшись в город, дочка, которая только что вернулась с базара, сказала:

— Посидел бы ты лучше дома сегодня.

Илья Борисович не ответил — с дочкой в очередной раз был в ссоре, — но суть понял: боится, как бы папану тоже не приняли за «черного».

Видя, что он все же собирается, сказала:

— Тогда хоть ленточки свои нацепи...

Славич Станислав Кононович — прозаик, публицист. Родился в 1925 г. в г. Харькове. Ветеран Великой Отечественной войны. Автор двадцати книг прозы. В разные годы печатался в «Новом мире», «Октябре», «Радуге» (Киев).

Повесть «Гараж для лошади» была написана в 1994 г. и опубликована в крымском журнале «Берега Тавриды» (1997).

Живет Станислав Славич в Ялте (Крым).

Тут не выдержал:

— «Ленточки»... «Нацепи»... Куда цеплять? Прямо сверху на плащ — чтобы каждый видел?

Наградные планки он не носил, и дочка это знала. Его, Илью, раздражало — да почти оскорбляло — обилие послевоенных, но так или иначе связанных с войной юбилейных наград, словно бы всех уравнивавших. В самом деле, ему орден Отечественной войны в сорок третьем стоил крови, а сосед получил его в восемьдесят пятом к юбилею Победы только потому, выходит, что дожил до круглой даты. Медаль «За отвагу», ценимая, что ни говори, на фронте, сейчас в этой россыпи вообще как бы затерялась.

А кто понимает теперь, что значило для рядового матроса получить орден Красного Знамени! И каково было видеть после войны, как одну из почетнейших боевых наград раздают просто за выслугу лет... Но ничего, скоро все это окончательно — вместе с настоящими и липовыми солдатами и маршалами Великой Отечественной — уйдет в прошлое, канет в историю, как канули отличия и награды прежних, старых армий, которые можно видеть только в коллекциях и до которых нет теперь дела никому, кроме скупщиков.

Рано или поздно это — понимал — должно было случиться. Однако не думал, что почти одновременно канет в прошлое и целая эпоха, которую можно называть как угодно — позорной, героической, ублюдочной, славной, — но она была нашей, нашей, и от этого никуда не деться, не уйти, не спрятаться.

Что и говорить — хреново мы уходим. Посрамленные и раздавленные.

Особенно навязчивой эта мысль стала после очередных похорон — встречаться-то приходится чаще всего на похоронах.

Покойника не любил, но смерть *расчищает счета*, и он пришел к траурному залу с несколькими цветочками. Возле гроба шла суета. Кто-то удивлялся, что покойник не похож на себя. Но долгая болезнь и смерть в самом деле преобразают человека. К тому же знающие люди объяснили, что семья выложила немалые деньги, чтобы его подгримировали — теперь-де оказывают и такую услугу. «А волосы? Откуда волосы?» Усопший-то был лыс, а тут полно волос — не прилепили же ему волосы... «Не городите чепуху, посмотрите лучше на костюм — это же его костюм». И точно. Синий в полосочку.

Однако пришли жена с дочкой и подняли крик: костюм надели на чужого. Пришлось срочно забирать гроб в мертвецкую и переодевать холодные трупы. Перепутали после пьянки. Черт знает что...

И опять разговор вполголоса, вынос тела, венков, наград покойного (почти сплошь юбилейная медь) на засаленных, как заметил Илья Борисович, от частого употребления красных атласных подушечках...

Словом, пусть этими цацками щеголяют завсегдатаи очередей и старики-гардеробщики в ресторанах — одним меньше придется стоять за молоком или хлебом, а другим больше перепадет чаевых. И вот дочка советует ему самому нацепить планки, чтобы ненароком не поколотили сопляки, которые мечутся сейчас по городу...

Облава как бы высвечивает каждого в толпе. Происходит некая поляризация, и все чужеродное оказывается на виду. Пистолет не выбросишь, толпа отшатнется и от этого пистолета, и от тебя — оставит в пустоте под волчьими взглядами облавщиков.

Однако это из собственного давнего опыта, а тут было по-другому. Вообще все, происходящее сейчас, напоминало фарс, пародию на то, что происходило раньше. Но если прежнее, состоявшееся, в силу того, что оно уже состоялось (и обратного хода нет), принималось как данность, как факт истории, от которого никуда не денешься, то сегодняшнее раздражало, казалось — а может, и было — необязательным и часто диким, бессмысленным, глупым. Хотя люди страдают и кровь льется по-настоящему.

Город и впрямь был словно в осаде. И мысль об облаве возникла отнюдь не случайно. Правда, в сорок третьем все было неприкрыто и явно. Родной ОМОН, что бы о нем ни говорили, не сравнить с фельджандармерией, которая одним своим видом устрасала. Впрочем, и там и здесь, как показал опыт, попадались ребята с

лендой. Сейчас с высоты прожитого приходится констатировать: без этого, видимо, нигде не обойтись. Можно скрупулезно планировать что угодно — облаву, реформу, работу, боевую операцию, деловую, дружескую или любовную встречу, ограбление банка или восхождение на Эверест — в половине (если не больше) случаев неизбежна пробуксовка, вызванная чьей-то необязательностью или просто ленью.

...Та — давняя — облава возникла внезапно. Только что вроде бы ничего не было. Толпа — продавцы, покупатели, русские, татары, несколько полицейских с нарукавными повязками да румын, выделявшихся своей униформой цвета куриного помёта, — медлительно клубилась на пяточке перед рынком, когда вдруг с нескольких сторон с ревом ворвались машины, и все было оцеплено жандармами.

Предусмотреть это было невозможно, и все-таки Илья чувствовал себя виноватым — черт понес на базар! А это был их первый выход в город с Пионером. Илье доверили роль страхующего и проводника. Подстраховал. Привел.

Тогда-то и возникло это чувство одиночества в толпе. Они с Пионером были как крупинки золота (скажем так) в песке, который промывает умелый и зоркий старатель.

Тогда же поднялось откуда-то из средостения, из паха отчаяние, припомнившееся сейчас: пистолет (ребята были вооружены) не выбросишь — ускорившая свое кружение толпа мускулисто, упруго сожмется, отшатнется, оставит голенькими под зыркающими туда-сюда мордочками жандармских автоматов.

Илья понял, что пришел его час. Мотнул головой — давай, мол, за мной — и бочком, бочком рванул проходными дворами в сторону Слободки.

Действовал отчаянно и нагло. Сам от себя такого не ожидал. Хотя чему удивляться? Сработали молодость и желание жить.

Сейчас, увы, не было ни того, ни другого. Омоновец в камуфляже, почти не глядя, кивнул: проходи, дед. Никому не интересен. И не нужен.

А тогда с ходу напоролись на полиция в узком проходе между домами. Илья, не останавливаясь, прорычал: «Молчать, сука! Иначе перебею всю твою кодулу...» Цыганская физиономия его была, должно быть, страшненькой, да и сам чувствовал, как ее свело какой-то сумасшедшей то ли судорогой, то ли гримасой. Полицай вжался в стенку спиной, прижал карабин к груди обеими руками и выкатил шары от ужаса. Признаем, впрочем: устрасила его не только физиономия Ильи — действовало понимание того, что приближается фронт, а значит, и необходимость отвечать: где был? что делал? на кого, сучий потрох, поднял оружие? Еще неизвестно, чем бы это кончилось, случись такая встреча, скажем, полгода назад, когда фронт был далеко, на Кубани...

Дальше перебежали улочку, перемахнули через каменный забор на крышу сарая, прыгнули во двор, и тут Пионер, подвернув ногу, захромал. Только этого не хватало!

По опыту Илья знал, что облавой на рынке дело не кончится.

Документы вроде в порядке, оружие можно спрятать... «Нет», — покачал головой Пионер, как-то нехорошо, вымученно то ли морщась, то ли улыбаясь. Удивительно, как в такие моменты начинаешь угадывать мысли друг друга. «Нет», — согласился Илья. — Без оружия оставаться нельзя».

Как подробно все вспоминается! Так напоминает о себе мозоль в давно ампутированной ноге. Отчего бы это? Уж не потому ли, что время опять повернуло на войну?

Когда-то казалось — дошел своим умом, — что на долю каждого поколения непременно выпадает одна великая катастрофа со своими испытаниями, потрясениями, смертоубийством и голодом. Но — одна. Пережил — и все. У наших, теперь уже покойных, стариков это была революция со всем, что за нею последовало, у нас самих — война. И вот теперь понял: так хотелось думать, и не более того. Потому душа и смирилась с пакостной жизнью, зависимостью от сукиных сынов, которые сами окрестили себя умом, честью и совестью народа, страны, да и всей эпохи. Хотелось если не свободы, то хотя бы покоя, а покой какой-никакой (если не высываться и не думать о том, что тебя лично не касается) вроде бы был. Из войны выкарабкался, пенсию получил, крыша над головой имеется, хлеб хоть и закордонный, привозной в продаже есть — и никаких потрясений больше не надо. Упаси нас Бог от них и помилуй!

Родилось даже представление — сам не раз слышал, — что никогда еще не жилось так хорошо, как при Брежневе. Рассказывали, конечно, анекдоты про новоявленного Ильича и байки про его вороватое окружение.

Умники говорили также, что проедаем-де природные богатства, обкрадываем будущие поколения, своих внуков и правнуков. Кто, однако, слушал эти рассуждения? На кого они действовали? Сами-то живем один раз, и это главное.

Лишь бы не было войны! Имелась в виду Большая война. Малая давно шла, но ее будто сговорились не замечать. Лишь бы не выпало нам — и ведь не должно выпасть! — новых испытаний.

Дожив до старости, ты рассчитывал, что уже отстрелялся, отвертелся от великих потрясений? Дурачок.

...Двор, помнится, был маленький, замкнутый; в него выходил единственный подслеповатый одноэтажный дом татарской постройки. Под прямым углом к нему примыкали с одной стороны кухня, с другой — сарай.

Калитка в огород, где торчат будылья обломанного табака и подвязанных к колышкам пожухлых помидорных кустиков. За огородом на склоне заросли грабинника, держидерева и мелкого порослевого дуба. Дальше — кладбище, а там и до леса недалеко...

Что делать? А неподалеку уже ревел грузовик, преодолевая подъем, — облава приближалась.

Из дома вышел старик-татарин в надвинутой на брови барашковой шапочке. Демонстративно не глядя на ребят, как бы не замечая их, снял замок с сарая и тут же вернулся в дом.

Спасибо, дедуня. Илья приоткрыл дверь и заглянул в сарай. Кроме штабеля дров и нескольких вязанок хвороста в нем неожиданно оказалось аккуратное маленькое стойло, где мирно жевал сено, помахивая хвостом, ишачок.

И вспомнил: встречал старика с этим ишачком. Торговал хворостом на базаре. Никаких дел с ним не имел — это точно.

Не хотелось думать дурное, однако мелькнуло: и на старике сказало приближение фронта? Высунул бы он нос из дома, ну, скажем, год назад, когда немцы, покончив с Севастополем, перли на Сталинград? Впрочем, мысль могла быть и несправедливой — что он знает об этом старике?

Послышался выстрел. Выхода не было. Махнул Пионеру: давай сюда.

В конце концов все обошлось, хотя и непросто. Впоследствии было что вспомнить. И как во двор ворвались немцы. Их было трое с переводчиком. Всего три человека, а сколько шума, ора, грохота! Вообще способности немцев орать, их беспардонности, уверенности в том, что им все дозволено, все можно, и тому, как они сразу скисали, ломались, попадая в плен, и совсем скисли, когда Германия была оккупирована, Илья не переставал удивляться. Иногда казалось, что те немцы и нынешние, прогуливающиеся по набережной интуисты принадлежат к разным народам. Отчасти так оно и есть. Однако многое и от взгляда, от собственного отношения зависит. Да вот простой пример: покупаешь вещь — цена ей одна, продаешь — совсем другая. В первом случае кажется дорого, во втором — дешево. Или тот же цвет — сам подумал о румынской униформе: «цвета куриного помета». О немецкой писали уничижительно: мышиного цвета. Очень похоже, между прочим. Ну и что? Сами румыны говорили: табачного цвета, а немцы: оливкового. И тоже правильно. Очень хочется каждому выглядеть красиво.

А не такие ли и мы сами? Тоже ведь хватало беспардонности и тоже ломались. Какими вошли в Германию и какими — цвета какого помета? — уходим...

Ворвавшись во двор, немцы кинулись к дому. Навстречу вышел старик.

— Есть кто-нибудь чужой?

— Не видел.

Подумалось: не может твердо сказать — никого нет.

— Есть или нет?

— Все равно не поверите. Ищите.

А ведь если найдут, деду не поздоровится.

Двое зашли в дом и почти сразу вышли. Третий, заглянув в кухню, открыл дверь сарая.

В дверной проем просунулся шмайсер и повертел мордочкой, будто приносившаяся. Это были, пожалуй, самые скверные мгновения.

Они и спрятаться толком не успели. Да и негде было. Илья присел за старыми ящиками, а Пионер прикрылся вязанками хвороста. Даже сейчас — стоит вспомнить об этом — жуть берет. Тот случай Илье долго потом время от времени снился, и всякий раз это был кошмарный сон. Немцы-то в таких случаях, даже изрешетив трупы, обязательно их потом все-таки вешали на всеобщее обозрение. Демонстрировали качество работы.

Вместо того чтобы осмотреть сарай, прошить на всякий случай очередью из шмайсера и эти ящики, и вязанки хвороста, немец разинул варежку на осла, который продолжал безмятежно хрумкать сеном. А под конец вывалил свою штуку и стал мочиться. Это вызвало неожиданное веселье солдата. Неожиданное, потому что в надвинутой на лоб каске, с бляхой полевой жандармерии на груди и с автоматом он выглядел сурово и грозно — бездушная машина, а не человек. А тут гляди: совсем молодой парень, сверстник того же Пионера или, во всяком случае, не старше самого Илья. Благодаря выразительным жестам то, что он, захлебываясь от смеха, орал своим товарищам, в переводе не нуждалось.

Где-то опять грохнул выстрел, и немцы бросились со двора.

Эта история имела несколько продолжений. Года полтора спустя, попав после ранения снова в город, Илья, как только представилась возможность, пришел сюда. Вернее добрался из госпиталя до рынка на попутных машинах и уже оттуда приковылял на костылях. Честно говоря, сам не понимал зачем. Дом, двор или сарай не интересовали. О том, что татар выслали, знал. Уж не с иском ли собирался встретиться (его, небось, не тронули)? Или надеялся на чудо?

Во дворе, развешивая казенное белье, галдели две русские бабы из армейской прачечной, будто старались перекричать уличный репродуктор, укрепленный по соседству на столбе; дверь сарайчика, скособочившись, висела на одной петле, окно кухни заколочено фанерой; неухоженная виноградная беседка разлохматилась и одичала... — как быстро все паршивеет без хозяина!

Тогда подумалось: его-то, этого старика, зачем? Обреченно-спасительно мелькнуло: лес рубят — щепки летят... И под самый конец: интересно, кто были те его домашние, жизнями которых старик, что ни говори, тогда рисковал? Женщины, наверное, и дети.

Жить в этом краю и не возвращаться хотя бы мыслями к татарам было невозможно. Поражали иной раз оголтелость и злобность, с какими говорили о них, причем чаще всего люди, которые с татарами никогда не сталкивались. В последние годы, после реабилитации, злобность неожиданно даже возросла, так что вначале возникло догадкой, а потом укрепилось: а ведь это идет сверху, от властей. Зачем им это?

Да вот как-то дочка сказала: «Витальку сегодня в садик не веди. Если хочешь, отведи к свекрови — я с ней договорилась». — «Что случилось?» — спросил Илья. Дочкины фокусы с ребенком его давно раздражали. Она ведь Витальку и в Дом малютки — для подкидышей! — пыталась как-то спихнуть. Тогда Илья, разъярившись, даже руку поднял на нее. (Интеллигентная семья, что и говорить...) Завизжала в ответ: «Ты что — с ума сошел?! Не навсегда же — на месяц. Я с девочками договорилась...»

Со всеми она договаривается... А причиной был бурный роман с каким-то заезжим проходимцем. Потому и теперь не поверил: «Что случилось?» — «На работе сказали — и по городскому радио об этом объявили, чтоб маленьких детей в школы и садики не пускали: татары, говорят, замышляют какую-то провокацию...»

Поинтересовавшись, узнал: такое предупреждение и в самом деле было. Бред какой-то. Но кому-то он нужен...

Только к концу следующего дня они с Пионером почувствовали себя в относи-

тельной безопасности. Еле-еле добрались до леса. Спасибо старику — в прежней своей манере, ни слова не говоря, принес, когда стемнело, лепешку и кусок грубой ткани перевязать ногу. К счастью, ни перелома, ни вывиха не было. Пионер просто потянул связку.

Почти сутки спустя оказались наконец где-то в районе расположения отряда. Вечерело. Притихший лес был торжественно мрачноват. И вдруг Пионер отшвырнул легионовую палку, на которую опирался, и заорал веселым дурным голосом:

На окне стоят цветочки —
Голубой и аленький —
Никогда не променяю
Х... большой на маленький!..

Хохоча, он повалился на землю, устланную бронзовыми буковыми листьями, и, выразительно сжав кулак, согнув руку в локте, повторил давешний непристойный жест немца.

До чего простодушный малый!

— А он и сейчас такой, — говорил — уже вечером — Федор Чумаков-младший. — Перед выборами пришел корреспондент и спрашивает: как вы относитесь к новой власти? «Жулики и мерзавцы, — говорит. — Воры. Разграбили страну. Откуда у них за два всего года взяли "мерседесы", трехэтажные дачи, личные охранники и миллионы в валюте? Раньше хоть боялись, что из партии могут выгнать, и тогда конец карьере, а сейчас не боятся ничего, даже наглеют. Половину перестрелять надо...»

Илья, слушая, ухмыльнулся: «перестрелять» — это было знакомо. Он и тогда в лесу, проорав частушку и отсмеявшись, вдруг брякнул:

— Ты хоть знаешь, что я чуть было не застрелил тебя?

— То есть как? — не понял Илья.

— «Как, как...» — передразнил Пионер. — Как обычно. Пиф-паф, ой-ой-ой — умирает зайчик мой. Ну, думаю, гад, все равно первым застрелю...

...Илья Борисович не переставал удивляться голосу гостя: до чего же он похож у Чумакова-младшего на голос его деда Федора!

Вот и сегодня стеклил утром форточку на веранде (накануне вечером забыл закрыть и ее разбило ветром с моря), когда раздался звонок и следом — знакомый голос:

— Илья Борисович? Вас приветствует Федор Чумаков-младший. Докладываю: прибыл во вверенный вам населенный пункт и собираюсь нанести визит сегодня вечером. А пока передаю пламенный пионерский привет...

«Пламенный пионерский» передавался не даром: кличка Федора-старшего в разведке была «Пионер».

...— За что? — изумился Илья, продолжая глупо — надо признать — улыбаться. Он был будто под хмельком от усталости, голода, но главное — от успеха: выбрались, выпутались! Спасибо, старик помог, и ослик так кстати оказался...

— Когда немец заглянул в сарай, я подумал: все, заманили суки, чтобы взять живьем. Этого хитрована — тебя то есть — первым, думаю, пришью. А там — что Бог даст. Ну, думаю, проводник, попутчик попался... Ну, ничего, думаю, на тот свет вместе отправимся. Даже гранату приготовил. — Пионер достал лимонку. — Но теперь — все. Тоже мне, советчики: ты-де приглядывай за ним. Чужая душа, мол, потемки. Хрен их знает, чего они под немцем нанюхались. А мне дело делать, воевать надо, а не за своими приглядывать!..

Вот так. «Нанюхались» — это почему-то особенно запомнилось. Такая тоска! А обижаться бесполезно. На кого? Знакомые слова. Подлое время. Однако мог бы и не говорить...

Сейчас, правда, подумалось о странной направленности этого свойственного нам простодушия — готовности поверить черт знает во что и особенно во все самое

темное, самое дурное в другом человеке, в других людях. И речь тут не только о Пионере, не столько, вернее, о нем и даже вовсе не о нем, потому что Пионер показал себя в конце концов рассудительным и здоровым парнем, но обо всех нас или, по крайней мере, о большинстве. Вот уж действительно за годы советской власти нанюхались. Дурача, обманывая весь свет, перестали верить самим себе.

— А він що, ваш Піонер, за комуняками сумує?

Это впервые по-настоящему вступил в разговор (после того как пропустили по паре рюмок и закусили, расслабились, решили перекурить) второй гость, очередной друг дочери, представившийся месяц назад как Зиновий Илькович (то есть Зиновий Ильич).

Юниор посмотрел на всех с веселым удивлением, а Илья Борисович счел нужным перевести:

— Пан Зиновий спрашивает, не тоскует ли Пионер по коммунистам.

— Передайте пану Зиновію: ну, сэр.

...Пионер как раз понял что к чему раньше многих. Помнится, еще в восемьдесят пятом, когда на сорокалетие Победы собрались в Севастополе и никто еще не сомневался, что Севастополь — город русской славы, а партия — наш рулевой, Пионер после возложения венков к памятнику Ильичу задумчиво сказал, ни к кому не обращаясь, но довольно громко, что знай он в свое время то, что знает сейчас, никогда бы в эту партию не вступил.

И что удивительно: весь этот бардак — вчерашний и сегодняшний — и есть, оказывается, история, которую будут потом изучать, объяснять, раскладывать по полочкам и т.д. Вот и сейчас возник вполне исторический вопрос — об отношении к коммунистам. И ответа требуют прямого, как палка от метлы: вы за или против?

А парень (это о Федоре-младшем) ладный — все ему к лицу.

Прошлый раз видел его лохматым, в рубашке не застегнутой, а завязанной узлом на животе, в потертых, драных джинсах, шлепанцах на босу ногу — хиппи. И был хорош. И был удивительным образом похож на деда, который, однако, сам никогда не был лохматым и растрепанным. А теперь — подстрижен, в галстуке, даже при жилетке, брюки со стрелкой, ботинки наверняка немецкие или австрийские. И соответственно уверенно-спокоен, рассудителен. Словно почувствовал отношение самого Ильи Борисовича к «пану Зиновію», нашел способ слегка поддеть пана...

Копия тех молодых да ранних, которых каждый день показывают по ТВ. Или только хочет казаться таким? И все равно похож на деда, который, кажется, ни разу в жизни галстука не надел, а уж о жилетке и подавно не имел понятия.

Впрочем, что есть, то есть. Молодость. У нас был свой шик — тельняшка, клеш, а на фронте — трофейный вальтер или парабеллум, у этих — свой. Мы были по-своему жесткими ребятами, эти — по-своему. Когда-то шпана щеголяла в сдвинутых гармошкой прохорях, сейчас — в пестрых кроссовках.

— Ну хорошо, — вроде бы согласился, улыбаясь, перейти на русский Зиновий Илькович, однако не до конца согласился: — Хай буде так. Но стрелять зачем?

— Тут дед погорячился, — признал юниор.

— А сам ты не из тех, в кого он собирается стрелять? — не без ехидства спросила дочка.

— Почему ты так решила?

— По упаковочке. — Однако кивнула при этом не на него самого, не на «упаковочку», а на «Мальборо», которые Федор положил на стол. Сама она курила феодосийский «Золотой пляж», а Илья Борисович и вовсе самые дешевые — «Приму».

Эта неожиданно свалившаяся бедность, ставшие пустыми бумажками деньги, отложенные на старость, болезни и похороны, нищенская, когда-то копеечная, а сейчас тоже едва доступная «Прима» на фоне, так сказать, американских «Мальборо», которые курят какие-то шустрые сопляки, раздражали до озлобления. И в вопросе дочери Ильи Борисович тоже почувствовал злость. Подумал: сейчас начнется обычный наш бесплодный треп. Убедить или переубедить друг друга невозможно. Да такую цель — убедить — никто и не ставит, она недостижима — стараются лишь уязвить побольнее.

Похоже, что юниор хотел было что-то возразить, но передумал, перевел разговор на другое:

— Что у вас за заварушка в городе сегодня была?

— Черненьких гоняли, — с непонятным вызовом («Чего это она?») ответила Галина.

— Не треба так, — подчеркнуто веско сказал Зиновий Илькович, и дочка это молча, что было ей несвойственно, проглотила.

Илья Борисович мысленно согласился: в самом деле — не надо. Но, с другой стороны, глядя на кавказских («кавказской национальности») молодцов — нагловатых, трясущих мощной и полных презрения к аборигенам, — как было не подумать: а ведь в сущности это дезертиры. Послушать любого — все отчаянные патриоты. И в то время, как дома неспокойно, идут войны, провозглашенные национальными и освободительными, они разбежались по окрестным базарам. Сукины сыны. Однако масть тут, конечно, ни при чем. Не дай Бог, случись такое здесь, многие любители «Мальборо» «местной национальности» тоже разбегутся. Да уже разбегаются. Нет-нет, оговорился мысленно, к Федору-младшему это не относится.

— Я, дядя Илья, проходил по набережной, заглянул в магазин-салон, вижу — две ваши работы висят... Значит, есть еще порох, идет дело...

Милый парень, хочет хоть за что-нибудь приятное в разговоре зацепиться, а тронул, сам того не ведая, наболевшее...

— Полгода висят и с каждым месяцем дорожают. Это картины старых мастеров набирают цену, как вино, с возрастом, а тут другое дело — инфляция...

Два этих пейзажа Илья написал незадолго до смерти жены и назвал: один — «Предчувствие», а другой — «Одиночество». Названиям не придавал значения, считал, что они так же необязательны, как «программа» в музыке. Да и пришли эти названия уже потом, когда дело было сделано. Писал, мучаясь и чувствуя свое бессилие выразить то, что хотел, чем был полон.

«Предчувствие» ему самому было ближе и дороже. «Моделью», натурой послужил жестокий сиренево-красный закат (солнце спряталось за горами), увиденный однажды, когда возвращался из больницы, уже зная о близкой кончине жены. От себя привнес только кусочек моря в левом углу — цвета подернутого пленкой расплавленного свинца. Правый угол с горной расселиной был затуманен.

Никакого особенного смысла изначально в это не вкладывал. Никаких претензий. Старый человек — ему ли пытаться выпрыгнуть из штанов!.. Просто были тоска и безысходность. Но сам по себе возник некий намек. И в книге зрительских отзывов на местной выставке какой-то приезжий питерский (тогда еще — ленинградский) любитель живописи, восторженно написав о картине, усмотрел в ней пророческое (!) предчувствие художником грядущих бед, которые ждут всех нас. Скрытая туманом горная расселина напомнила ему стихи из Дантова «Ада», где говорится о входе в потусторонний мир. Он даже процитировал эти строки.

Шут его знает, что за человек был этот питерец, какой смысл вкладывал в свои слова и как относился к начавшимся уже переменам, но Илье Борисовичу никогда раньше не приходилось читать о себе такое. И хотя, захлопнув книгу отзывов, скептически усмехнулся, конечно же был польщен.

Между тем слова питерского незнакомца о предстоящих бедах тут же начали сбываться. На беду это, правда, не тянуло, но воспринялось как серьезная неприятность: оба пейзажа были напрочь зарезаны начальством при отборе работ на престижную московскую выставку. Главный местный идеолог сказал: «Вы что — с ума сошли? С таким пессимизмом в Москву, на юбилейную выставку, посвященную семидесятилетию Великого Октября? Это же додуматься нужно!..»

Промолчать бы, и в прежние времена скорее всего промолчал бы, но теперь не выдержал: «Слова "пессимизм", "марксизм", "коммунизм" надо произносить так же твердо, как маразм или клизма...» — «Не понял», — сказал идеолог, однако стал наливать кровью — видно, от кого-то уже слышал об этой их дурацкой манере говорить «марксизм» и «коммунизм». Болван. Илья Борисович встал и, тяжело ступая протезом, вышел из кабинета с твердой решимостью никогда больше ни в этот кабинет, ни в сам горком родной коммунистической партии не заходить.

Тогда же хотел обе вещи забрать, но кто-то из свободомыслящих коллег сказал: «Мы их в своем магазине-салоне на набережной выставим». — «Но я не хочу продавать!» (тогда еще мог себе это позволить) — «Да мы такую цену заломим, что никто не подступится. А увидит не меньше народа, чем в Москве».

И в самом деле, зачем забирать — чтобы поставить дома лицом к стенке?

— А чи не варто врешті-решт майстрові пензля повернутись обличчям до Києва?..¹

— Это что — деловое предложение или риторический вопрос? — обнаружил вдруг понимание украинского языка и деловую хватку юниор.

...Какое к черту предложение! Что он может предложить? И потом эта манера выписывать кренделя: «майстер пензля», «повернутись обличчям до Києва»... Конечно, «до Києва»...

Странная публика эти национально-озабоченные. Нет, речь не об ингушах, татарах или турках-месхетинцах, которые маются до сих пор после высылки, не о евреях, которых Гитлер убивал, а Сталин преследовал только за то, что они евреи. Этим просто не дают забыть, кто они. А вот когда озабоченность культивируется, усердно взращивается, становится смыслом жизни, но, кроме комплекса неполноценности, не имеет под собой ничего или почти ничего, это уже, ей-богу, болезнь.

В конце концов, каждый чувствует себя кем-то — русским, украинцем, грузином. Ну и будь им! Кто тебе мешает? Особенно сейчас. Но просто чувствовать, оказывается, мало — есть потребность в самоутверждении, в преодолении препятствий, и тогда иной раз не брезгают даже тем, что сами эти препятствия создают или выдумывают.

— Кто-то, может, и выдумывает, — неожиданно легко согласился в один из первых разговоров пан Зиновий. Тогда он искал, по-видимому, сочувствия и поддержки. — Кто мешает русским ощущать себя русскими? Но им этого мало, они должны чувствовать себя старшими и повсюду — от Карпат и Прибалтики до Кавказа, Памира и Курил — самыми главными. А Карпаты, Балтия и Курилы — не русская земля. Не русская!

Спорить — пустое дело! — не хотелось, да и не стоило. Хотя бы ради дочки. Зиновий Илькович подкупал солидностью и серьезностью в отличие от прошлых ее дружков. И все же Илья Борисович невольно подлил масла в огонь:

— В такой же степени, как Крым — не украинская земля.

Но с этим уже пан Зиновий никак не хотел согласиться.

— Похоже, — посмеивался Илья Борисович, — что из всех решений советской власти вы готовы принять только одно — о передаче Крыма Украине...

Явно не лишенный чувства юмора пан Зиновий тоже улыбался:

— Пожалуй.

Беда этих национально-озабоченных в зашоренности. Для них во всех прошлых и нынешних несчастьях виновата Москва. Услышав это снова и снова, Илья Борисович как-то спросил: а почему не Питер — Октябрьская революция все-таки там произошла; почему не Брюссель, где был написан «Коммунистический манифест»? Зиновий Илькович дал понять, что вполне оценил это лукавое, деланное простодушие, но мы-то, дескать, говорим о другом.

О другом. Илья Борисович отнюдь не жаждал его переубедить. Это было невозможно. И обращался он в тот раз не к пану Зиновию, с которым все было ясно, а к дочери — она возилась на кухне, дверь, однако, оставив открытой...

Господи, как он радовался когда-то рождению детей, хотя время — всегда и тогда тоже — было трудное. Воспринимал их появление как символ устойчивости бытия, как знамение того, что жизнь поворачивается к лучшему. Они давали толчок: надо вкалывать, зарабатывать, позабыть о ранениях и хворах. Даже так было: когда в очередной раз подошло время идти на комиссию, чтобы продлить инвалидность (будто нога могла заново отрасти!), плюнул на эту грошовую пенсию, не пошел. И, кстати, не один он так сделал. (Сравнительно недавно военная пенсия стала подпо-

¹ — А не стоит ли в конце концов мастеру кисти повернуться лицом к Киеву?..

рьем в нищете, и целый год пришлось бегать, трясти справками, чтобы восстановить ее...)

Пан Зиновий торжествовал. На первых порах он держался несколько даже загадочно и как бы давал понять, что прибыл сюда, на Юг, с некой миссией. Несколько раз довелось слышать его по местному радио. Говорил о том, каким великим человеком был гетман Иван Мазепа и как оболгал его стоявший на имперских позициях Пушкин. С ума сойти! А о Гоголе, что это украинский писатель, который писал по-русски, потому что имперский гнет не позволял пользоваться родным языком.

Другой раз объяснял, что украинцы — арии, потомки легендарных киммерийцев и скифов и являются коренным населением Крыма...

Получалось, что Галина — едва ли не главный миссионерский трофей Зиновия Ильковича.

Илья Борисович поначалу только растерянно улыбался. Трофей — только миссионерский ли? Он знал дочку и ей самой говорил, что она-де — душечка. Да-да, та самая, которая в зависимости от предпочтений мужика с одним будет блондинкой, а с другим перекрасится в брюнетку. Поразительная приспособляемость.

И потом он подозревал в дочке какой-то изначальный то ли изъян, то ли порок: ни с одним мужиком прочные отношения не получаются. Сначала они вроде бы клюют на нее, разворачивается иной раз нешуточный роман, а в конце остается с носом. При том что неглупа и недурна.

Жаль было внука. Каждого нового маминого друга он тут же начинал называть папой. С паном Зиновием, правда, получилась осечка, которая, видимо, заставила пацана о чем-то задуматься. Настоящий его отец года три как умотал куда-то и не писал даже матери (если сваха, конечно, не врет).

...Словом, спор шел с дочкой. И надо признать: не столько с нею самой, сколько за нее. Впервые испытал нечто похожее на ревность, почувствовал унижительное бессилие, был уязвлен. Ведь дошло черт знает до чего. В последнем выступлении по радио этот «арий и потомок киммерийцев» углубился в различия между украинцами и русскими. Различия — психологические, нравственные, — как понял Илья Борисович, весьма велики. Сравнения были не в пользу русских.

Репродуктор всякий раз включала дочка. На этот раз опоздала и явно расстроилась. Однако самое главное ухватили. Пан Зиновий говорил об агрессивности как черте, имманентной для русских, что не раз подтверждено историей, и о свойственных украинскому национальному характеру толерантности и деликатности. Сейчас то время, говорил он, когда права человека должны отойти на второй план перед правами нации...

— Ты хоть понимаешь, что он несет?

— А что — неправда? — с вызовом ответила дочка. — Тогда докажи это ему самому.

— Ему ничего доказать невозможно. Такие слышат только себя и воспринимают только силу. Потому и сидели до поры, как мыши, а сейчас вылезли из нор...

— Вот именно — как мыши. Но это о нас. А его дважды арестовывали. Последний раз кинули к уголовникам, и те ему почки отбили. Потому и приехал сюда...

Господи! Так вот в чем корень: извечное бабье сострадание. Надолго ли хватит и что из этого получится?

— Да кто бы он ни был — так нельзя. Городить такое может только сумасшедший фанатик или фашист. Ленин отодвигал права человека перед правами, как он говорил, класса, Гитлер — перед правами нации, а что вышло? И этот туда же...

Похоже, однако, что роман на излете. Может, дочку впору пожалеть, а не злиться из-за нелепых расхождений?.. Хотелось бы знать, какой она будет с кем-то следующим, и что это сулит ему, Илье, с Виталькой.

— Да не ломайся ты, бери «Мальборо». Дяде Илье я не предлагаю, потому что он всегда свою «Приму» курил, как мой дед — «Беломор». А ты же барышня с запросами...

— Какая я барышня, не тебе судить, — рассердилась дочка. — Когда я барышней была, ты еще под стол пешком ходил...

— ...А против социализма, — обращался юниор уже к пану Зиновию, — я ничего не имею. Просто мы не доросли до него, превратили в карикатуру. Да мы и до капитализма не доросли...

— А ты?

— Что?

— Ты сам. Торгуешь?

— Обижаешь, добродий, — сверкнул фирменной чумаковской улыбкой Федор-младший.

— Какая обида? Торгуй себе на здоровье. Чумаки, кстати, от которых ваша фамилия пошла, были торговыми людьми.

— Не совсем, — обнаружил свой взгляд на историю юниор. — У чумака могло и ружьишко в возу оказаться. Или возьми другое — Марко Поло и Афанасий Никитин: кто они — купцы или путешественники? Это сейчас торговля испохабилась.

— Смотря где.

— Тоже верно. Есть разные уровни — наш блошинный рынок, толчок и западный супермаркет.

«Ты смотри, какая смена выросла... — не без сарказма думал Илья Борисович. — Все-то они знают... А мы еще говорили: зачем им всем подряд среднее образование?..»

— Базары и за бугром есть, — сказала дочка. — Я вот недавно в Турции была...

— Турция, во-первых, далеко еще не запад, — солидно возразил Федор. — Да и там на базаре только внешний хаос, а внутри, как в муравейнике, все отлажено: поставщики, оптовики, розничная торговля.... Мы со стороны просто этого не замечаем. Даже заваль, всякий бросовый товар, который они нашим дуракам сплавляют, идет по четко организованным каналам: раз, два, три — и гуд-бай, бэби. Мы тебя одурачили, а теперь езжай дурачить своих компатриотов...

— И только так?

— Ну почему? Я же говорю: разные уровни. Были, есть и будут. Во всем. И повсюду. Только у нас не хотели это признавать, любили поговорить о равенстве. А его нет и не было. Разве можно сравнить ту же разведку с пехотой? Даже с морской пехотой, с десантниками, где ребят подбирают один к одному?

— Неожиданный поворот, — сказал Илья Борисович.

— Почему? Разве не правда, что все хотят быть равными. Во всем, кроме риска. А разведка — это готовность каждого идти на риск.

— И нынешние бизнесмены — тоже разведчики?

Илью даже развеселила эта мысль. Хотя, шут его знает, может, в этом что-то и есть. И насчет равенства парень, пожалуй, прав. Речь-то ведь не о равенстве перед законом — перед ним и в самом деле все должны быть равны, — а о притязаниях люмпена во всем быть равным истинному работяге, о презрении — часто демонстративном — невежды к человеку ученому, о правах и обязанностях, наконец...

Почему-то вспомнилось, как орала вульгарная, крашенная тетка с перекосившейся физиономией во весь экран на согбенного Сахарова во время одного из союзных — тогда еще — съездов. А до нее (или после?) тоже орал безногий парень-«афганец»: как-де старик посмел усомниться в справедливости войны, которую вел советский народ против душманов?! И пафос, пафос, с каким закончил этот несчастный, провозгласив: «Народ, партия, держава!» или что-то в этом роде. Эдакий советский патриот-державник и несгибаемый коммунист. Совсем недавно он опять промелькнул на телеэкране, но уже как поборник украинской идеи...

Что же касается разведки, коль юниор ее зацепил, то поштучно отобранные на кораблях и в батальонах морской пехоты ребята и в самом деле выглядели на фоне пестрой партизанской братии, как команда мастеров рядом с дворовой футбольной командой. Попасть к этим мастерам было и доверием (за что спасибо), и честью (постараемся не подвести), но и смертельно опасным делом.

...— А как ты думаешь: из Пионера мог бы получиться бизнесмен?

— Запросто, — ответил Федор-младший.

Похоже, в его представлении не было дела, которым не мог бы заняться —

притом с наилучшим результатом — дед. Даже завидно делается. Однако тут он ошибается. Деловой человек в нынешнем понимании из Пионера не вышел бы. Совсем другие качества требовались от того, уходящего теперь поколения. Рисковали, но далеко не всегда ради выгоды.

Был случай, когда они с Пионером, уже возвращаясь с задания, на окраине города, всего в сотне метров от первых домов и чуть ниже моста, по которому, скучая, ходил часовой (его хорошо было видно), спустились с дороги к речке. В кустах присели — отдохнуть и осмотреться. И вдруг невдалеке послышалось легкомысленное насвистывание. Сверху от моста по дороге шел, поигрывая стеклом, молодой румынский офицер.

Илья был уверен, что румын их не заметит — слишком он занят был собой, чему-то улыбался, да и укрылись ребята хорошо, — он бы и прошел мимо, но Пионер в последний момент вышел из кустов и сказал:

— Руки вверх!

Сказал негромко, однако ошеломленный румын мгновенно все понял и оценил: сама безжалостная смерть возникла среди бела дня перед ним в облике этого матросика. Офицер, как подкошенный, упал на колени.

Испугался? Был сражен внезапностью? А черт его знает. Для Ильи выходка Пионера тоже была полной неожиданностью. Но ему проявлять чувства было некогда — тут же очутился рядом и быстро снял с румына пояс с кобурой.

Надо было немедленно и бесшумно кончать эту волюнку. Стрелять нельзя — значит, ножом между лопаток. Однако старшим был Пионер — чего он хочет?

Между тем офицерик, увидев, что перед ним совсем молодые парни, взмолился. Вывернул карманы, достал фотоснимок матери. Мешая русские слова с румынскими, просил и заклинал не убивать.

Илья, положив руку на нож, стоял сзади. Ждал. А Пионер вдруг сказал:

— Чеши отсюда.

Румын не понял.

— Катись. Быстро. Давай. Уходи.

Когда офицер, не веря в свое спасение, оглядываясь, скрылся, сами они быстро перешли речку и углубились в лес. Темп задавал Илья, и это был хороший — на пределах возможности — темп. Часа полтора без остановки, избегая троп и редколесья: Илья хорошо знал, что добрые дела чреваты неприятностями, и торопился унести ноги подальше от места этого странного происшествия. Наконец, добрались до маленькой пещеры с источником среди скал. Вход в нее прикрывал раскутившийся, темный, как само тысячелетнее время, тис, кое-где усыпанный ярко-красными ягодами.

Теперь, когда опасность миновала, Илья спросил:

— На хрена он тебе понадобился?

Ответ был потрясающим:

— А чего он — идет и еще насвистывает...

— А отпустил зачем?

Ответил неохотно:

— Да так просто. Война-то кончается.

Вот и пойми его. Впрочем, понять можно — было бы желание. Пожалел. Илье почему-то это показалось крайне важным.

— Дай я обниму тебя, дурака...

Уклонился:

— Что — больше некого?

Этот случай обозначил нечто новое и трудно определяемое в их отношениях. Илье показалось, что Пионер не хотел, чтобы об этом узнал еще кто-нибудь. Никто и не узнал.

— Невже ми такі, на ваш погляд, недолугі?¹

¹ — Неужели мы, на ваш взгляд, так нелепы?

— Не понял, — сказал — на этот раз вполне искренне — юниор, и оба посмотрели на старика.

Переводчик им понадобился. Но Илья Борисович и сам не все понимал. Язык, на котором изъяснялся Зиновий Илькович, заметно отличался — и словами, и оборотами, и даже интонацией, произношением — от знакомого ему украинского языка. Ничего, разберутся. И верно — разобрались.

— Нет, это вы сами любите изображать из себя наивных, угнетенных и несчастных — все вас обижают... А там, где хохол прошел, даже еврею делать нечего...

Илья Борисович хмыкнул: ну это еще как сказать...

— Чего вы пар в свисток пускаете? Незалежность, незалежность, карбованець...

— Карбованець, — поправил пан Зиновий.

— Один хрен — бумажка, она и есть бумажка. Я вот приехал с рублями и чувствую себя тут почти как американец с долларами. А вы — карбованець, трезуб. Больше делать нечего? Дед, когда увидел по телеку ваш флаг и трезуб, аж затрясся. Полицаи, говорит, при немцах с этим ходили.

— При чем тут полицаи? — в очередной раз вклинилась дочка. — Это украинская национальная символика.

— Постой, ты-то тут при чем?

— Она же у нас стала украинкой, — объяснил Илья Борисович.

— Что значит — стала? — удивился юниор.

— Вот именно, — подхватила дочка. — Почему — стала? У меня мама украинка...

А прежде доченьку в связи с мамой занимало другое. Ее всегда должно занимать что-нибудь еще помимо собственных проблем — такой характер.

Разбирая после смерти матери ее хранившиеся отдельно бумаги, спросила как-то:

— А это что?

Вот именно — «что». Илье никогда прежде не попадалась на глаза эта фотография. Пожал плечами: любительский довоенный пляжный снимок. А дочка посмотрела на отца с оценивающим бабьим любопытством. Просто кожей почувствовал: что-то потерял в ее глазах, опустился на ступенечку ниже.

На снимке его будущую жену Любу по-хозяйски обнимал (а в зубах папироса) крепенький, знающий (или думающий, что знает) себе цену паренек. Рядом, но как бы на втором плане, была другая такая же парочка.

— Это Сережка, — сказал о Любином парне. Сережка явно в той компании верховодил. — А это наши с Любой будущие сваты... — Говоря это, улыбнулся — так не подходило ребятам, почти подросткам, серьезное, взрослое слово «сваты».

И опять в ее глазах появился этот знакомый блеск.

— Ты что — отбил маму у этого Сережки?

— Тебе сколько лет? По-моему, прилично за тридцать, а ведешь себя, как сорока...

— То есть?

— Суешь нос куда не надо.

Хотел добавить, что мы-де в ваши годы... К счастью, удержался. Тоже совали нос и были бесцеремонны. Но в том случае, который теперь вспомнился, и мотивы, и последствия были другими...

После освобождения Севастополя понадобилось вернуться в городок, забрать остатки отрядного имущества. Послали Пионера с Ильей. Воспринималось это как некое поощрение.

Илья ехал с удовольствием: рад был показаться в бескозырке и тельняшке там, где его знали в оккупации пленягой, предстать человеком с фронта. Вспоминая об этом сегодня, спустя почти полвека, понимал: это нужно было, чтобы сбросить липкий и пакостный груз собственной неполноценности после плена. Кто знал, что пройдут еще десятилетия, прежде чем он окончательно от этого избавится.

Но что за время было! По всему Крыму наступила великая тишина. Освобожде-

нием Севастополя война здесь закончилась. Навсегда! Погасли, наконец, пожары, осела пыль от разрывов снарядов и бомб, цвели деревья, травы. Байдарская долина алела маками (и ни у кого это не связывалось с соломкой, с «дурью»). Вот и багряник — иудино дерево — заполыхал, развернул паруса. Пока люди убивали друг друга, природа жила своей жизнью и вроде бы даже отдыхала от людей.

Битая-перебитая полуторка то истошно выла на подъемах, то закипала, как самовар, и тогда в мотор подливали воду из повсюду звеневших майских ручьев. Во второй половине дня до места все-таки добрались.

А хорошо знакомый прибрежный городишко, в котором они до этого действовали почти год, предстал перед ними каким-то унылым. Когда десять дней назад покидали его, отправляясь под Севастополь, городок был охвачен восторгом, ликованием. Еще бы: освобождение, победа! А теперь праздник кончился, начались будни: плохо с едой, плохо с одеждой, плохо с топливом — а с чем хорошо? Впрочем, если по-честному, когда у нас вообще было хорошо?

Но это еще полбеды. А вот подозрительность, темные слухи... Какие-то списки составляются, переписывают татар, болгар, армян, греков. Даже стариков, женщин, малых детей. Зачем? Ответ — массовая депортация, высылка — пришел чуть позже. А тогда вид освободителей просто перестал вызывать безоговорочный восторг, как и вид пленных немцев не вызывал уже только злорадное любопытство.

Возле одного из домов с часовым у ворот встретили знакомую девчонку. Илья знал ее еще по подполью, но и Пионеру приходилось иметь дело с нею, как со связной. Шустрая и отчаянная девица. Тем более странно было увидеть ее в слезах. Ребята успели слегка поддаться и были полны рыцарских чувств.

— Чего разнюнилась? Кто обидел?

Она сперва отмалчивалась, а потом сказала, что замучили вызовами и допросами. Сначала все шло нормально: где, с кем работала? Кто как себя вел? Были ли провалы и кто в них виноват? Потом как-то исподволь возникли вопросы, которые словно бросали тень — особенно на руководителей здешнего, вроде бы «из ничего» возникшего подполья. Как же это: стихийно? без коммунистов, без специально присланных людей? без нас? А может, и само это ваше подполье не более чем гестаповская провокация? Уж больно лихо все у вас получалось...

Дальше — больше. Старший лейтенант («Такой симпатичный поначалу показался...») стал угрожать: не подпишешь вот это и это — сама загремишь на нары. Между прочим, двух девчонок из другой подпольной группы уже посадили. Ни за что. Девчонки проверенные, хорошие. Словом: подписывай! А как подписать, когда там такое наворочено!..

Но и это еще не все. Стал лезть под юбку. «Ладно, говорит, черт с тобой. Пока катись отсюда. Но чтоб сегодня вечером была у меня на квартире в полной боевой готовности. Останешься на всю ночь. Посмотрим, говорит, на что ты способна... А как я могу? Вы же знаете — у меня Сережка...» — и опять слезы.

Слушая девчонку, Илья помрачнел. Оцепенение и бессилие находило всякий раз, когда сталкивался с людьми из конторы, где служил этот старший лейтенант. А Пионер вдруг завелся. «Как зовут его? А! Этого я знаю. Еще по Новороссийску. Он тогда младшим лейтенантом был. Свежатинки ему, значит, захотелось... Вы стойте, я сейчас...» И скрылся в доме.

Часовой вооруженного матроса да еще с наградами на груди останавливать не стал.

Минут через двадцать Пионер вернулся, покрасневший и взъерошенный. Они ждали его на скамейке неподалеку. Поднялись навстречу.

— Ну что?

— Морду набил. Больше не ходи к нему. Да он и не позовет.

На том и расстались. Девчонка, похоже, не рада была, что с ними связалась. Под конец была, кажется, испугана еще больше, чем вначале. Да и то: не проще ли было переспать с этим сукиным сыном? Наверняка спокойнее было бы (не убудет — не ты первая, не ты последняя) и не узнал бы никто, а так эти же охламоны чего доброго всюду раззвонят...

Но ради чего все это вспомнилось? Да, конечно, встреча с Любой, которой он не

придал тогда лично для себя какого-либо значения. Разве что на примере этой девчонки в очередной раз испытал горечь от бесправия и незащищенности. Гораздо больше поразила легкость, с какой Пионер решился на мордобой. Похоже, даже не решился — все само собой произошло. Будто не про него писаны уставы и законы. Можно было ведь на полную катушку схлопотать, если учесть, где служит тот подонок.

С самого начала у Ильи было чувство, что для них самих добром это не кончится. Могли быть крупные неприятности. Но родное флотское начальство, хоть и побаиваясь, тоже недолюбливало ту самую контору. А кто ее любил? Кто сейчас ее любит? И пока суд да дело, обоих матросиков спланировали от греха подальше: опять забросили в составе разведгруппы в тыл противника.

«Ну вот видишь, — смеялся Пионер. — Я же говорил: ни хрена они нам не сделают».

Ничего такого он не говорил, да дело даже и не в этом. Во вражеский тыл — это жестокое испытание, смертельная опасность. Стоило ли ради этого кому-то морду бить? А он зубоскалил.

Илья за все время службы в разведке так и не смог избавиться от внутреннего напряжения, осознавал и четко оценивал предельный риск каждого задания — и этого, в частности, тоже, — а Пионер будто не понимал ничего или просто не желал понимать.

Но вспомнилась эта история все-таки в связи со снимком, найденным дочкой...

...— Почему — стала? У меня мама украинка...

— А папа — художник? — сказал юниор со смехом. И все поняли, о чем речь. У всех на слуху была фраза: у меня мама русская, а отец юрист.

Странное все-таки это состояние — чувствовать себя не таким, как все, и даже более того — без вины в чем-то виноватым. И длится это всю почти жизнь.

Его никогда не принимали с первого взгляда, как это бывало с другими, за своего.

— Ты что — армянин? — спросил в разведотряде старшина, внося в список на довольствие.

— С чего вы взяли?

— Так фамилия же. Да и физиономия...

— А ты не жид? — спрашивал — это уже другой случай — полицай на перевале. Перед этим он выгнал из кузова грузовика, на котром они ехали, всех пассажиров. Их было человек десять, но прицепился полицай именно к Илье.

Разубедить его простейшим способом было нетрудно, однако подошел стоявший до того молча в стороне немец:

— Цигойнер? — спросил угрожающе и снял карабин с плеча. Это было похуже. Как доказать, что ты не цыган? А их немцы убивали так же, как и евреев. Выручил один из попутчиков:

— Он русский, пан. А черный, потому что есть греки в роду. У нас в Крыму таких много...

Судьба преследовала и в другом. Для отдела кадров, военкомата, совета ветеранов он хоть и был фронтовиком, воякой, но с подмоченной репутацией — плен! Там была своя черная и белая кость. И шло это со времен войны, когда, попав в разведотряд, на первых порах почти постоянно ощущал из-за плена то оценивающий, то стерегущий глаз. Принимал это с горечью, но как должное. Старался не думать об этом, чтобы не вызывать в себе ответного озлобления. В конце концов, печать униженности лежала не только на нем. Ее не избежал даже человек, слепивший, собравший воедино в их городке подполье. Илья видел, как он стискивал зубы, катал желваки, слушая рассуждения присланного с Большой земли — за месяц до освобождения — комиссара: «Пока некоторые тут с бабами на перинах кувыркались да немецкие окурки подбирали, патриоты шли в бой за Родину и Сталина».

Господи, как все перепуталось! И винить вроде бы некого. Судьба?

Пионеру и другим бравым ребятам из разведотряда повезло — не пришлось пережить страшные дни начала июля 1942-го в Севастополе, когда немцы и румыны, пьяные от крови, как только не изгалялись над попавшими в плен нашими, особенно

над морями. Сколько было пристрелено, добыто! Руки колючей проволокой вязали,...

Бравым ребятам повезло — они этого не испытали. Но, с другой стороны, кто, как не они, вынес потом всю тяжесть самого трудного военного года — с 42-го по 43-й. Пережив это и уцелев, невольно станешь поглядывать на весь остальной мир свысока: вас, господа хорошие, рядом не было...

Взять хотя бы ту же Малую землю. Это потом брежневские блюдолизы испохабилы все, что там происходило, облили теплыми помоями своих восторгов и похвал. А была кровавая мясорубка и немыслимая бойня. Из каждой сотни десантников половина гибла. Пионер, кстати, разведывал этот плацдарм, исползал его весь на брюхе еще до высадки морской пехоты. Да и во время высадки был впереди. И снова — хочешь не хочешь — возникал вопрос: а где были вы?

Вопросы тянулись хвостом через всю жизнь. Иногда казалось, что кто-то в этой стране специально озабочен тем, чтобы никто не чувствовал себя спокойно и уверенно. Он ведь, Илья, и в партию вступил ради уверенности. А получилось: от сырых и гонимых, от тех, кто вроде бы окурки подбирал, отошел, отодвинулся, а к настоящим, уверенным в себе (да и были ли вообще такие?) тоже не приблизился. Не стал ни для кого своим.

...— А папа — художник? — смеялся от души юниор.

Пан Зиновий тоже улыбнулся.

— Я би сказав інакше: мама українка, а тато малорос. Ви тільки не ображайтесь, добродію Шаран¹.

— Что-то не улавливаю, — сказал Федор-младший. — Вы что — противопоставляете это: украинец — малоросс?

— Конечно! — с готовностью откликнулся Зиновий Илькович. — Украинец, который стыдится своего украинства или скрывает его, и есть малоросс.

— А как определяется это украинство и кто его должен определять?

— А оно часто лежит сверху, даже присматриваться не надо. Нужно только захотеть увидеть. Когда я, к примеру, встречаю человека с украинской фамилией «Чумак» или «Чумаков» и знаю к тому же, что он родом с Кубани, куда Екатерина Вторая переселила, а скорее — сослала украинских запорожских казаков, мне все ясно. Если этот человек помнит и чувствует свои корни, он украинец. Если же отрешивается от них, то он оболваненный, русифицированный малоросс.

— Ну ты даешь, добродий...

— погоди, — остановил юниора Илья Борисович. — С Чумаковым разобрались, как и с людьми по фамилии Гоголь или Короленко...

— Ви одначе слухаете мої передачі²?... — улыбнулся пан Зиновий.

— Короленко ви не вспоминали.

— Так. Але мiг би, на жаль, назвати безліч інших³.

— Не сомневаюсь. Но вы не сказали, кто и как будет это украинство и вообще принадлежность к кому или чему-либо определять. Может, это все же право самого человека? Пусть сам решает, кто он...

— Хай, — согласился пан Зиновий. — Але я не люблю — е таке російське слово — «приспособленцев», конформістів⁴.

— Гоголь и Короленко — конформисты? Я думаю, вы что-то другое имели в виду. Если бы сказали это о Вишневецких, Кочубеях, Родзянках — пожалуй.

Пан Зиновий посмотрел на старика с усмешливым любопытством:

¹ — Я би сказал иначе: мама украинка, а папа малоросс. Вы только не обижайтесь, господин Шаран.

² — Вы, однако, слушаете мои передачи...

³ — Да. Но мог бы, к сожалению, назвать множество других.

⁴ — Пусть. Но я не люблю — есть такое русское слово — «приспособленцев», конформистов.

— Я бачу, ви все ж цікавились історією свого народу¹...

Надо было выходить из этого спора. В глазах Зиновия Ильковича уже появился тот блеск, который — особенно в сочетании со спиртным и присутствием женщины — настраивает на резкости.

— А в Германии нас до сих пор — всех! — считают русскими, — сказал юниор.

— І вам це — бачу — дуже подобається²...

— Да пусть хоть горшком называют, лишь бы в печь не ставили.

— Ось це і погано. Страхітливо, якщо хочете. Спитаєте — що саме? І я відповім: національний нігілізм, комплекс «меншого брата». Американці пишаються тим, що вони американці³...

— Позвольте уточнить, — вмешался все-таки Илья Борисович. — Каждый американец в то же время по происхождению ирландец, итальянец, негр, еврей, японец или еще кто-нибудь. Но «пышаются» они тем, что они американцы. Гордятся не кровью, а принадлежностью к богатой и сильной Америке, которую построили. Плохо, когда своей национальности стыдятся. Это все равно, что стыдиться родителей. А гордиться тем, что ты русский, украинец, итальянец или француз? Чем, собственно, тут гордиться? В чем твоя заслуга?

— Але ж Ленін — хай йому грець — писав про національну гордість великоросів⁴...

— Неудачный пример. Он как раз считал, что этнической принадлежностью гордиться глупо.

— Це не завадило імперським амбіціям⁵.

— Да украинцы такая же имперская нация, как и русские!

— Як це?⁶ — оторопел Зиновий Илькович.

— Очень просто. Я не говорю уже, что Украина сама сейчас стала мини-империей с колонией в виде Крыма... Малороссы, белорусы и великороссы вместе создавали Российскую империю. Впереди шли казаки, войска, а за ними новые земли осваивали поселенцы. На Волге, в Сибири, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Вы лучше меня знаете, сколько там украинцев. А вернее — выходцев с Украины. Еще с царских времен. Да и в Крыму. И потом вы сами вспомнили запорожцев и Кубань.

— То був геноцид⁷.

— Мне кажется иногда, дорогой пан Зиновий, что вы как бы понарошку завидуете евреям, которые действительно подверглись геноциду и все-таки не погибли. Знаете, как думает обиженный ребенок: вот я заболел, умру — то-то вы поплачете. Но при этом ему хочется еще и посмотреть, как папа с мамой будут плакать... Не буду защищать Екатерину. Переселялись казаки не по собственной воле. Но то была передислокация войска. С потерями и жертвами, конечно. Уж я-то об этом слышан, потому что родом из тех переселенцев. И фамилия моя непривычная — Шаран, знаете, что значит? Знаете? Вот и хорошо. Верно. Шаран — это рыба. Карп, сазан, или еще, как говорят, короп. Видать, кто-то из прапрадедов удачно рыбачил.

— Или сам любил рыбку, — сказал юниор.

— Тоже не исключено, — согласился Илья Борисович. — Но дело не в этом. Вы можете вспомнить хоть кого-то, кому помешало сделать карьеру то, что он украинец, назвать хотя бы один случай преследования или дискриминации человека потому только, что он украинец?

¹ — Я вижу, вы все же интересовались историей своего народа...

² — И вам это — вижу — очень нравится...

³ — Вот это и плохо. Ужасно, если хотите. Спросите — что именно? И я отвечу: национальный нигилизм, комплекс меньшего брата. Американцы гордятся тем, что они американцы...

⁴ — Но Ленин — будь он не ладен — писал о национальной гордости великороссов...

⁵ — Это не помешало имперским амбициям.

⁶ — Как это?

⁷ — Это был геноцид.

— Я сам двічі був у в'язниці¹.

— Вас, как я понимаю, преследовал коммунистический режим за политические убеждения. И главными преследователями были свои же соплеменники...

— За те, що відстоював ідею незалежності України².

— Но это политический мотив. За это сажали и прибалтов, и грузин, и крымских татар. Именно за это, за непокорность и желание жить свободно, а не за то, что они просто прибалты, грузины или татары.

— Ех, пане Шаран, пане Шаран!..³

— Да я вас понимаю! — воскликнул старик и сам удивился своей вдруг прорвавшейся горячности. — Понимаю трагическое положение вашей интеллигенции...

— «Вашей интеллигенции»... — с горестным, но настолько артистичным сарказмом повторил пан Зиновий.

— ...которая теряет читателей, зрителей, слушателей...

— Нарід втрачає рідну мову! — почти выкрикнул пан Зиновий. — А це ж смерть для народу як такого. І просто спостерігати це неможливо⁴.

— И что же делать? Заставляют его говорить по-украински?

А ведь смешно (или совестно?) признаться: в некотором роде даже готовился к разговору, зная, что его не избежать. Впрочем, в оправдание и утешение мог бы сказать: специально готовиться не пришлось, просто слушал радио да спорил с дочерью. Сейчас это, правда, стесняло, не хотелось напороться на бесцеремонное: сколько-де можно повторять одно и то же, нельзя ли привести доводы поубедительней и поновей? Будто какие-нибудь доводы помогут... А дочка действительно вмешалась, словно подслушав отцовские мысли:

— Как мы вдруг стали бояться этого слова — «заставить»! Почему-то все согласны, что во Франции надо знать французский, в Германии — немецкий, но стоит заговорить об Украине — тут же сомнения...

— Знать язык, на котором говорят в стране, надо, — согласился Илья Борисович. — Это ты верно заметила. В Париже говорят по-французски, а в Берлине — по-немецки, но в Киеве, Днепрпетровске, Одессе, Харькове, Донецке, Луганске и т.д. — нравится это или нет — говорят по-русски. И не приезжие чужеземцы, а местные, коренные...

— Нічого, — сказав пан Зиновій, — вивчать і українську. В Ізраїль теж приїдять, не знаючи мови, а через півроку — дивись — гомонять на івриті⁵...

Юниора это развеселило:

— Так то ж приезжают! Знают куда и — главное — зачем! Я был у них в прошлом году. Жить можно. Апельсины дешевле картошки. А тут хлеб не всегда есть и свет для экономии отключают. А ты, значит, хочешь еще и мову заставить изучать? Ну ты даешь, добродий! Опять пар в свисток. Я случай вам расскажу. «Советское шампанское», которое неплохо шло в Германии, ваши патриоты переименовали в «Українське шампанське». Ну не могут они мириться со старыми имперскими названиями, и все тут! И знаешь, что получилось? Пшик. Не стали немцы покупать. Незнакомый продукт. Сам видел. Как раз был в Германии. Так что вы с паром поаккуратней...

...Но, собственно, о чем говорить и спорить после той фразы: «мама украинка, а папа малоросс»? Теперь уже эти относят его к людям второго сорта, делят всех на белую и черную кость?..

А ведь папа мог и рассердиться, не говоря уже об обиде. Лет десять назад, когда был помоложе, мог бы и врезать...

¹ — Я сам дважды был в тюрьме.

² — За то, что отстаивал идею независимости Украины.

³ — Эх, господин Шаран, господин Шаран!..

⁴ — Народ теряет родной язык! А это же смерть для народа как такового. И просто наблюдать это невозможно.

⁵ — Ничего, изучат и украинский. В Израиль тоже приезжают, не зная языка, а через полгода, глядишь, болтают на иврите...

Вспомнился случай в Белоруссии. Было это в середине семидесятых. Тот единственный случай, когда Илья Шаран получил возможность прокатиться и погулять на казенный кошт и никому ничего не был за это должен.

Слет партизан.

На дачу к большому начальнику — тоже бывшему партизану — были приглашены писатели, художники, артисты. Белорусы принимали сябров украинцев.

Был костер на поляне и зубровка, грибочки и сочные куски дичи на вертеле и чувство братства, близости, почти нежности по отношению друг к другу. И два главных тоста: за погибших — да будет земля им пухом! — и за собравшихся, за нас, уцелевших, для кого каждый день из прожитых после победы тридцати лет стал подарком судьбы и наивысшей наградой — ведь шансов уцелеть было так мало...

Под самый конец кто-то, расчувствовавшись, предложил спеть. Начали белорусы. Господи! До чего же бесхитростно и пронзительно зазвучала простенькая песня «Посеяла огарочки»! И сам собою высветился смысл бытия, который заключается в том, что никакого особого смысла нет, а есть просто жизнь, которую хорошо бы прожить в согласии с другими людьми, с окружающим миром и конечно же с самим собой...

— Так це ж наша пісня¹, — сказал вдруг кто-то из украинских сябров, и все рассмеялись.

Спорить не стали: каждый знал, сколько общих песен на этой земле. Белорусы просто запели другую — «Копав, копав криниченьку...» И опять тот же голос сказал из темноты:

— І ця пісня наша²...

Без раздражения и — можно было поклясться — без желания обидеть, но с непробиваемой, дремучей убежденностью: это только наше. И очарование вечера пропало.

Наверное, все можно было спустить на тормозах с помощью еще одной чарки, однако принимавший их человек с горечью сказал:

— Мы, белорусы, бедный народ. Ничего своего у нас нет. Только леса да болота... — И дальше, выделяя каждое слово: — Даже полицаев немцам приходилось сюда привозить с Украины...

И поднялся, давая понять, что прием окончен и пора рассаживаться по машинам.

«Украинка и малоросс...» Чего это, однако, так его задело? Да потому что вранье. Не было такого у них с Любой. И будь она жива, не потерпела бы такого. В житейских вопросах она оказалась пожестче Ильи. На первых порах после женитьбы даже удивляла. И этого добродия наверняка поставила бы на место. Легко представил себе: «Вы что — сюда приехали свои порядки устанавливать? Так у нас уже были такие. Немцы. Знаете, чем у них кончилось? А то могу напомнить. И ты, Галина, не забывай, чья ты дочка...»

Матери Галина побаивалась.

Так живо представил, что даже развеселился.

— Ви хотіли щось сказати³?

— Да вспомнилось... Это стало банальностью, что будущее непредсказуемо, и недаром говорят: не плюй в колодец... Я думаю, что история народов и государств пульсирует. Не идет по кругу, а именно пульсирует. Как сердце или как солнце. Как вселенная.

Только у каждого свой ритм. У сердца — секунды, у солнца — годы, у вселенной — миллионы лет. А у народов? Сейчас произошел толчок, разброс, расширение. Движение стало центробежным. Но толчок сменится сжатием, движение станет центростремительным, и все изменится... Есть такой закон — перемены знаков. Суть

¹ — Так это же наша песня.

² — И эта песня наша...

³ — Вы хотели что-то сказать?

его в том, что любое явление или событие со временем превращается в свою полную противоположность. Как бы меняет знак. Был плюс, стал минус — и наоборот...

— Типун вам на язык! — вдруг взорвалась дочка. — Тоже мне политики нашлись! Мыслители-прогнозисты... Черт бы вас всех побрал! Противно и мерзко слушать...

Это было так неожиданно и грубо! Орала-то на отца. При посторонних. Юниор попытался свести все к шутке:

— Ну ты даешь, подруга! Чего это ты завелась?

Но у нее даже вены на шее вздулись:

— Какая я тебе подруга? Чего паясничает?

— Спасибі пані Галино, але облиште їх... — пан Зиновий произнес это тихо и печально. — Вони просто нездатні усвідомити безодню нашої біди, трагедію народу, який втрачає свою ідентичність, і не де-небудь, а на власній землі. Та ми не одні такі. Подивіться на прибалтів, на вірменів, грузинів, котрі ладні віддати все заради незалежності... Чому ж нас ви позбавляєте цього права?..¹

Плюнуть бы, встать и уйти... Может, не стоило этого ему говорить? Но и слушать всякую муть надоело. Он, видите ли, любит свой народ! До чего же злая, ревнивая и даже безжалостная любовь. Тепло от нее никому не становится. Разве что жарко.

— С кем же вы собираетесь бороться здесь? Почему приехали отстаивать свои идеалы именно сюда?

— Мене привели обставини, і я не міг лишитись байдужим, дивлячись, як плюндрується тут українська ідея...²

«Плюндруется» — это, кажется, «унижается», «изничтожается»? Что-то в этом роде. Но кто кого унижает? Ведь сами лезут на рожон.

Галина между тем стала остывать. Видимо, спохватилась. Мужики-то не любят, когда дамы орут, даже отстаивая национальные интересы.

Сейчас уже и не вспомнить, с чего начался спор. Сам он, Илья, вроде бы его не затевал. Какое-то повальное сумасшествие. О чем бы ни зашел разговор, он обязательно скособоится на это — с надрывом и проклятиями. Вот так же, наверное, грызутся католик с протестантом где-нибудь в Ольстере, турок с армянином, абхаз с грузином, осетин с ингушом на Кавказе, единокровные хорваты, сербы и мусульмане, не говоря уже об Африке и Азии, где режут друг друга сотнями тысяч... Пандемия безумия. Можно даже с уверенностью предположить, что будет сказано дальше. Однако разговор вдруг принял неожиданный оборот:

— Послушай, добродий, — сказал юниор, — ты сегодня деньги на почтамте получал?

— Я, власне, не розумію...³

— Перевод был из Львова... Я стоял через два человека за тобой...

— Ви помиляєтесь...⁴

— А впереди тебя были две телки из Москвы. Одна в такой «мини», что видно, откуда ноги растут. Ноги, правда, классные... Но я не об этом. Ты с ними преотличнейше говорил по-русски. Еще предлагал вместе сходить на дискотеку развлечься. Так какого же хрена ты перед нами-то выкобениваешься? Воспитываешь?

Ситуация обострилась — почти как в том неприличном анекдоте, когда подвыпивший гость кратко и неловко уведомляет, что он думает об угощении, хозяйке и самом мероприятии — именинах, — послужившем поводом для встречи. Здесь расклад получился другой, но скандал, видимо, изначально заложенный в идее сегодняшней нечаянной и никем заранее не планировавшейся встречи, состоялся.

¹ — Спасибі, пані Галино, але залиште їх... Вони просто неспособні осознати бездну нашої беди, трагедію народу, який втрачає свою ідентичність, і не де-небудь, а на власній землі. Але ми не одні такі. Подивіться на прибалтів, на армян, грузин, які готові віддати все заради незалежності... Чому ж нас ви позбавляєте цього права?..

² — Мене привели обставини, і я не міг залишатися байдужим, дивлячись, як знищується тут українська ідея...

³ — Я, власне, не розумію...

⁴ — Ви помиляєтесь...

Сыграло свою роль, наверное, и то, что юниор как раз вступил в ту пору, когда его дед совершал подвиги...

В Пионере привлекала естественность. Он все делал словно подчиняясь внутреннему ходу событий. Вроде бы не принимал решений (хотя это было конечно же не так), а следовал чему-то, предписанному свыше. Не потому ли и казался эдаким легкомысленным малым?

Собственно, все мы за небольшим исключением плыли по течению, не особенно задумываясь, куда оно несет, но Илье при этом иногда доводилось играть явно несвойственную ему роль. Ну вот, скажем, какой из него командир? Для этого нужен другой характер, другой склад ума. А как-то пришлось командовать.

Его оставили с горсткой пацанов на тропе, чтобы прикрыть отход отряда. Впрочем, то, что придется прикрывать, выяснилось утром, когда внизу, в долине, послышалась стрельба.

До чего же была в то утро хороша эта осенняя долина! Ничего вроде бы особенного: рыжие, багрово-красные, зеленые пятна садов и виноградников, черепичные крыши близлежащей татарской деревни и мирные дымы очагов над ними; а вдали — город, почти не видимый среди зелени, и еще дальше — море, с которого наползала на берег кисея легкого, готового тут же растаять тумана.

Много лет спустя Илье Борисовичу как-то встретились слова классика, изъездившего вдоль и поперек эти места и писавшего, что прелесть здешних долин «ни с чем сравнить не можно».

Но ему же, Илье, выпало всю оставшуюся жизнь бессильно наблюдать, как разрушалась, уничтожалась эта красота, как жадные и липкие руки отковыривали, откалывали, отщипывали от нее: изводили леса, вырубали сады, превращали в щебенку скалы, загаживали свалками урочища. И вместо морского тумана появился смог, вместо высокоствольных сосен, как чудовищные поганки, проросли, потянулись вверх дома-монстры.

Однако в то утро до этого было далеко. Развернувшись в цепь и строча из автоматов, немцы или румыны (издалека было не разобрать) через виноградники двинулись к лесу.

А подняли Илью с ребятами ночью. Было сказано, что их посылают сменить и усилить заставу на тропе. Немцы затевали, судя по всему, прочес, чтобы, как это уже бывало, раз и навсегда покончить с партизанами.

Тропа была широкой, выючной. С древних времен купцы, крестьяне, ремесленники переправляли по ней на осликах и лошадях грузы через горы.

Илью назначили старшим, потому что в свои двадцать с небольшим он и в самом деле был в этой компании старше всех. Остальные — подросшая за годы оккупации молодежь. Желторотики. Вооружены чем попало. У одного оружия вообще не было, но это выяснилось уже на месте, когда пришли. Хотел отправить его назад, а тот ни в какую: у нас-де ружье с Сережкой на двоих, я, мол, буду подавать ему патроны.

Командиром назначили Илью еще и потому, что у него — считалось — был опыт: Севастополь, плен, побег.

Противник появился на тропе ближе к полудню. Самые глазастые из ребят определили: румыны. Смотрели на них ожидающе, с любопытством, ни черта не понимая, что их ждет.

Жалея самого маленького из пацанов, того, что без оружия увязался за Сережкой, Илья приказал: «Бегом в отряд. Доложи, что видим румын. До батальона. Через полчаса будут здесь».

Перед тем как уйти, пацан, шмыгая носом, вынул из карманов с десятков картонных патронов от охотничьего ружья. «Шестнадцатый калибр», — мимоходом определил Илья, будто это имело хоть какое-нибудь значение. А пацан, серьезно и строго посмотрев на него, сказал: «Жакан», — чтобы не думал, что патроны заряжены какой-нибудь заячьей дробью.

Кто знал тогда, что до конца войны еще полтора года и из этих пацанов вернется домой меньше половины!

Румыны между тем одолели первую петлю тропы, которая поднималась по склону серпантинном.

— Приготовились, — сказал Илья. — Огонь по моей команде. Стрелять прицельно и всем сразу.

До чего же они были серьезны и одновременно беспечны, эти пацаны, с какой готовностью прислушивались к каждому его слову!

Позиция была выгодной, но как долго нужно держаться на ней? И нужно ли вообще держаться? Может, весь смысл в том, чтобы поднять переполох, тревогу? Вечный бардак — сам не спросил, не решился, а, отправляя, не сказали.

В лагере-то наверняка уже никого нет. А вдруг — мало ли как бывает! — не успели отойти?..

— Приготовиться! — приказал Илья, следя за солдатом, шедшим впереди. Хотелось бить наверняка, но и подпускать слишком близко не следовало. Румын шел без опаски, хотя и держал карабин в руках. — Огонь!

Они и сами не ожидали такого эффекта. Тропа есть тропа — на ней не разгуляешься, особенно в горах. Голова колонны заметалась, передний солдат полетел с обрыва... А ребята палили с азартом и даже восторгом.

Илья между тем видел, что румыны, понеся урон, пришли в себя, тоже начали постреливать и собираются что-то предпринять. Какими бы они, румыны, ни были вояками, что бы там ни говорили о них, но это были солдаты и их было много. Надо уходить! Вот тогда-то и случилось самое главное. Слева, из-под скалы, по румынам ударил автомат. Потом оттуда же полетели одна за другой две гранаты.

— Ура! — закричал кто-то из пацанов, решив, что пришла подмога, и сейчас они — совсем как в кино — погонят вниз этих румын. — Ура!

А из-за камней показался морячок с автоматом и крикнул:

— Рвем когти! Бегом за мной!

Едва успели отойти, как на том месте с воем стали рваться мины.

Пацаненок, посланный Ильей в отряд, хвостиком держался за морячком (как щенок, который, потерявшись, нашел себе нового хозяина), и это объясняло, как тот оказался здесь: перехватил связного по дороге.

Морского в его облике только и было, что тельняшка да бляха с якорем на широком поясе, однако Илья понял, с кем имеет дело. И не обиделся, когда морячок сказал:

— Чего пыль с ушей стряхивал? У них же, мамалыжников, минометы во व्यюках...

Что правда, то правда — минометов он не учел, еще минута, и мамалыжники раздолбали бы их своими минами.

А сам морячок вроде и не придавал случившемуся большого значения. Не о чем, мол, говорить, не первый раз. Постреляли, ноги унесли, и слава Богу. Когда, уходя вверх по тропе, наткнулись на куст кизила, весь, будто кровью обрызганный, усыпанный спелыми ягодами, он, закинув, чтобы не мешал, автомат за спину, первым начал обносить этот куст. Остальные с готовностью к нему присоединились. Ну что на это скажешь! Пацаны. Ягоды, правда, были крупные, темные. Илья тоже не удержался, набрал горсть.

А спустя неделю его вызвали и сказали: «Будешь работать с Пионером». Морячок был здесь же. Встретившись с Ильей взглядом, дружески подмигнул. Так Илья узнал, что это и есть Пионер.

— Я не розумію, навіщо вам ця... — пан Зиновий запнувся, выбирая слово, — ця... неправда...¹

— Да брось ты! Девахи были отличные, я бы сам на таких клонул, но дела...

Зиновий Илькович поднялся.

— Пані Галина, будь ласка, зачиніть за мною...²

Не попрощался. Галина, ни на кого не глянув, вышла вслед за ним.

¹ — Я не понимаю, зачем вам эта... эта... неправда...

² — Пани Галина, будьте добры, закройте за мной...

Мужик вел себя достойно. Хотя по тому, как переменялся в лице и сжал кулаки, видно было, что далось ему это нелегко.

— Зачем ты его?

— Так он же сам наварлся, — простодушно ответил юниор. — Долдонит одно и то же, как попугай, и воображает себя хитрее всех. Он же никого, кроме себя, не слышит.

— Ты в самом деле его видел?

— Какая разница?

— А все-таки?

— Я вас о другом хочу спросить, дядя Илья. У меня тут дело есть. Потрясный бизнес. И знаете с кем? Только не смейтесь и не падайте. С нашими немецко-фашистскими друзьями...

— Не понял.

— Да тут и понимать нечего. Дядя Илья! Знаете, какие самые ухоженные, чистые, зеленые, прибранные места у них, в Германии? Кладбища! Они помешались на своих покойниках. И американцы, говорят, такие же, но тех я не знаю. А немцы представить не могут, что ихнего человека можно бросить где-нибудь непохороненным...

— Зато на других отыгрались. Особенно в лагерях.

— Так мы ж для них людьми не были. А за своих ужасно переживают. Особенно за судьбу солдатских кладбищ в России. Это вы верно сказали: умеют ждать и помалкивать. И нам претензий не предъявляли, потому что знали: пошлем их подальше. Но переживали и переживают из-за могилки каждого Карла или Отто. Между прочим, даже во время войны печатали в газетах списки погибших. Сам видел, показывали. До сих пор эти газеты хранят. Но где могилки? — вот в чем вопрос. Сами-то они найти их не могут...

— И ты пришел на помощь...

— А почему бы и нет? — словно оправдываясь, сказал юниор. Но оправдываться не стоило. Илья Борисович сам думал об этом. Отношение к кладбищам у нас свинское. Прежде всего к собственным. Что же говорить о чужих?

Немцы, надо отдать им должное, хоронили своих пристойно. Могила, крест в форме «Железного креста», каска у подножия, табличка... Отступая, драпая, тоже, правда, бросали погибших, но тут уж никуда не денешься.

Когда наши, освобождая местность, крушили их кресты, это можно было понять. Немцы натворили такого, что и мертвым прощения не было. Один Багеровский ров под Керчью чего стоил! Расстреливали из пулеметов женщин, стариков и детей. Раздражали и эти кресты, и свастика на крестах, и то, что свои кладбища они размещали на виду, словно показывая: мы-де пришли сюда навсегда, хозяевами.

Наверное, следовало захоронения куда-нибудь перенести. В конце концов, можно было использовать для этого их же, немцев-военнопленных. Но у советской власти один резон — она сама, тоже уверовавшая в свою незыблемость и вечность. Строить дома, скотные дворы или прокладывать дороги прямо на костях конечно же было непотребством.

— Так чем я могу помочь? — спросил Илья Борисович.

— Сведениями. Где хоронили немцы?

Юниор достал из кейса пакет и, расчистив место, разостлал на столе карту. Разглядывая ее, Илья Борисович заметил:

— Вы, я вижу, поработали...

— Есть тут один мужичок, помогает нам. Фотоснимки нескольких жетонов, захоронений, документов отправили в Германию.

— И что немцы?

— Пригласили.

— Тебя?

— А кого же! В архиве у них все на компьютере. По номерам на жетонах тут же выдали кто есть кто — имя, фамилию, адрес и даже родственников погибших.

Для большей, видимо, убедительности он вытряхнул содержимое пакета. Со странным меланхолическим чувством Илья Борисович перебирал некогда виденные,

знакомые, но почти забытые предметы: ржавую обойму от немецкого карабина, алюминиевую поясную бляху с орлом и свастикой, знаки отличия и награды. Здесь был «Железный крест» с ушком для ленты — вторая степень ордена (крест первой степени они носили непривычно для нас — слева внизу на груди); малоприметный значок был, кажется, гитлеровской «Восточной медалью» за зимнюю кампанию сорок первого — сорок второго; были здесь и «фирменные», по родам войск боевые отличия с неизменным дубовым венком — для пехотинцев, летчиков, артиллеристов; хорошо знакомый и тоже считавшийся отличием нарукавный знак участника крымской кампании и штурма Севастополя... Попадалось и кое-что неизвестное — какой-то крест со скрещенными мечами, еще один «дубовый венок» с непонятной монограммой... А ведь когда-то знание всего этого было даже необходимо.

Однако больше всего было половинок личных солдатских жетонов, которые немцы носили на шнурке, как нательные кресты. Если солдат погибал, нижнюю половинку жетона отламывали (для этого он был специально приспособлен), а с верхней, оставшейся на теле, так и хоронили. Было и несколько целых жетонов. Это значило, что Федор Чумаков-младший, идя боевыми дорогами своего деда Пионера, наткнулся на захоронения без вести пропавших немецких солдат. За это в Германии ему будут, надо полагать, особенно благодарны.

Перебирая все эти цацки, когда-то имевшие для своих обладателей немалое значение и не стоившие, как в конце концов оказалось, ни фига, Илья Борисович готов был даже спросить себя: а было ли на самом деле то, что с нами происходило полвека назад? Не примерещилось ли? Имело хоть какой-нибудь смысл? «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..»

— А это откуда?

— Тоже нашли.

— В могиле?

— А где же еще...

Среди цацек был неожидан потемневший кубок с видами старой Москвы. Серебро и эмаль. Миниатюры написаны изящно и тонко. Вещица вполне могла быть музейной. Военная добыча? — подумал не без сарказма. Однако тут же сказал себе: не будем становиться в позу. Наш брат тоже небезгрешен по этой части...

— Штриховка на карте — это то, что уже обнаружено? Старался отнестись ко всему без предвзятости.

— Не всегда. Кое-что — только предположения. В этом загвоздка. Вот тут, — юниор показал на карте, — прямо по центру стоит пивной ларек. К нему водопровод, электрокабель. Вокруг асфальт. А тут — детская площадка с качелями и горкой. Представляете? Мужичок, о котором я говорил, может дать и бульдозер, и компрессор, и экскаватор. За все, конечно, надо платить, и требуют СКВ. Карбованцы даже патриотам не нужны. Теперь представьте: начнем рыть, расковыряем и не найдем ничего. Башку оторвут. Особенно тому мужику. А он в депутаты хочет выдвигаться. Козел...

— Это кто же такой?

— Да на фиг он вам нужен, дядя Илья? Вы лучше подскажите — нет ли других, более подходящих мест? Вот, говорят, в СД...

— Было, — подтвердил старик, — было. Эсэсовцы хоронили своих отдельно. Но это еще до того, как я из лагеря сбежал. Знаю только понаслышке. Убитого партизанами коменданта они вроде бы в цветочной клумбе похоронили...

— Вранье, — отмахнулся юниор, — в клумбе ничего нет. Но то, что комендант где-то рядом лежит, это точно. Я даже его фамилию знаю. Биттер или Битнер — что-то в этом роде. Он и на компьютере у Гюнтера значится...

— Что за Гюнтер?

— Шеф фирмы, с которой я имею дело.

— Даже фирма есть?

— А как же. У них во всем порядок. Государство и фонды выделяют деньги на программу, а делом занимаются фирмы. Это у нас пробовали всё делать на халяву, за счет «красных следопытов»...

Спорить и на этот раз ужасно не хотелось (уже dospopились), однако заметил:

— Ты знаешь, не надо отмахиваться от всего, что у нас было. Если «на халяву» значит бесплатно, то на халяву и образование давали, и в больницах лечили...

— Ладно, дядя Илья. Пионер ваш то же самое говорит. Только нам приходится жить по-другому. Сами мы не выбирали, но теперь никуда не денешься. Я вот еще о чем. Там старушенция рядом с бывшим СД живет — вы ее случайно не знаете?

Илья Борисович пожал плечами.

— Зачем она тебе?

— Где-то на ее участке этот Битнер закопан, и она знает где.

— Почему же молчит?

— Клубника там у нее растет и персики какого-то особого сорта... Ладно, дядя Илья, я, пожалуй, тоже пойду. А то Галина вернется — чертей навешает.

— Вряд ли. Зачем ты его?

— А с ним иначе нельзя. На психов логика не действует. Вот вы пытались что-то доказать, объяснить... А у него своя логика. Как в том анекдоте, где сумасшедший говорит, что все равно возьмет резинку и будет стрелять.

Анекдота Илья Борисович не помнил и, одеваясь, думал о другом...

— Вы что — решили пройтись?

— Провожу тебя немного.

На улице было тихо и сыро. Еще не вполне стемнело, и на горах хорошо различалась на фоне абсолютно чистого неба полоса неподвижных, будто прилепившихся, плотных, слежавшихся облаков. Примета: ночью можно ожидать сильного северо-восточного ветра...

— Что это пахнет, как в парикмахерской? — приняв хавшись, сказал Федор.

— Цветет жимолость.

— Зимой?

— А она так и называется — зимоцвет ранний... Ты знаешь, когда мы были молодыми, бить ногами считалось последним делом. Даже чужих. Если и пинали, то не любили об этом вспоминать. А со стороны это воспринималось чуть ли не с ужасом: «Они били его ногами!..» А сейчас запросто — карате.

— Это точно. Все по-другому. И музыка другая, и песни, и деньги, и цены...

— И мы сами? — усмехнулся старик.

— Не знаю. Мне сравнивать не с чем. А дед говорит, что сейчас вареную колбасу по два двадцать вспоминают, как перед войной вспоминали, что булочка при царе стоила одну копейку...

— А во время войны говорили: вот разобьем немцев и будем жить, как раньше. Будто не было раскулачивания, голода в тридцать третьем и барачников.

— Альзо, как говорит мой Гюнтер, что же мы имеем в итоге?

— Говорит по-русски?

— Закончил МГУ.

— Ничего, выходит, не имеем. С чего начали, к тому и пришли. Это, кстати, тоже Пионер сказал, когда в Севастополе в восемьдесят пятом для нас мест в гостинице не нашлось и ночевать пришлось в казармах морской пехоты... А ты знаешь, я кое-что вспомнил, на карте у тебя не отмеченное...

— Наконец-то! Я все время этого ждал. Не может быть, думаю, чтобы дядя Илья чего-то не подсказал.

— Турбазу над речкой помнишь? Это окраина была. Там часть стояла, которая патрулировала дороги и тропы, блокировала подступы к городу. Мы сами их особенно не трогали, но стычки были. И хоронили они своих там же, в парке турбазы.

— Точное место помните?

— Тут тебе опять не повезло. На том месте танцплощадку построили. Но строили, по-моему, на сваях над землей. Так что можете попробовать копать, ничего не руша.

— Надо посмотреть. Но постойте — что за часть была?

— Горные стрелки.

— Я не об этом. Немцы?

— Румыны.

— Эх, дядя Илья! Да на фиг нам румыны! Что мы с ними будем делать? Немцы за

каждый жетон валютой платят, а румынские леи — те же рубли, если не хуже... Да что я о леях! Откуда они? Не нужны им эти покойники...

Когда вернулся, Галина была уже дома.

Молча прошел к себе в комнату. Через некоторое время приоткрылась дверь:

— Звонила свекровь, просила завтра с утра забрать Витальку...

Намек, так сказать, понят. Но раньше это говорилось деликатней: не мог ли бы ты взять мальчика и отвести в садик?... Старик-то на одной ноге и вообще — старик. Уже прилично за семьдесят.

Раньше мать не давала распоясаться. Она вела себя по отношению к Илье как человек, который знает о другом нечто всем остальным неизвестное, так, словно оберегать его было и правом ее, и обязанностью. Понял и оценил это — с чувством вины — только после ее смерти. Вот ведь как получилось: десятилетия больным, нуждающимся в заботе и внимании считался он, Илья, а первой, притом безвременно, умерла Люба.

Впервые после того, закончившегося мордобоем раза они встретились как-то случайно — у общих знакомых. Хотя потом обмолвилась, что и раньше видела его в городе. Видела, но остановить то ли не решалась (как говорила сама), то ли просто не хотела (так подумалось ему). В то время Илья был склонен к самоуничтожению: в самом деле, чего бы ей, молодой и симпатичной, останавливать шкандыбающего на костылях калеку?

А она еще как-то сказала, что в первый момент ужаснулась, увидев его без ноги. Калек после войны хватало, зрелище привычное, особенно в городке, где разместились несколько госпиталей, но Илья был свой и совсем недавно его видели целым и невредимым. А еще раньше узнала о гибели своего Сережки. Это ее, похоже, просто пришибло. И узнала не прямо, не сразу, а через людей: Сережкины родители его подругу не жаловали. Вот такие были дела.

Общим знакомым оказался, кстати, тот самый пацан, у которого ружье было с Сережкой на двоих, который встретил и привел тогда Пионера. Теперь это был жених — с медалью «За победу над Японией» (приписал себе полтора года и успел повоевать) и даже с усами, демобилизованный тоже по ранению. Невеста — девочка, бывшая четвертой на том их пляжном снимке...

Молодожены были милы, юны, смущались своего нового положения, и сама их женитьба выглядела игрой.

Все это, однако, вскоре забылось, а запомнилось, что именно здесь они с Любой снова встретились. И шли после свадьбы через весь почти город вместе. Недавно полученный протез (до этого ходил на костылях) был непривычен, да и оказался не лучшего качества — культя болела, пришлось несколько раз по пути отдыхать. В какой-то момент подумал: не решила бы барышня, что он нарочно тянет время. И даже сказал об этом — не проще ли, мол, будет добираться ей одной, тем более, что на улицах еще людно. Не оставила. И это тоже запомнилось.

Из каких-то мелочей, недомолвок Илья понял: она считает себя едва ли не виноватой в его беде. Чепуха, конечно. Кто на войне может знать, что его ждет, если в обычной жизни угадать это невозможно. Однако у нее был свой расклад. На то задание, где он потерял ногу, их, мол, с Пионером отправили из-за нее... И пустое дело было доказывать, что и так ведь могли послать.

А задание было фантастическим, хотя о нем, как и о других делах разведчиков, не шумели. О его важности Илья судил по тому, как быстро пошел потом в гору командир их группы старший лейтенант. Много лет спустя — в брежневские времена — на одной из широко проходивших тогда встреч однополчан он — уже в больших чинах — обмолвился, что ту их операцию («Помните? Когда взяли карту минирования фарватера...») до сих пор изучают и комментируют специалисты. Классика.

Илья поверил: очень может быть, да скорее всего так и есть. А Пионер принял это не то чтобы с недоверием или удивлением, но определенно с толикой скепсиса, если не пренебрежения — может быть, отчасти и деланного. У него были свои мерки. Тебя, мол, мы понимаем, тут все ясно: эта карта открыла тебе путь наверх, потому ее

и выпячиваешь, а нам попадалась грязь и погуще, и кровавей. Тогда же все уцелели, если не считать, что ранило Илью, и то отчасти потому, что сам пролопушил...

Ни слова, однако, при этом не было сказано. Они готовы были согласиться, что бывший их командир прав, но это не самая главная, не самая важная правота. Извечный солдатский (и даже так: простонародный) подход, подозревающий начальство если не в кознях, то в своекорыстии. Разве не то же (хотя и совсем в ином ключе, в другом масштабе) происходит в последние годы: сначала Горбачев, а потом и Ельцин нам о свободе и демократии, а мы им в ответ о хлебе и колбасе. И обе стороны правы.

Вспоминая тот давний случай, Илья как бы возвращался в состояние человека заведомо обреченного, но уцелевшего. Но как он оказался в таком положении и невольно делал шаги навстречу гибели, так что и впрямь можно было сказать: сам виноват? Не бросил гранату в подвал, откуда его потом и срезали автоматной очередью. Почему? Пожалел гранату (последняя)? Подумал, что в подвале скорее всего прячутся жители? Проявил небрежность?

Чудом было то, что Пионер вовремя спохватился, а еще большим — что в темноте под обстрелом нашел и вытащил. Спас. Потом были госпиталь, ампутация и, наконец, этот городок, на кривых улицах которого Илья появился с костылями.

С Пионером встретился лет через десять. Почему не виделись так долго? А это как с птицами. На перелете они вместе, держатся друг за дружку. Потом приходит пора гнездиться — разбредаются. И только снова перед отправкой в дальний путь соберутся вместе. Как видно, подошло время...

Пионер, впрочем, выглядел тогда прежним. Все у него — как с гуся вода. Знай вертит головой, глядя по сторонам с веселым пацанским любопытством. Однако в первый же вечер, после того, как разговор зашел о здоровье, о тяжелом, натирающем культю протезе, спросил:

— А ту девицу — помнишь? — ты потом не встречал?

И получилось, что хоть и не прямо, а вроде связал все же девицу с протезом.

— Я женился на ней.

Прозвучало это с невольным вызовом, предупреждением. Пионер ответил удивленным взглядом. Но и только.

Странно они женились. Как бы по случаю. Иногда даже думалось, что мужики израсходовались на главное, как им казалось, — на войну, а к этому — главнейшему, что ни говори, в жизни каждого, к выбору подруги жизни и матери своих детей — оказались просто не готовы. Может, и так.

Женился, когда Люба сказала, что беременна: ладно, мол, семь бед — один ответ. А стала хорошей и верной женой. Любящей? Кто ее знает. Но ведь повода усомниться не дала.

Мучительное дело — отход ко сну. Раньше и в этом Люба была помощницей. Каких только кремов и мазей не перепробовали, чтобы рубцы на культе не воспалились! А пришли в конце концов к простейшему — прокипяченному подсолнечному маслу, которым смазывали натруженный и сморщенный огрызок ноги на ночь.

Не так ли и во всем остальном? Сколько шума и споров по самым разным поводам! И сегодня тоже — сумасшедший день. А причины опять-таки простейшие: усталость, разочарование. У пана Зиновия так прямо чувство бессилия перед исторической судьбой, воспринятой как собственная судьба, а по сути — отчаяние попа, теряющего прихожан и оттого решившего, что весь мир рушится. Или эта несчастная — его, Ильи, родная дочь! Дурью ведь мается вместо того, чтобы устроить простейшее (а может, самое трудное?) — свои бабьи дела...

А сам ты, дорогой Илья Борисович? Сам отчего дергаешься? Надежду он, видите ли, потерял!.. Но надежду на что? И есть ли вообще место надежде, когда итог предопределен? В лучшем случае можно всякий раз говорить о каком-то промежуточном результате. В конце концов жизнь состоит из неких промежуточных результатов...

Думалось и о Федорах — деде и внуке. Сходство очевидно, а в чем все-таки разница? Не в том ли — тоже простейшем, — что . помимо всего прочего определило исход войны. Старший довольствовался махоркой, пшенной кашей, ходил, случалось, в обмотках и спал на земле, тогда как немцам нужны были сигареты, мясной

суп, две пары обуви и благоустроенный блиндаж... А как и что теперь и в будущем? Как с младшим? Не собираешься же ты вернуть его к махорке и обмоткам...

Шквалистый ночной ветер смел и унес за море пестроту вчерашнего дня, догола обнажил платаны, тополя, каштаны.

Выйдя на крыльцо, Илья Борисович даже прищурился от белизны улиц, крыш и окрестных гор. Кусты жимолости будто присели под тяжестью покрывшего их снега.

Всякий раз этот скачок природы в новое качество казался удивительным и приносил открытия, которые хоть и не были неожиданными, все равно изумляли и радовали. Потому, наверное, что хотелось изумляться и радоваться. Так было и сейчас: вдруг заметил глазевший из-под снега только-только проклюнувшийся из почки фиолетовый цветок декоративного абрикоса. Присмотрелся и заметил еще один цветок и еще...

Солнце едва начало пригревать, а снег уже заскользил по мокрому асфальту. Нелегко сегодня придется на протезе, однако надо идти.

Сваха и внук Виталька ожидали его во дворе. Мальчик бросился навстречу, и это дало повод бабке пробурчать:

— Безотцовщиной растет... Перебирался бы хоть ты, что ли, ко мне вместе с ребенком, а то он запутался в новых папах...

Сваха — тоже вдова — была моложе его лет на восемь и не раз уже оценивающе поглядывала хоть и на одноногого, но еще крепкого старика.

— ...И сам за эти два года запаршивел... Некому даже пуговицу пришить...

Верхняя пуговица на плаще и верно едва держалась. Но обсуждать это не хотелось, и он, взяв мальчика за руку, поковылял с ним, стараясь ступать потверже, вниз по переулку.

Матримониальные поползновения старухи (хотя не такая уж она и старуха) вызывали вначале раздражение, а сейчас забавляли. Честно говоря, одно время подумывал: а не выход ли это из положения — и для Галины (может, устроит наконец жизнь, оставшись одна), и для внука, и для него самого? Жить с дочкой становилось все невыносимей. Однако сам же и сказал себе: не будь смешным — тоже еще жених выискался...

Спустившись к рынку, спросил:

— Хочешь апельсин?

— А ты что — пенсию получил? — спросил, в свою очередь, догадливый внук и выдвинул встречное предложение: — Тогда уж лучше банан...

Бананы были ощутимо дороже, но, как говорится, раз пошла такая пьянка — режь последний огурец. Выбрал лоточницу посимпатичнее и попросил взвесить пару бананов пожелтее и поспелее. Сдачу — зелененькую бумажку в 50 украинских купонов-карбованцев с видом киевской Софии на обороте — отдал сидевшей рядом нищенке. Сколько их развелось! Но слава богу, что не тебе дают, а ты пока еще имеешь возможность подать...

Жизнь как во время войны: самыми главными опять стали и до невозможности обнаглели те, кто поближе к жратве и товарам, кто может достать, украсть или перепродать. Все равно что: мясо, курево, выпивку, обувь или тряпки.

— Себе пива возьмешь? — поинтересовался, очищая банан, все понимающий представитель юного поколения.

Взял бы, но пиво последнее время отпускается в пол-литровые стеклянные банки. Очень похоже на суточный анализ мочи, как его собирают в больницах. Психологический фактор, а вкус пива в таких банках явно не тот. И даже будто бы пованивает. Впрочем, и в самом деле воняет. Откуда это? От реки. Остановились на мосту, под которым пенилась, стекая в гавань, зловонная, мутная жижа. Кто поверит, что после госпиталя он ловил в этой речке форель, что еще на его, Ильи, памяти эта ныне обезображенная плюгавыми, уродливыми домами долина утопала в садах, от которых кое-где еще сохранились старые смоквы, ореховые деревья и тенистые платаны. Но что говорить об этой жалкой речушке, когда провоняла вся огромная страна, будто помойка или выгребная яма, с которой сорвало крышку.

Вышли на набережную. Накануне видел лебедя в море недалеко от берега. Давненько их здесь не бывало.

По повадке, изяществу, по изгибу шеи то был лебедь-шипун. Судя по грязноватому на вид оперению, сеголеток. Ему еще предстояло на следующий год мучительное переодевание в праздничные белоснежные одежды — линька, во время которой эти прекрасные, сильные птицы делаются совершенно беспомощными.

Линька — если доживет, перезимует. Впереди холода и штормы. А могут ведь и подманить, шею свернуть, чтобы потом зажарить. Озверел народ. Хотя что там жарить — кожа да кости.

Как-то вдруг и перед всеми встала эта проблема — перезимовать.

Интересно: увидит он лебедя сегодня? Даже загадал: если увидит, значит, будет впереди что-нибудь хорошее.

Увидел.

Илья Борисович сочувственно смотрел на одинокого лебедя среди волн. Подросток. Прихорашивается, вертит головой, глазееет по сторонам. Но держится в стороне от прочей птичьей мелюзги — чаек, нырков, уток, — которая слетается сюда на зиму во множестве. Принц. До сих пор не поймет, что с ним происходит. То ли отбил от стаи, то ли сам сорвался с места и полетел куда глаза глядят от голодухи-бескормицы.

— Посмотри, — сказал внуку, — какой лебедь плавает...

— А что на него смотреть, — отвечивал практичный внук. — Мне бы на лошади верхом покататься...

Две лошадки под седлами стояли, понурились, тут же. Однако раскошелиться еще и на катание старик не решился, хотя отговорился тем, что нет времени, пора в детсадик. Виталька, впрочем, все понял.

— Когда вырасту, — мечтательно сказал он, — куплю себе лошадь...

— И где она будет жить?

— Где положено. Построю гараж.

Гараж для лошади. Обхохочешься. Но что делать, если таким они видят мир? С гаражом для лошади. Вот как только лошадь будет чувствовать себя в гараже?

Слава богу, что нас это уже не касается. Мы уходим. Оставив после себя руины.

Неделимым строем

Андрей Бауман (С.-Петербург)

Солдаты

Временами в морозной пылице рассвета
различимы отчетливо силуэты —
перекрыты крест-накрест единой датой:
с сорок первого года по сорок пятый.

Гарь и копоть не будут над ними длиться,
не распорет танковый ромб петлицу,
и не есть им красной — до дна, дотла ли —
запеканки вяземскими котлами.

Не приедет к их заглубевшим женам
почтальонша с древненьким капюшоном,
ставя штемпель сухой на слепом конверте.
Не проснется выводок жадный смерти,

щебеча все быстрее в пулеметных гнездах;
заградительной пулей не чиркнет воздух,
не проглотит в свою мясорубку СМЕРШ их,
ибо все справедливо внутри умерших.

Переходят они неделимым строем
через гул, что дыханием их застроен.
Каждый марш их в тяжелую землю канет,
только время на профилях свой чеканит.

И пульсирует, в легких не остывая,
эта память по венам моим живая —
хор сердец в позвоночнике-эхолоте —
и нещадно в аорту мою колотит.

Солдатские кладбища

Как соты — кельи долготерпящих,
кому талдычат
про долг, себя уже не теплящих.
Десятки тысяч

лежат ошметками далекими,
в заплатах имя,
все найденные слишком легкими,
чтоб быть живыми.

К чужой земле повзводно пригнуты
весомо, вещно,
бессолнечно; друг к другу примкнуты
напоследочно —

закоченелыми объятьями.
Ветшая днями,
с нагими листовенными братьями
сплелись корнями

под звон речей и речек выпренных:
Отчизна с вами,
в ее пределах мало избранных,
но много званий, —

пусть в вышних благопроповеданность
хранить устали,
войны платежную неведомость
закрыв крестами,

могильность братскую не/сметную
присвоив насту
и войсковую общесмертную
пристроив маску

на кровоток рассады кровельной
немногофазный.
И групповой портрет — непрофильный
и неанфасный —

стоит, гранитного изящества
не разбирая.
Земля, от многих тел слезящихся
насквозь сырая,

под снежной пеленою байковой
неразличима
и с этой ночью черной, байковой
неразлучима.

Детство

Над парниками, дачами
Солнце блаженно щурится,
Радостно озадачено
Детством, влетевшим в улицы:

Шорты, коленки, маечки,
Девочки в ярких платьицах.
Прыгнут с разбегу мальчики
В утреннюю сумятицу.

Взмахи руками-веслами
В звонкоголосом гаме.
Завтра же станут взрослыми,
Станут чуть-чуть богами:

Гибко взметнут пуанты,
Гордо расправят плечи...
Их еще ждут Руанда,
Аушвицкие печи,

Сребреница и Грозный,
Розовый грунт Катыни.
Завтра же станет поздно.
Детское счастье стынет

В предошущенье бунта,
В дальнем гуденье станций...
Ловите скорей секунды —
Последние, может стать!..

Вячеслав Шаповалов (Бишкек)

С тобой, Lilie Marlen

mein gott как славно на посту меж яблонь или груш
вот в комсомоле я расту колхоз толпа катюш
что будут ждать я хоть куда я шустрый паренек
и для меня горит всегда в тумане огонек
я вспоминаю не про то но мне не встать с колен
вот скромный синенький платок он твой лили Марлен
расстрелян пост парад алле и я развеян в прах
и вот де юре я в земле де факто в небесах
я знаю не о том же речь но все заботы с плеч
и коль придется в землю лечь то лучше в землю лечь
под сердцем ноет вертолет без видимых примет
и тащит цинковый оплот последующих лет
с берез не дышит твой гормон о время перемен
поет в землянке мне гармонь с тобой лили Марлен
с тобой лили лечу с земли где рухнул мир как мост
с тобой лили лежу в пыли щекой касаясь звезд
слились черты закат в крови и тьма и гарь и тлен
и ненависти и любви оскал лили Марлен
друзья вперед ведь наш черед пора кормить червей
да будет сталь за далью даль и кроны без корней
летит наш поезд под рязань рыгая на ходу
его шарахнет партизан в двухтысячном году
с тобой лили вдвоем вдали на атомы разъят
мы в будущее проросли но все здесь не попад
гагарина безумный лет ночей безлунный бег
бездомный день бессонный год у безымянных рек
давно бесплотна наша плоть и слеп наш третий глаз
и сгинул в лагере господь и огонек погас
и только помнится простор весна свела с ума
и теплых губ немой укор и пир и с ним чума
и сердце рвется как пунктир изношено до дыр
с тобой лили с тобой mit dir
mit dir
lilie
marlen

Темур Варки (Душанбе)

Май 45-го. Скифы в Берлине

*Моему отцу, сержанту Амину Клычеву,
и светлой памяти тестя, Балта Тагаева, посвящается*

Май 45-го. Скифы в Берлине.
Танки. Чадающие рвы.
Это откликнулся грохот лавины
В жилах степной тетивы.

Лязгая, клацая, каркая сталью,
Ваш содрогнулся блицкриг
Там, где разнесся над рейха крестами
Русско-татарский наш рык.

Братство окопное. Сколько на поле
Боя упало семян?
Русская мать сроднила монголов,
Татов, таджиков, армян.

Май 45-го. Скифы в Берлине.
Танки. Чадающие рвы.
В землю врастая страны неделимой,
Гнали мы вас от Москвы.

Вы наступали тяжелым ботинком,
Страны сжигая в печах.
Но показалось вам небо в овчинку
В наших монгольских очах.

Знайте, что нами ничто не забыто,
Кровью вскипает Хатынь.
Только сказал мне отец — победитель:
Павшим завидую, сын.

Ведать не ведают братья в покое,
Сделали что со страной... —
Слышит, не веря предательству, воин:
Чурки, обратно домой.

Возглас «зиг хайль»! Подлецаи, мутанты,
Свастика. Та ли страна?
Наци в метро убивают мигранта.
Прут арматурный. Война.

Темур Варки (Темур Аминович Клычев) — поэт, филолог, журналист. Родился в 1962 г. в Душанбе. Окончил факультет русского языка и литературы Таджикского ун-та. Как поэт печатался в журнале «Памир». Работал в Институте языка и литературы им. Рудаки АН ТаджССР, стажировался в Институте русского языка им. Пушкина АН СССР в Москве. В начале гражданской войны в Таджикистане в 1992 г. уехал в Москву, где работал и дворником, и строителем. В настоящее время — радиожурналист. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Подмоскovie.

Гузель Агишева

Брошь

Рассказ

Валентину Ивановичу Ежову

Похожий на футбольного тренера Беккенбауэра киоскер Вальдкранкенхауса, больницы ордена иезуитов, как всегда возник перед самым завтраком:

— Доброе утро, дамы! Желаете какие-нибудь газеты, журналы?

Дамы не реагируют, и он, секунду выждав, закрывает дверь.

Две пациентки откровенно дряхлы и плохо слышат, а третьей не до чтения: ее только что привезли после коронарографии. Катетер, который вводили в сердце, не прошел через артерию правой руки, и его провели по левой. В результате теперь оба ее запястья перетянуты жгутами, и пальцы распухают и чернеют на глазах. Боль невыносимая. «Эти немчуки меня так под некроз подведут», — думает Тася и не верит, что можно выдержать положенные шесть часов.

Когда в палату входит муж и видит вместо пальцев черные баклажаны, он теряет дар речи и краски лица. Растирает ей поочередно каждый палец, Тася бесшумно плачет и через пару часов неистово жмет кнопку вызова, чтоб ослабили жгуты.

Приходит медсестра с этим их дурацким на все случаи жизни: «Ist Alles in ordnung?». Ну как же может быть все в порядке, когда перетянули так, что кровь совсем не циркулирует, руки вот-вот отвалятся. Затем быстрой походкой входит врач, щупает запястье и, бегло улыбаясь, говорит:

— Сколько прошло? Два часа? Надо потерпеть.

— Долго? — спрашивает Тася, вымучивая улыбку.

— Еще часов десять, у вас кровь плохо свертывается, — бесстрастно выдает доктор и вихрем устремляется вон из палаты, оставляя потрясенную Тасю.

— Сволочи! — в сердцах шепчет Тася и ловит на себе испуганный взгляд пожилой соседки, она не понимает, что у нее с руками.

— Терпи, светлячок, — произносит Юра, осторожно забирая из ее рук термос. — Нельзя тебе сейчас пить, отек увеличится.

Вид у него как у побитой собаки — сгорбленный, худые плечи совсем опали, медово-карие глаза, в которых всегда так завораживающе читается мысль, усталые, красные.

— У тебя щеки ввалились, один нос торчит, — морщась от боли, говорит Тася.

— Эти щеки уже не могут ввалиться, только обвиснуть, как у бульдога.

Тасе хочется прижаться к мужу, почувствовать сквозь мягкий свитер и тонкую сорочку его крепкое, жилистое тело, на которое время не покусилось. Обычно она со скрытым удовольствием наблюдает за его несуетливыми, размашистыми движениями, как крупные мазки кисти, за разведенностью плеч, бесшумной походкой при таком росте, любит руки — большие, с длинными пальцами. В нем безошибочно угадывался баскетболист, хотя все это давно в прошлом.

— Ну, как ты?

Агишева Гузель, родилась в Уфе. Закончила СХШ при Академии художеств им. И.Е.Репина в Ленинграде, факультет журналистики Казанского госуниверситета и аспирантуру философского факультета МГУ. Работала в журнале «Наука и Религия», «Комсомольской правде», «Труде». Ныне — обозреватель «Известий». Лауреат премий Союза журналистов СССР (1989), Союза журналистов России (2006 и 2009) в номинации «Лучшее журналистское произведение года».

Юркин голос звучит глухо, а взгляд такой пронзительный, что Тася пытается остричь:

— Да перестраховщики они! Тут уж не то, что свернулось, все уже закипело и превратилось в гудрон. А потом скажут это их сахарное: нам очень жаль, но ручки-то того-с, придется ампутировать.

— Не неси чушь, они профессионалы. Ты же не первая, кому сделали такую штуку. Тут все отработано — от улыбки и обязательного рукопожатия до пустяковой таблетки. Не нужно никаких слов. В любом случае они сделают ни в коем случае не меньше положенного, но и не больше.

Муж пытается это говорить легко, чтоб погасить подозрительность, столь свойственную всем нашим, но она видит, что он на взводе.

Так весь день и проходит в мучениях и жалобах.

Тасе противно скулить, ей хочется, забыв о приличиях, заорать, что есть мочи, сорвать эти чертовы жгуты и кинуться из палаты вниз по мраморной лестнице в сад, а там носиться среди тихо журчащих фонтанчиков по красным, шуршащим листьям. Жаль, не умеет она материться, а то стены услышали бы такое! И мужа ей жалко, который от всей этой картины в полуобморочном состоянии.

Бессловесные старушки, погасив свет, спят уже часов с десяти. Горит лишь лампа над Тасиной кроватью, да бдительный глазок возле динамика в стене, откуда вечерами сочится долгая молитва на латыни.

На втором этаже больницы располагается капелла, так что при желании можно спуститься и помолиться. А можно посмотреть эту службу по телевизору, который висит над кроватью.

Старушки никуда не спускались. Одна весь вечер читала, а вторая, сухонькая и вострая, как услышала молитву, распласталась прямо на кровати, сцепив руки, шептала что-то истово, пока румянец не проступил на ее бескровных щеках, да так и уснула в нелепой позе. И даже вечернего обхода настоятельницы Вальдкранкенхауса не заметила.

Та вошла, опираясь на черную лакированную палочку, слегка улыбнулась блаженному выражению фрау Кройц:

— А-а, спит наша принцесса.

И спросила в никуда:

— Никто к ней не приходил?

Мельком глянула на задремавшую фрау Шефер и подошла к Тасе:

— Очень больно?

Тася кивнула.

— Вы полька?

— Русская, — сказала Тася.

— А похожи на польку. Как вас зовут?

— Тася. Таисия. Трудно, наверно, для немецкого уха.

— Ну почему же. Божественная Таис. Давно живете в Германии?

— Год. Муж работает в университете.

— Вы хорошо говорите по-немецки. Где учили?

— Здесь, в Германии.

— Какая способная, — восхищенно произносит настоятельница, словно Тася ребенок.

Потом оборачивается к Юре, не отрываящемуся от Тасиных пальцев, и, внимательно заглядывая в глаза, ласково похлопывает его по руке.

— Приятная! — говорит Тася, когда монахиня выходит из палаты. — Знай она, что я закончила аспирантуру по атеизму, наверное, не удостоила бы своим вниманием. В первый день монашенка, пожилая индуска, подошла ко мне с анкетой, вы, говорит, кто — католичка, протестантка или ортодоксал. Крайне религиозен, говорю, так она на пару секунд просто оцепенела, будто я сказала что-то неприличное. Да, говорю, я же выросла в социалистическом государстве.

— Все они тут все про всех знают — это же Германия. Страна оловянных солдатиков — стойких, правильных, безукоризненных. Бутылку пива открываешь, а в подсознании уже сидит: крышку в контейнер для железа, тару — в «коричневое стекло». И почему только восемь типов контейнеров, почему не восемнадцать, не сорок два?

— Тебе здесь надоело?

— Да я каждый день желаю этой стране долгие лета. Особенно как вспомню вонючие туалеты, наших помятых мужиков, которые работают в нескольких местах и в институт приходят только на заседания кафедры да за зарплатой. Раньше еще оправдывались: сами, мол, понимаете, на эти деньги не прожить. А сейчас только злость в глазах, когда кто-то грант получил и за границу отваливает.

Тут вдруг вострая фрау Кройц с пылающим румянцем ото сна соскочила как механический болванчик и пронзительно закричала:

— Всем встать!

— Ложитесь! — возмутилась фрау Шефер. — Сейчас ночь, видите, русская фрау сильно больна...

Но резвая старушка мелким шагом подбежала к Тасе и шамкающим ртом в сумасшедшем кураже вскрикнула:

— Ага! Ты русская?

Подошла вплотную к Тасиной кровати и задорно посмотрела подслеповатыми глазами. Тут дверь отворилась, и вошли врач с медсестрой.

— Приготовьтесь к тому, что сейчас, после снятия жгутов, будет больно, — улыбнулся доктор.

Придурок, подумала Тася.

Жгуты сняли, и ей мгновенно стало легче, хотя чувствительность в руках была минимальной.

— Не больно? — в голосе врача слышалось удивление.

— Но он же, — Тася кивнула на мужа, — массировал.

— Что, все двенадцать часов? — скороговоркой спросил доктор по-русски.

Тася с Юрой замерли от неожиданности.

— Нам это показалось? — спросил Юра.

— К сожалению, я совсем не говорю по-русски, — с удовольствием и довольно чисто выговорил доктор и тут же перешел на немецкий:

— Это единственная фраза, которую помню. Я из Дрездена, а в ГДР мы учили русский.

И он, энергично пожав Юре руку, выскользнул из палаты.

— Поеду, посплю немного, утром у меня студенты. После лекции сразу приеду, — сказал Юра.

— Не вздумай! Я в таком орднунге, что передать не в силах. Просто нечеловечески счастлива. Сейчас чаю напьюсь с лимоном, а вообще-то петь хочется! Смешно сказать, всего-то два жгута, не испанский же сапог. Зато потом тебя просто распирает от счастья!

— Слава богу, зачирикала, — улыбается муж, и его глаза становятся янтарными. — А то я как-то напрягаюсь, когда ты не чирикаешь.

Ощущение счастья нарастает. Старухи спят как убитые. Тася в ночи перебирает телеканалы, так, от возбуждения, от полноты чувств — ничего определенного смотреть не хочется. Останавливается на документальном фильме про уссурийскую тайгу. Да, говорит себе, животные — единственное, что ее всегда успокаивает — будь то тигры, волки или птички.

Утром, когда киоскер открывает дверь палаты, Тася просит журналы. Ей хочется касаться этих глянцевых страниц, водить по ним все еще толстыми, отечными пальцами, даже нюхать типографскую краску. Она пытается небрежно листать лощеные страницы, но они, электризуясь, не хотят разлипаться.

Наконец, к фрау Кройц приходит Петра и тут же с головой погружается в со-

мнамбулическое рассматривание журналов, пока ее подопечную моют, освежают и холят самыми откровенными и немыслимыми способами.

Тася томится мыслями, кто она, эта молодая девушка, побритая под ноль и вся инкрустированная маленькими шариками. В брови, в ноздре, один даже в середине языка, так что при разговоре нержсталь переливчато посверкивает. Если она сиделка, думает Тася, то зачем здесь? Сестры все делают идеально, будто помывка этой женщины предел их мечтаний. Если внучка — почему так безучастна ко всему?

Между тем посвежевшая и уже надевшая зубы Кройц, мотнув подбородком в сторону журнала, спрашивает:

— О чем пишут?

— Да так, — нехотя отвечает та.

Потом вдруг с воодушевлением раскрывает «Шпигель» и тычет той чуть ли не в нос:

— Вот снимки интересные. Колонна беженцев из Берлина. А русский солдат вырывает у девушки велосипед. Отнять хочет, — жестко заканчивает она, рассчитывая, что эта русская услышит.

Интересно бы взглянуть, думает Тася. Меж тем Кройц нацепляет очки с толстенными линзами, так что ее глаза делаются стрекозьими, в пол-лица, и, рассмотрев снимок, заключает:

— Да-а, действительно, отнимает...

— Вы же тогда в Кельне жили, и ваш дом разбомбили, да? — напирает Петра.

— Да, — безучастно отвечает Кройц. — Но то были американцы...

И вдруг спохватывается:

— Так ведь война была!

— Вчера в Нюрнберге молодежь вышла на демонстрацию.

— Зачем? — настораживается фрау Кройц.

— Сказать, что не забыты союзнические бомбежки, — чеканит Петра.

— Что за молодежь? — подает голос задремавшая было Шефер.

И Тася опережает Петру:

— Наци.

— Это что, фашисты? — спрашивает Шефер.

— Нормальная молодежь, которой не все равно, — теперь уже всем отвечает Петра.

— Человек двести, не больше. И еще несколько тысяч, кто это нормой не считает. Ночью показывали по телевизору, — отвечает настырная русская.

— И правильно, — соглашается Шефер, смиренно ожидая, когда ее придут и покормят.

Раньше, когда Тася была ходячей, она помогала ей намазать на хлеб паштет или мармелад, налить из термоса кофе и взять все это в непослушные руки, получая в благодарность неизменное: «Филен данк, майн шатс» и улыбку.

Тасе нравится фрау Шефер. Ее интеллигентное спокойствие и терпимость, и то, что она непременно переодевается к посетителям. А поверх всех своих кофточек, которых у нее в шкафу пруд пруди, всегда пришпандоривает массивную брошь. Не сказать, чтоб красивую — дизайн явно любительский, но очень старую. Видно, дорожит ею. Тася пристально ее разглядывает и решает, что больше всего она похожа на веретено.

— Это что, веретено? — спрашивает она, уверенная в ошибке.

— Действительно, похоже. Но вообще-то это юла, — улыбается Шефер.

— И это точно низкопробное серебро, у меня в детстве были такие старинные царские рубли.

— О, да вы почти все угадали. Я вам расскажу историю, — заговорщицки произносит Шефер.

Петра демонстративно потягивается, все в ней читается без подтекстов.

— В войну мы с Максом были уже женаты, — начинает Шефер.

— Кто это Макс? — встречает фрау Кройц.

— Да муж мой, Максимилиан. Он был инженером, из-за плохого зрения его не призвали, и мы очень радовались, так как войну эту не одобряли, и Гитлер нам, конечно, не нравился.

— Кто? — переспрашивает Кройц.

— Гитлера, говорю, не одобряли! — громко откликается Шефер.

— Только не надо так кричать, я хорошо слышу, — царственно произносит фрау Кройц. — Да, я помню Гитлера, руководитель национал-социалистической партии. Я его тоже не любила.

Петра иронично взирает на двух божьих одуванчиков, как бы говоря: оно и понятно, сейчас вы его разлюбили. Нечто похожее вертится и у Таси в голове.

— А почему вы Гитлера не любили? — спрашивает она у Шефер.

— Мой отец сидел в лагере, так как не принимал национал-социализма.

— Он был коммунистом? — спрашивает Петра.

— Да ну нет, конечно! Никаким коммунистом он не был! — теряет терпение Шефер.

И, смерив взглядом бритую Петру, добавляет:

— И евреем не был.

А старушка-то непроста, думает Тася.

— Он был обычным немцем. Сидел в этом лагере год, потом его выпустили, правда, уже сильно больным. Но тут неожиданно объявили всеобщую мобилизацию и моего мужа призвали, — все, от пятнадцати до шестидесяти, ушли на войну. Кажется, это называлось «интендант». Он сопровождал транспортные самолеты, груженные продуктами. Самолет, рассказывал муж, брал на борт несколько тонн продуктов, летел медленно и низко, так что, когда погода хорошая, можно все детально рассмотреть. Макс даже уже привык видеть одну и ту же картинку: заснеженное поле где-то под Киевом, а в нем всегда копошащихся женщину с детьми. Он не мог понять, что они там делают. А морозы в сорок третьем стояли лютые.

— Вы не путаете насчет Киева? Может, это было под Сталинградом? Там как раз были жуткие морозы. У нас даже бытует такое выражение: «одет как пленный немец под Сталинградом». Значит, все, что можно хоть как-то натянуть на себя — платки там или шали поверх сапог, — все шло в ход. Даже картина есть такая...

Петра бросает на Тасю злобный взгляд.

— Не знаю, какие тогда были морозы под Сталинградом, но, видимо, кому-то и киевских хватало. Так вот представьте себе, однажды их самолет подбили, и они едва смогли сесть — как раз на том самом поле, где женщина с детьми всегда копошилась. Восемь человек, а с ними четыре тонны продуктов! Мужа моего послали разведать, что там за дом один на всю округу — у него была самая подходящая внешность: очки, мягкие черты лица, и он хорошо говорил по-английски и по-французски, хотя этого не понадобилось. И вот, рассказывал Макси, он входит в тот сарай, который они издали приняли за дом, а там — женщина, испуганная до смерти, и семеро детей! Мал мала меньше! Нищета жуткая. Грубо сколоченный стол, вместо стульев обычные пни. Еда такая, что ее и едой-то назвать нельзя. Они, оказывается, из мерзлой земли на этом поле выковыривали картошку — это когда копошились в снегу. А тут вдруг продукты прямо с неба упали, причем столько, что можно накормить целую армию! Шесть с половиной недель немцы жили у нее. Чинили самолет, а заодно и ее дом. Сделали кое-какую мебель, детей учили писать буквы, рисовать, играть на губной гармошке. Макс занимался с ними математикой и смастерил игрушку — юлу, от которой те были в восторге. Все они были счастливы, и все дрожали от страха, что нагрянут русские — партизаны там или еще кто.

— Да уж, приютить восьмерых немцев — за такое по головке бы не погладили, — вставила Тася.

— Именно, — мотнула головой Шефер и дрожащей рукой взялась за таблетку — рассказ ее разволновал.

Все замолчали и, похоже, забыли, с чего началось. Тут Шефер отдышалась и, улыбаясь, сказала:

— Когда немцы покидали дом этой женщины, она сказала Максусу, что у нее ничего нет дать им на память, и подала ему серебряный царский рубль. Из этой монеты сделана моя брошь. Макси сам нарисовал эскиз и нашел ювелира.

— А я так всех людей люблю, — глубокомысленно выдала фрау Кройц, которая весь рассказ пролежала со скрещенными на груди руками.

Тася знала: она беспрестанно молится, причем как-то по-русски: слишком эмоционально, пав ниц. Сестрички обычно подходят к ней и переворачивают на спину — боятся, что задохнется, уткнувшись в подушки. Вот и во время рассказа Шефер безмолвно проникшая в комнату сестра ловко крутанула легкую как былинку Кройц и уложила ее на подушки.

— Большое спасибо, — сказала та и продолжила:

— Люблю русских... Вы ведь русская? — обратилась она к Тасе.

— Люблю американцев, хотя они и разбомбили наш дом. Хороший был дом, четырехэтажный, с лепниной по фасаду, между амурами — герб, — она описала в воздухе какую-то загогулину, видимо, пытаясь воспроизвести в памяти этот герб.

— Построен в 1801 году. Как войдешь в парадное, ажурная кованая лестница и пальмы в полированных кадках... Все, что от него осталось, — большая яма. Выжили только мы с сыном. Я его в тот момент купала в ванной. А жило, — она принялась шевелить пальцами, подсчитывая, — да, жило восемь семей. Но ведь война была, ее Гитлер начал.

Совершенно ясными, выцветшими глазами она посмотрела на Петру.

— Я это точно помню: Гитлер.

И фрау Кройц автоматически перевернулась, распласталась на кровати, пошептала-пошептала и, молитвенно сложив руки, клюнула носом взбитые подушки, да и уснула через минуту. Петра, поняв, что ничто не мешает ее дыханию, продолжила изучать свой журнал.

Шефер тяжело повздыхала и тоже притихла.

Тасе было их жаль, таких старых, беспомощных, с достоинством доживающих скудную свою жизнь. Возможно, думала Тася, фрау Кройц снится их чудесный дом, и сад, и то, как она молода и хороша собой, и вообще все хорошо, потому что нет войны и все живы.

С ней иногда такое случалось: она любила все человечество. Как девяносточетырехлетняя фрау Кройц. Тася почему-то вспомнила Ежова и заулыбалась. Расскажи она ему эту историю, сказал бы: «Садись, пиши заявку на сценарий». Теплый был дядька. Пижон даже в свои восемьдесят два. В их первую встречу он вдруг сказал:

— Будь я помоложе, живой бы тебя не выпустил!

Глаза его блестели, гладко выбритые щеки разругались. Она засмеялась:

— Помоложе, это сколько?

— Семьдесят, — с готовностью ответил он.

— Может, хотя бы шестьдесят? — заулыбалась Тася.

— Шестьдесят — это же мальчишка! — высокомерно бросил он.

— И не выпустил бы, — подтвердила вошедшая в кабинет Наташа, его жена.

Она младше Ежова на двадцать с хвостиком, и хотя тоже большая уже девочка, но до сих пор красавица — порода. Ежов любит повторять, что революционный матрос женился на дворянке, и у них родилась Наталья.

Однажды Ежов позвонил среди ночи и сказал:

— Я тут сидел, думал — давай книгу напишем? Есть потрясающий сюжет: мужики приехали в Москву получать звезды героев, закатились в ресторан обмыть и встретили там девушку. У нее на другой день свадьба, а платья нет. Так они взяли да и продали свои ордена! Решили ей сделать такой королевский подарок. И это, между прочим, было!

На следующий день он слово за слово рассказал ей про свою войну.

— Я не воевал в пехоте, где всегда страшно. Я — в морской авиации. Должен был летать на бомбардировщике стрелком-радистом. Начал учиться, но врачи обнаружили дальтонизм, не какой-то явный, когда вместо красного видишь зеленый, но все же несовместимый с полетами. Стал радистом. В 1944-м после ранения и госпиталя приехал с Дальнего Востока в часть под Москвой. Полк был перегоночный, но с командировками. И вот командировка на Север. Там летчики каждый день летают бомбить фашистские укрепления. Условно пять самолетов улетает, а возвращается три, а то и два. Вечером в красном уголке люди играют в шахматы, как-то разнообразят свой досуг, хотя знают: завтра вылет, из пятнадцати человек минимум шестеро не вернутся. И вот ко мне подходит майор: «Старик, у меня стрелок погиб, ты не подлетнешь нам завтра?». Я мог отказаться, имел право. Но как?! И я говорю: «А че ж, подлетну!»

Сели в машину. Летим. Фиорды. Начинается укрепрайон, там, по данным разведки, где-то склады боеприпасов, которые нужно разбомбить. Скорость — 280 км в час! Самолет ложится на боевой курс, и уже до самой цели — никаких маневров, идет точно в заданном направлении с определенной скоростью, чтобы штурман, перемножив скорость и время, мог рассчитать цель. А как иначе ее сверху найти, особенно если ночь или туман? Но и зенитчики вражеские это тоже понимают и тоже могут два числа перемножить. Бывали и такие случаи — единичные, конечно, когда сбрасывали бомбы абы куда и быстренько возвращались. Но обман скрыть нельзя, таких из авиации выгоняли. Позор на всю жизнь.

Сидишь в турели, высоком, вращающемся кресле, у тебя пулемет на случай, если появится истребитель. Все при деле: летчик держит курс, штурман занят расчетами. И только ты один ничем не занят, просто сидишь и наблюдаешь, как их зенитки, которых целый лес, палят по нашим самолетам. Холодный пот от страха течет с висков к подбородку и затекает под комбинезон. Сидишь и ждешь: сейчас нас, сейчас нас... И вдруг, господи, наконец штурман сбрасывает бомбы, пилот ныряет вниз — значит, еще поживем! Раз пять я так «подлетнул». Каждый раз думал: ну, раз повезло, ну — два, но не бесконечно же будет везти, так что страх нарастал. Эх, думал, пожить бы лет до пятидесяти!

Тася представила Ежова и тихо засмеялась. Потом стала думать о Максимилиане Шефере. Дневник, наверно, вел крупновский инженер — немцы это любят. Пылятся где-нибудь в сундуке аккуратные тетради. В них, может, никто никогда и не заглядывал, а человек исповедь писал, надеялся, что кому-то она интересна.

Ночью ей снилось натуральное кино: шуршит поземка по обледенелому полю, ветер как на струнах играет на затвердевших, измочаленных колосках, пучками торчащих из-под снега. Несутся обезумевшие волки, а над ними — низко-низко самолет, и речь немецкая, и мужик в шлеме и летных очках падает с высоты жестко, словно бесформенный мешок. Тася знает, что его зовут Максом, хотя у него лицо Ежова, только молодое.

Недавно под настроение она позвонила Наташе разузнать о жите-бытье.

— Мы в Черногории, — ответил Натальин довольный голос, — потом поедем в Сербию и в Хорватию. Ежов каждый день плавает подолгу и далеко, говорит, как вернется, книжку с тобой начнет писать.

— А что это за путевка такая на три месяца?

— Не путевка. Друг семьи нам такой подарок преподнес, а живем мы в его домах.

Знаем мы таких «друзей семьи», подумала Тася и улыбнулась — она любила обоих Ежовых. А накануне своего любимого праздника, Дня Победы, Валентин Иванович внезапно умер. Ушел как жил: после дружеского застолья, дома, рядом с женой. Счастливый.

Утром проснулась поздно, около восьми. Соседки приканчивали типичный немецкий завтрак: булочки, масло, сыр, мармелад, тонкие, как бумага, ломтики колба-

сы и ветчины, запросто дули кофе. Какое же надо иметь сердце, чтоб в девяносто четыре опустошить термос кофе, думает Тася.

— Вставать надо в шесть утра, — сосредоточенно намазывая булку маслом, говорит фрау Кройц. — Ложиться в десять, это хорошо для здоровья, а поздно вставать — вредно.

— К вам уже муж приходил, вон розочки принес, — улыбается фрау Шефер. И шумно выдыхает: «*Einen golden Taler*». Потом расправляет сверху вязаной кофточки белый воротничок и говорит тихо:

— Макс был тоже очень хороший.

Тасе хочется сказать этой старушке что-нибудь приятное, и она хвалит ее внешний вид. Да, говорит та, Максу тоже нравится, как она одевается. Тася понимает, что фрау Шефер хочет сказать «нравилось», она частенько путает настоящее время с прошедшим. Тася-то знает, что фрау Шефер живет одна с приходящей домработницей в своем большом доме в Нюрнберге и ее дочь с зятем где-то там же, неподалеку. Они богаты — у них несколько домов в Мюнхене, которые сдают состоятельному персоналу «Сименса», и несколько кондитерских, а их дочь, то есть внучка фрау Шефер, работает в известной оптической фирме «Фильман», и тоже не последний человек.

Все это Тася узнала от самой фрау Шефер в воскресенье, когда посетители валили к ней косяком. То ли она себя плохо чувствовала, то ли не те были люди, которых ждала, — только она беспрестанно вздыхала и что-то бормотала себе под нос. Даже говоря с дочерью, все в сторону смотрела и тербила то носовой платок, то брошь — явно тяготилась гостями. А фрау Кройц была как всегда возбуждена и жалка в своей немощной воинственности. К ней так никто и не пришел, хотя она всегда вытягивала голову, когда открывалась дверь.

— Сын-то к вам не приходил? — не особо деликатничая, спросила желтая индуска.

— Сын? — оживленно переспросила Кройц и впала на несколько секунд в забытье. Потом спохватилась. — Да он же не принадлежит себе.

Монашка, ловко перестилая постель, согласно кивала. Потом сказала:

— Кардиналу хватает забот. Еще бы — такая ответственность.

— Кому? — едва не уронила Тася штатив с закрепленной на нем системой для переливания крови.

— Да, — просияла индуска, — сын фрау Кройц кардинал. — Мы им так гордимся!

— Германия не для стариков, — отрешенно сказала Шефер, погруженная в свои думы.

Тася, блуждая взглядом по палате, вспомнила старый анекдот: мужики, я что-то не пойму, кто войну выиграл. Ее дед, Илья Николаевич, с желтыми от табака пальцами и надтреснутым голосом, любил этот риторический вопрос. Смотря поверх допотопных очков, одна дужка которых была примотана синей изолентой, он задиристо говорил: «Юрк, а знаешь, почему у немчуков всюду цветы на окнах? Это Гитлер приказал палить по голым карнизам. Нету цветов — автоматная очередь. Вишь, как красоту-то и порядок прививали!» — и изумленно смеялся, закашливаясь и похрюкивая.

За больничным окном не угадывалось никаких очертаний, один подсвеченный шпиль ратуши шприцем пронзал стылый туман. Говорить не хотелось, только вздыхать да пить сердечное. Тася нажала кнопку, и пришла индуска, Тася попросила диаципам. Ответ монашенки ее развеселил:

— Вам назначено на ночь девять капель.

Да я его пью ведрами, ваш диаципам, валокордин по-нашему, по шестьдесят капель, когда припрет, хотела сказать Тася.

«Не выделывайся», — одернул ее чей-то голос — может, ее собственный, а может, Юркин.

Индушка взбила ей подушки и ушла.

На следующее утро фрау Шефер начала активничать ни свет ни заря, еще и пяти не было. Вдыхала, шебуршила непослушными пальцами в тумбочке — искала то ли очки, то ли еще что-то. Потом тяжело подняла с кровати непослушное тело и принялась собираться. Вытащила чемодан из стенного шкафа и сложила туда все свои наряды.

Тася наблюдала, как долго отцепляла она брошь от красной кофточки. Что-то останавливало ее от предложения помочь. Она лежала и тихо за ней наблюдала. За тем, как неловки ее искореженные полиартритом пальцы, как трудно дается простейшее движение. Средний и безымянный пальцы так причудливо сплелись на обеих руках, словно это одно узловатое дерево или две обвившиеся в экстазе фигуры. Когда старушка отцепила, наконец, брошь, Тася внутренне расслабилась, будто это она проделала изнурительную работу. Но тут фрау Шефер, к изумлению Таси, принялась прицеплять брошь на другую, сиреневую кофточку, которую, видимо, намеревалась сегодня надеть.

— Фрау Шефер, — позвала Тася, — позвольте мне.

— Спасибо, милочка. — Если вам не трудно, то вот сюда, не в центр, а немного сбоку. Меня сегодня выписывают. Дочь приедет и повезет меня к себе, — вздохнула она. — Там мы пообедаем, а потом я поеду к Макс, — сказала она и просияла.

На кладбище, сообразила Тася. Ее бабушка тоже говаривала: «Я к Илюше схожу», когда шла к деду на могилу.

— А давно ваш муж умер? — аккуратно спросила Тася.

— Что вы! Макс жив! — фрау Шефер будто обиделась.

Так показалось Тасе, во всяком случае.

— Но вы же говорили, что живете одна, — осторожно вставила Тася.

— Да конечно же. Потому что Макс живет в доме для престарелых. У него не ходят ноги, и он передвигается в инвалидной коляске. Дочь с зятем решили, что там ему будет лучше. Мы с Макси были против, но нас не послушали. А мне так тоскливо, так плохо без него. Хотя шпиталь и хороший — мы платим четыре тысячи евро в месяц — вернее, Макс сам за себя платит, это его деньги. Я же говорила, он был хорошим инженером. Мы женаты шестьдесят лет, из них пятьдесят восемь прожили вместе в нашем доме, душа в душу. Мне с ним повезло. Настоящий золотой талер.

И фрау Шефер машинально провела непослушной рукой по груди, как бы желая удостовериться на месте ли брошь.

Елена Лапшина

На тонкой леске слова

* * *

Проступает иное и время идет стороной,
но любой — ненароком — его фотоснимком клеймен:
эти девочки-девушки-женщины, бывшие мной,
отбывают былое, уже не имея имен.

Не во времени дело, не в мутной повадке его —
потихоньку начаться, а после втопить во всю прыть.
И не праздная память приврет, разрывая родство
с незабвенными теми, кого бы и рада забыть.

Что одежда, что прошлая жизнь: поносил и — тесна.
Так змея выползает из кожи, из прожитых дней:
омертвевшая длинная кожа — уже не она,
монохромная хрупкая лента — уже не о ней.

* * *

...А прошлое мое — отворено, —
я в нем стою, как девочка нагая,
всех, походя глядящихся в окно,
ненужной откровенностью пугая.

Благословен стыда стеклянный дом
с его простым удобством для пристрела.
Гордыня, знамо, лечится стыдом, —
и я лечусь, пока не застарело.

Я протираю мутное стекло
и жду, когда придет покой — не роздых, —
и я пойму: ну, вот и отлегло...
И выдохну, как пар в морозный воздух.

* * *

...И было объятие девятого вала,
и ртами пираний вода целовала,

и бились в борта, выходя из воды,
харибды и сциллы — ладони беды.

Щепой корабли разлетались, доски.
Просили не силы, просили — пощады.

Но тайного слова губительный гнет:
земля не примет, вода — не вернет.

И ныне над нами смыкаются своды —
тяжелые льды — онемевшие воды.

Ни звука, ни вздоха, и виден сквозь лед
мерцающих рыбиц застывший полет.

* * *

...Я сторожу... Я отхожу ко сну —
плотвица, заглотившая блесну,
царь-рыбица бесценного улова.
Уже не сожалея ни о ком,
неведомым ведома рыбаком
на волоске, на тонкой леске слова.

* * *

...И мы уснем, лишённые тепла,
и поплывем по млечному распутью.
И в наши тонкостенные тела —
стеклянные, наполненные ртутью, —
войдет неодолимый тонкий холод
там, на последней — в никуда — границе,
где тьма густа, как чёрный мармелад
у Марианской впадины в глазнице...

* * *

Былое полнолуние лица
напоминают мне глаза ли, губы ль.
Увы, лицо, идущее на убыль, —
как старый зверь, бредущий на ловца,

уже прощенный за тщету надмения,
за темноту грядущего затмения.

* * *

Перетерпит, смолчит, обернется и тем же воздаст...
Что бездумная вольница здесь, что тупая неволя,
где тяжелые лоси ломают предутренный наст,
разоряя гнилую скирду на окраине поля.

Помрачение мира, знамение, знамо — зима,
как предвечная весть — мерзлота ледяного поморья.
Осмелевшие волки заходят в пустые дома,
оскверняя жилье, как ворье, разоряя подворья.

Умолкают языки, дороги ведут в никуда...
Не сумев сговориться, смолчатся варяги и греки.
В полынье недвижима полынная злая звезда,
и стоят подо льдами горчайшие черные реки.

Край звериных следов, где никто никого не спасет,
никому не привидится, в память безвестному веку,
будто кто золоченую чашу по небу несет
и незримый другой невесомо ступает по снегу...

* * *

И в дольний мир ненадолго сходя,
как лестницами — струями дождя,
пройти в ушко тропюю караванной.

И слушать, как упорствует трава,
и лебедей пускать из рукава,
и загоститься, будучи незваной.

А после, выкликая имена,
еще не понимая, что — одна,
брести обратно — в край обетованный.

Игорь Шумейко

Война и мир... и война

Таким, посттолстовским, «слоганом» можно описать ситуацию, накрывшую наших соотечественников в 1945—46 годах. Вторая «война» этой формулы, небезызвестная «холодная», оставила в истории страны и мира след, не меньший, чем Первая. Приближением к этой теме послужили мои прошлые публикации в «Дружбе народов»: «Масса греха» — о сползании мира во Вторую мировую войну и беседа с Михаилом Хазиным, в которой мой собеседник подчеркнул тот не слишком часто вспоминаемый факт, что в 1970-х СССР практически выиграл «холодную войну», или, по крайней мере, одержал победу в «гонке вооружений», наиболее важном и драматическом аспекте «холодной войны».

«За Сталина! За Ялту!»

К общепринятой формулировке «СССР стал мировой державой благодаря Ялтинской системе» добавлю лишь оттеняющий ее микрокомментарий: вперед вывела нашу страну не Победа во Второй мировой как таковая, давшая лишь моральное удовлетворение с оттенком горечи потерь, а именно — Система, дом, крепость, выстроенные на фундаменте Победы.

Большинство дипломатов и юристов признают Ялтинскую систему частью, продолжением Вестфальской модели международных отношений, базирующейся на идее государственных суверенитетов. И хотя основной стержень «Ялты» — биполярность миропорядка исчезла в... — чаще всего называют 1991 год — сохранились многие ее элементы, зафиксированные в международных договорах и стабилизирующие международные отношения. Можно сказать, что «Ялта» задала правила — и ведения холодной войны, и выхода из нее. И хотя в этом смысле Ялтинская система — явление более широкого порядка, воспринимают ее как реальность, данную в ощущениях Холодной войны.

В хоре нынешних критиков «Ялты» легко различить два голоса, назовем их условно: дискант пацифистов и фальцет восточноевропейских лимитрофов. А основной мотив критики — сублимационный: когда неудобношний раз ругнуть Россию — ругают Ялтинскую систему.

И вот сегодня, шестьдесят пять лет спустя, сложилась ситуация, отдающая абсурдом — потеряв Ялту как город и защищая «Ялту» как систему, мы вынуждены повторять:

1) Настоящая оценка Ялтинской системы международных отношений возможна только в сопоставлении ее с предшественницей — Версальско-Вашингтонской системой. Критикам можно возражать по пункту, сравнивая все детали Версальского и

Шумейко Игорь Николаевич — историк, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». Публикации в «ДН»: «Масса греха. Мюнхенский договор и Европа во Второй мировой войне» (№ 9, 2008), «Выход возможен только через кризис. Беседа с экономистом Михаилом Хазиным» (№ 6, 2009).

Ялтинского механизмов, вплоть до сравнения действий и действенности Лиги Наций и ООН. Но при этом, нельзя выводить из поля сравнений «конечный продукт их деятельности», то есть забывать, что главной продукцией «Версаля» была Вторая мировая война.

2) Да, можно сравнивать Ялтинскую встречу с... фестивалем в Сан-Ремо, с хиповой тусовкой в Вудстоке, со Всемирным конгрессом пацифистов, с Барселонской олимпиадой, с конкурсом «Мисс Вселенная-2009», что, по сути, и делается, после чего следует суровый вывод: Ялта — гораздо более суровое, циничное, грубое мероприятие, нежели все вышеперечисленные... Однако настоящая, добросовестная оценка Ялтинской системы международных отношений возможна только... см. Пункт 1.

Главный куш, основное яблоко раздора известны — это те самые восточноевропейские суверенитеты, столь щедро отсыпанные «Версалем» и ущемленные ялтинским принципом «сфер влияния». Да по «Версале» не было «сфер влияния», хотя были «подмандатные территории», но это же где-то там, за пределами Ойкумены, на Востоках — Ближнем или еще более отдаленном Дальнем! В упомянутой выше моей статье «Масса греха» приводились ключевые примеры: Литва, за полтора года до присоединения к СССР сработавшая на Гитлера («Мемельское дело»), Чехословакия, бежавшее польское правительство (тоже до вхождения советских войск)... Вывод: рисков, с которыми сопряжена жизнь каждого нормального суверенного государства, восточноевропейцы тогда принимать на себя не пожелали!

Плавающий «суверенный курс»

Да, само признание странами-победителями наличия «сфер влияния» по определению ограничивало суверенитеты, но ведь они, эти суверенитеты, и раньше имели эдакий, *плавающий курс*. Например, узнав про соглашение (еще тегеранское) союзников о послевоенном включении прибалтийских республик в СССР, Гитлер тут же сделал ответный выпад: объявил Латвию и Эстонию независимыми. Самое интересное в этом решении — его историческая мотивировка: в 1918 году Латвия и Эстония получили независимость фактически из рук фон дер Гольца, вытеснившего с их территорий красные войска. Впоследствии это свое завоевание — латышско-эстонскую независимость — Германия отдала Советскому Союзу в 1940 году, а сейчас, в 1943-м, вольна забрать обратно. Прибалты приняли и эту аргументацию, и «независимость» в 1943-м, собственно, уже во второй раз, если вести отсчет от 1918 года. Добавилось лишь несколько вывесок на комендатурах в Таллине и Риге. Говорит ли это о чем-нибудь, кроме того, что цена той прибалтийской «независимости» была — пфенниг в базарный день? Да, именно так: по полпфеннига на Эстонию и Латвию.

Нельзя же не признать, что Ялтинская система, отвечая за ход Холодной войны и выход из нее, мирно преподнесла Риге и Таллину суверенитет, реальная стоимость которого намного выше, чем те два германских подарка 1918-го и 1943 года...

О том, как Черчилль трактовал Холодную войну

К сожалению, в небольшой статье нет возможности полностью прокомментировать Фултонскую речь Черчилля, но пару моментов все же не могу обойти стороной.

Черчилль произнес тогда знаменательные слова:

«Организацию Объединенных Наций необходимо начать оснащать международными вооруженными силами... Было бы, однако, неверным и опрометчивым доверять секретные сведения и опыт создания атомной бомбы, которыми в настоящее время располагают Соединенные Штаты, Великобритания и Канада, всемирной организации, еще пребывающей в состоянии младенчества... Ни один человек, ни в одной стране не стал спать хуже от того, что сведения, средства и сырье для

создания этой бомбы сейчас сосредоточены в основном в американских руках. Не думаю, что мы спали бы сейчас столь спокойно, если бы ситуация была обратной и какое-нибудь коммунистическое или неофашистское государство монополизировало на некоторое время это ужасное средство... Ужасающие последствия этого не поддавались бы человеческому воображению. Господь повелел, чтобы этого не случилось, и у нас есть еще время привести наш дом в порядок до того, как такая опасность возникнет. Но даже в том случае, если мы не пожалеем никаких усилий, мы все равно должны будем обладать достаточно разительным превосходством, чтобы иметь эффективные устрашающие средства против его применения или угрозы такого применения другими странами. В перспективе, *когда подлинное братство людей будет достигнуто и воплотится в некую всемирную организацию, обладающую всеми необходимыми практическими мерами безопасности, делающими ее эффективной, тогда эти силы и средства будут, разумеется, вверены этой всемирной организации*» (курсив мой. — И.Ш.).

Вот она, первая проговорка Черчилля и первый эскиз характера будущей Холодной войны: «Ядерная бомба и... подлинное братство людей». Фактически Черчилль предлагает уговор: *сначала* — подлинное братство, а *потом* — бомба в распоряжении всемирной организации. Стоит задаться вопросом — зачем эдакому подлинному братству бомба?

Мой вариант ответа (предложите иной): «подлинное братство людей» понималось как достижение контроля над ООН. Тогда можно будет и бомбу предоставить. И ведь в принципе — даже справедливо: мол, бомба на данный момент — наша, и мы имеем право давать—не давать. Или давать, но только в подконтрольные руки. В высшей степени характерна эта проговорка — состояние подконтрольности, названное «подлинным братством человечества».

Ведь действительно, с лозунгом «подконтрольность» не придешь в чужую страну раздавать гранты, пестовать оппозицию, контролировать, финансировать одни выборы или перечеркивать результаты других, подкармливать избранные СМИ, учреждать международные трибуналы. А с «подлинным братством», да с «общечеловеческими ценностями» все это очень даже возможно. То есть, говоря об атомной гонке, Черчилль проговаривается и об идеологической.

Послушаем, что говорит далее Черчилль:

— Я часто привожу слова, которые пятьдесят лет назад слышал от великого американского оратора ирландского происхождения и моего друга Берка Кокрана: «На всех всего достаточно. Земля — щедрая мать. Она даст полное изобилие продовольствия для всех своих детей, если только они будут ее возделывать в справедливости и мире».

Узнать бы, что великий Берк Кокран говорил (или сказал бы) о нефти. Хватит ли ее на всех детей Матери-земли? Или некоторых из детей (вроде иранского президента Моссадыка или иракского Саддама) придется все же... того-с.

Как Холодную войну собирался вести Сталин

Советский Союз, как говорено уже много раз, воевал не только с Германией, но и с Европой. Потому Сталин и был обязан принять меры: создать буфер, свою сферу влияния (безопасности), отрезав не только у Германии — Восточную Германию, но и у Европы — Восточную Европу, у Берлина — Восточный Берлин. Союзники признали это право СССР, и не только в разгар войны, в Тегеране, но и в Ялте, за считанные недели до ее, войны, окончания. После того, как СССР в очередной и *последний раз* на европейском театре военных действий спас их во время Арденнской битвы своим броском к Одеру. Иными словами, у Рузвельта и Черчилля были *не только* военно-оперативные резоны соглашаться на такой раздел.

Это право СССР на материальные и территориальные гарантии против повторения агрессии имело своим следствием и обязанность — обустройство буферной территории. Была ли задача безнадежной? В принципе с идеей своего сугубо функциональ-

ного существования государства этого региона были хорошо знакомы — роль «санитарного кордона» против СССР в 20—30-х годах они выполняли более-менее умело. В Объединенной Европе-1 (Берлинской) они тоже были вполне исполнительны.

Имелись ли у СССР ресурсы на обустройство? Ведь санитарно-кордонную службу стран-лимитрофов (теперь уже не против Советского Союза, а в его интересах) нужно было оплачивать. И тут следует вспомнить все своеобразие того периода: от Западного блока чуть ли не ежемесячно одна за другой отпадали колонии, а в СССР, как по мановению волшебной палочки, открывались то «второе Баку» — нефтяное Поволжье, то «сибирские кладовые». К тому же, одержали победу коммунисты в Китае, Индонезии, что рассматривалось почти как решающий фактор в геополитическом поединке. Сдерживал СССР лишь слабый опыт хозяйственной и социальной организации.

Что из этого следовало?

Октябрь, 1952. Сталин — новоизбранному члену Президиума ЦК КПСС философу Д.И.Чеснокову: *«Без теории мы погибнем»*.

Удивительные слова. Дело, напомним, происходило «в стране победившего учения Маркса... всесильного потому, что верного»... Не будет преувеличением сказать, что 99,9 процента населения были уверены: «Уж что-что, а теория-то у нас есть». Отсутствие много чего другого представлялось временным и компенсировалось уверенностью, что все идет в согласии с единственно верной теорией.

Так без какой теории «мы погибнем»?

Сейчас уже собирается достаточная (может, уже и критическая) масса исследований и работ серьезных ученых, способная произвести важный переворот во взглядах наших сограждан на то время и в его оценках. «Новая программа Сталина» включала:

- разрядку международной напряженности;
- гласность;
- ограниченную демократию, прежде всего в партии;
- улучшение жизни населения;
- децентрализацию экономики.

Доказательства тому собираются самые серьезные. Много чего не надо даже и открывать — надо просто перестать замалчивать. Например, реформу партии в конце 1940-х. Были ликвидированы транспортный и сельскохозяйственный отделы ЦК ВКП(б), из обязанностей секретарей ЦК устранены функции контроля за отраслевыми отделами. В аппарате ЦК оставлены отделы, отвечающие *только за подбор кадров и идеологию*. Партия устранялась от прямого руководства экономикой. Ведь это по сути — все пункты «тяжелой борьбы за демократизацию общественной жизни в 1989—1991 годах». Одно уже это буквальное сходство программ объясняет причины тотального замалчивания былой партийной «перестройки»: выходит, что «ревнители, нормировщики Ленинских норм», деятели эпохи Сахарова—Карякина списывали модель преобразований ни у кого иного, как у самого... демократический язык и не повернется произнести, у кого именно.

Вернемся, однако, в конец сороковых — начало пятидесятых.

В международной жизни — уступки в Корее, сдерживание агрессивных планов зарубежных компартий. Сильнейший раздражитель для Запада Коминформ — наследник Третьего Интернационала — фактически прекращает деятельность. Как только новая программа Компартии Великобритании стала лояльной (мирный парламентский путь к социализму, сохранение частного сектора), она была опубликована в журнале «Большевик» (1951 год).

Серьезным мирным знаком, поданным Сталину его противником в Холодной войне, стало смещение в апреле 1951 года главнокомандующего войсками США на Дальнем Востоке (основная горячая точка) генерала Макартура, главного сторонника ядерной войны с СССР.

Сошлюсь на историка Григория Ханина:

— Сталин был прагматик. Он пришел к выводу, что в связи с успехами СССР в военной технике, огромным расширением социалистического лагеря после победы китайской революции (1949 год) период выживания для нашей страны закончился.

Дальнейшие успехи зависели уже от способности системы содействовать инициативе и творчеству граждан, чему препятствовала тоталитарная система.

Отстранение Сталиным слоя партноменклатуры от власти готовилось настолько загодя, что только сегодня собираются и идентифицируются фрагменты этого плана. Один из таких фрагментов — поощрение критического подхода в литературе. По свидетельству Константина Симонова, Сталин особенно ругал «теорию бесконфликтности», а требование «партийности писателей» увязал с прошлым периодом борьбы за власть и объявил сегодня недействительным. О том же свидетельствуют известные публикации Овечкина, Веры Пановой в «Новом мире» и «Правде» в 1952 году. Популярное выражение «нам нужны Гоголи, Щедрины» (спародированное позднее: «и такие Гоголи, чтобы нас не трогали») — это ведь из выступления Сталина на комитете по присуждению Сталинских премий 1952 года. Юрий Жданов (сын, ученый) помнит, как летом 1952 года Маленков передал указание Сталина: ликвидировать монополизм Лысенко в биологической науке, ввести в президиум ВАСХНИЛ противников Лысенко, в первую очередь Цицина и Жебрака.

Каганович свидетельствует, что Сталин планировал выступить с серьезным и самокритичным докладом на следующем, очередном (если посчитать, то выходит — на *двадцатом*, что сейчас странно и вообразить) съезде партии. А мог, откровенно говоря, поступить и наоборот: весь состав прошлого, девятнадцатого съезда (1952 год) пустить... вслед за известным семнадцатым — для него это был бы вопрос, скорее всего, одной лишь тактики. Одно бесспорно — двадцатилетняя летаргия типа брежневской в планы Сталина никак не входила.

Уравнение с неизвестным количеством неизвестных

Вообще говоря, многолетнее противостояние, соревнование двух систем, двух блоков, возглавляемых СССР и США, мне представляется эдаким уравнением с неизвестным количеством неизвестных. Решить его было невероятно сложно. Более того — сложно было даже и понять: в чем состоит это «решение». Военная победа? Но мы прекрасно помним, что с определенного момента все политики, госдеятели заявляли: «Военное решение невозможно». Мировая революция? Но линия на мировую революцию была отвергнута в СССР еще со времени падения Троцкого. Конвергенция? Тоже памятный термин, своего рода научный эквивалент «ничьей» в поединке СССР—США. Победа американских ценностей? Это чуть ближе к историческим итогам — крах социалистического блока и СССР многим позволяет довольствоваться этим приближением.

Иксы и игреки в уравнениях вооружений

«Гонка вооружений», то есть параллельное соревновательное производство оружия и периодические замеры уровней вооруженности, вообще говоря, наличествовала во всей истории цивилизаций. В чем особенность гонки, в которую вступили СССР и США? Начиная с параллельных подсчетов Фукидида (количество триер у Афин и союзников — количество триер у Спарты и союзников, количество гоплитов, пелтастов, лучников у одной стороны — их количество у другой) и вплоть до Второй мировой войны включительно вооружения были измеримы, в том числе по их физическим параметрам, и соизмеримы. К описываемым временам арсеналы вооружений, включающие оружие массового поражения, а также разнообразнейшие средства его доставки, столь изменились качественно, что самой сложной частью всех переговоров по разоружению стало согласование огромного числа неких «таблиц соответствия», которые как-то условно приравнивали имеющиеся у одной стороны бомбардировщики и ракеты МХ, перебрасываемые по подземным железным дорогам, — к ядерным подлодкам другой... Помните знаменитую советскую стратегию «асимметричных ответов»? Ясно, что 12 авианосцев можно было сопоставить с 5800 танками —

только через общий эквивалент потерь, которые теоретически можно нанести тем и другим видом оружия.

Обращусь еще раз к упоминавшемуся в вводке к этой статье утверждению Михаила Хазина о том, что Советский Союз практически выиграл «гонку вооружений» в 1970-х годах, ибо возникает вопрос: как измеряли, как удостоверились, что советская гора оружия перевесила американскую?

Хитрая диалектика эпохи состояла в том, что навык мирных разрешений отдельных уравниваний конфликтов приводил к тому, что реальная полномасштабная война отодвигалась все дальше и дальше, а в арсеналах устрашения все большую и большую долю составляли виды оружия, никогда — слава богу! — не испытанные на практике. Были взрывы на полигонах, учебные пуски ракет, маневры, штабные игры, но понятно же, что вывести настоящее уравнение соотношения сил ядерных подлодок, авианосцев, новейших танков и бомбардировщиков можно только по результатам боевых испытаний... То есть по потерям противника.

Для иллюстрации: в самой обычной жизни дачник, поджидая друзей, колет топориком дрова для бани и наколот, скажем, пару кубометров поленьев. Можно ли эффективность его работы сопоставить с эффективностью алебардщика, который в одиннадцати сражениях раскрыл семьдесят семь голов, при всем при том, что действовали они сходными орудиями (алебарда — это тот же топор на длинной ручке)?

Следствием упомянутой выше хитрой диалектики стало то, что в этот период гонки вооружений между СССР и США работала уникальная схема расширенного воспроизводства. Опишу ее, стилизуя формулу под Марксов «Капитал»:

Реальные экономические затраты (1) — реальное оружие — воображаемый урон — реальный страх — реальные экономические затраты (2) .

Следует обратить особое внимание на предпоследний элемент этой цепи метаморфоз. Именно реальность страха — включенность этого параметра в системы геополитических уравнений с воображаемым уроном не давала им, этим уравнениям, как говорят теперь, «виртуализироваться».

Страх в этой цепочке совсем не означает, что население враждующих блоков в ужасе металось по улицам, как персонажи в триллерах. Реальность страха заключалась в том, что каждая из сторон осознала собственное уязвимое положение и была готова отдавать изрядную часть своего достояния военно-промышленному комплексу, закольцовывая эту цепочку, выводя на реальные экономические затраты. А что в период Холодной войны воспроизводство страха было расширенным, в общем-то факт доказуемый, измеряемый.

Лирико-историческое отступление: «На дне страха»

Рассуждая о подсчетах, равновесии страхов и угроз, согласитесь, важно рассмотреть угрозу в самом чистом ее виде, в абсолюте. Приведу пример, заслуживающий, по-моему, не только обдумывания, но даже и восхищения.

То, что Суэцкий канал был главным стратегическим пунктом Британской империи, — общеизвестно. Как известно и знаменитое британское определение Азии: «территория к востоку от Суэца». Возможно, именно это представление и объясняет наивные попытки британцев свою стычку у Эль-Аламейна наперекор всем известным цифрам и фактам приравнять к Сталинградской битве. Не пустили корпус Роммеля к Суэцу — «Вселенная устояла».

Но если взглянуть на дело безо всякой иронии, то Суэцкий канал был британской «дорогой жизни», и для держав Оси было очень важно если не захватить, то хотя бы вывести его из строя. Но что, собственно, там «выводить из строя»? Канал не имеет шлюзов и, по сути, является искусственного происхождения проливом между Средиземным и Красным морями длиной 161 километр. Бомбить его — все равно

что, допустим, бомбить Магелланов пролив или Ла-Манш (тоже, кстати, называемый у англичан «каналом»), то есть толочь воду в море в самом буквальном смысле слова.

Тем не менее Суэцкий канал — узок, местами его ширина — всего лишь сто метров, и если подорвать проходящие по таким сужениям крупные суда, то Суэц можно попросту закупорить.

Итальянцы были, мягко говоря, не самые brave вояки — преодолевать зенитный огонь проходящих кораблей и подрывать их итальянским бомбардировщиком не очень-то удавалось. Поэтому они прибегали к нехитрому приему: прилетали в момент, когда канал пуст, и сбрасывали магнитные мины. На их счастье, береговые зенитки англичан прикрывали едва ли десятую часть суэцкого фарватера.

Что могли англичане противопоставить такой тактике? Как в «форсированном» варианте шахматной партии, они нашли единственно возможный ответ: расставили вдоль берега людей, которые считали все сброшенные мины, затем прерывали движение кораблей и тралили фарватер до тех пор, пока все мины не окажутся выловленными. Отважные британские моряки упорно совершенствовались в этом занятии, постоянно сокращая удельное время на поиск-подъем-обезвреживание итальянских мин. Осложняли англичанам работу и сбрасываемые муляжи, макеты мин — ведь их, прежде чем обнаружить, что выловлена безвредная пустышка, надо было также искать, тралить, поднимать наверх...

И тут нация Леонардо да Винчи ответила британцам изобретением, выводящим всю мировую человеческую изобретательность к пределам, за которыми начинается абсолютная гениальность. Или чистый абсурд. Итальянцы соорудили муляж мины, целиком выполненный... из соли. По своему падению, по всплеску при ударе о воду подделки были неотличимы от настоящих, боевых прототипов, а наблюдатель не мог, разумеется, увидеть, что происходит с муляжом после погружения. От удара он раскалывался на мелкие куски, которые быстро растворялись в воде. От «мин» оставался только сосчитанный англичанами всплеск. То есть образ в самом чистом виде. Страх, идея угрозы, абсолютно нематериальная субстанция, подобная мировому эфиру или флогистону XIX века. Если одна железно-тротиловая мина отнимала у англичан в среднем часа полтора, то эта — даже уже и не солевая, а идеальная, чистая «идея мины», возможность мины — перекрывала канал на целые дни поисков. Оставаясь в воде, на дне хоть какой-то фрагмент, ошметок, выдававший мистификацию, можно было бы его обнаружить. Найти, удостовериться в подделке и вычеркнуть ее всплеск из общего списка. Однако англичане, даже узнав позднее об итальянской хитрости, вынуждены были все же определенное время тралить дно канала — выскребать самое дно своего страха, прежде чем кто-то из начальства не принимал на себя ответственность и не приказывал возобновить движение.

Этому сюжету не дал забыться, раствориться английский писатель Ивлин Во. В послевоенном путевом очерке он приводит свою беседу с ветераном, счетчиком тех минных всплесков на Суэцком канале...

Почему же этот уникальный сюжет столь недооценен? Не знаю. Ровно настолько же недооценен и сам Ивлин Во, лучший, на мой взгляд, живописец абсурдов XX века, зачисленный, как и наш Гоголь, в «писатели-сатирики».

«Ученые» и «военщина»

Нота весьма характерного сожаления прозвучала впервые на Пагуошской конференции еще в начале 60-х годов, а затем многократным эхом — в выступлениях ученых, гуманистов, а далее — и в книгах, фильмах соответствующей тематики: «Мы столько проповедовали о мире, гуманности, но угрозу-то мировой термоядерной войны победили простые и холодные калькуляции генералов. Именно их расчеты возможных потерь отодвинули войну».

Справка. Пагуошское движение ученых (Pugwash Conferences on Science and World Affairs) — движение ученых, выступающих за мир, разоружение и международную безопасность, за предотвращение мировой термоядерной войны и научное сотрудничество. Пагуошское движение родилось в 1955 году, когда одиннадцать все-

мирно известных ученых, в том числе А.Эйнштейн, Ф.Жолио-Кюри, Б.Рассел, М.Борн, П.У.Бриджмен, Л.Инфельд, Л.Полинг, Дж.Ротблат, выступили с манифестом, в котором призвали созвать конференцию против использования ядерной энергии в военных целях.

Не знаю, подсластило ли обиду ученых-пагуощцев присуждение им в 1995 году Нобелевской премии мира, но антитеза эта вполне сформировалась: ценности гуманизма и расчеты генштаба. При сравнении эффективности в деле предотвращения Большой войны «победа за явным» достается генштабовским сметчикам.

Но если чуть отвлечься от сословной солидарности, от конфронтации: «интеллектуалы — военщина», то окажется, что даже и такой способ достижения результата — предотвращения мировой ядерной войны — все же является свидетельством известной интеллектуальной утонченности XX века. Полувековой мир продержался, по сути, на хорошем воображении, на способности представить невидимое, поверить, не вкладывая персты в раны.

Мысленно прикладывая виртуальные картины развалин к Москве, Нью-Йорку, Ленинграду, Магнитогорску, Чикаго, Лос-Анджелесу, генштабисты словно с какой-то своей изнанки перечитали Евангелие, где Спаситель говорит апостолу Фоме: «Ты поверил, потому что увидел... блаженны не видевшие и уверовавшие»...

Могут возразить: на столы начгенштабов ложились вполне точные расчеты экспертов, калькуляции мегатонных мощностей зарядов, возможных потерь, и где-то на полях этих докладных записок родились геостратегические формулировки: «неприемлемые потери», «нанесение противнику неприемлемого урона».

Но и с этой стороны мы опять придем к таким субстанциям, как «воображение», «вера». Ведь и самый развернутый, с расчетами и формулами, доклад, положенный на стол, оставляет хозяину стола итоговый выбор: поверить в эти расчеты или не поверить. И в большинстве случаев на тех же столах лежали и альтернативные расчеты и докладные записки. Это было одной из главных задач лиц, принимавших решения — обеспечить поступление нескольких экспертных оценок. Но ведь практически перед каждой известной нам масштабной исторической катастрофой имелась точка развилки (или, применяя популярный ныне термин: «точка бифуркации»), дойдя до которой государства и армии словно приостановились, делая выбор, а затем уже шли к краху. И практически всегда близ этих точек оказывались свои предупреждавшие: в древние времена — пророчившие, а позже, в рациональную эпоху, выкладывавшие «точные расчеты», которым не поверили.

Определить, какой именно урон противник посчитает для себя неприемлемым, — тоже вопрос, в известной мере, воображения... Джон Леннон, автор знаменитой песни — неформального гимна движения пацифистов: Imagine («Представьте мир без войн...»), попал-то ведь в точку, хотя и, как говорят, «с точностью до наоборот». Именно хорошее умение *представить* войну позволило «военщине» все же *не нажать кнопку*. Следует только пояснить, что я подразумеваю под словом «военщина». Вышедший в отставку американский главнокомандующий Второй мировой Эйзенхауэр оставался представителем «военщины» и в два своих президентских срока. Потому он и закончил войну в Корее, не дал Америке ввязаться в войну с насеровским Египтом, а наоборот, оказал сдерживающее давление на Великобританию, Францию, Израиль и на одно десятилетие заработал для Штатов авторитет миротворца в арабском мире. А вот Брежнев, даром что четырежды Герой, маршал, вписавший себя в мемуары Жукова, — он-то как раз к «военщине» не принадлежал. Потому и нажал «афганскую кнопку».

Не хотелось бы при этом идеализировать Эйзенхауэра, свергнувшего в Гватемале президента Хакобо Арбенса, вмешавшегося в Ливане, отправившего в 1960 году в полет знаменитый разведывательный самолет U-2 и записанного во всех советских изданиях под титулом: «Эйзенхауэр — активный сторонник Холодной войны».

Но именно причастность к катарсису Второй мировой войны позволила Эйзенхауэру вести Холодную войну *правильно, адекватно*. Помогла ему постигнуть истинные правила этой войны: не дать проиграть своей стране и не дать ей свалиться в войну «горячую». Потому и Трумэнскую Корейскую войну закончил, но и Гватемалу — «не отпустил».

P.S. Своеобразная, символическая закольцовка этого фрагмента о противопоставлении «ученые — военщина» во времена Холодной войны СССР—США: внучка Эйзенхауэра, президента из числа «военщины», стала женой знаменитого советского ученого Роальда Сагдеева.

Победное оружие Америки

Пройдемся кратко по «неизвестным» компонентам, входящим в уравнение с неизвестным количеством неизвестных.

Требуемое воображение. Вполне высокого уровня. Холодная война имела значительную воображаемую компоненту. Выше были рассмотрены частные уравнения страха.

Театры военных действий Холодной войны. Вот несколько хорошо известных, утвердившихся тогда названий сфер, где главным образом велась эта война: «Гонка вооружений», «Экономическое соревнование», «Локальные конфликты», «Идеологическое противостояние», «Пропаганда».

Понятна тесная связь «гонки вооружений» и «экономического соревнования»: экономика генерировала вооружения. Однако Соединенным Штатам удалось навязать нам еще одну «гонку», значение которой для исхода Холодной войны все еще остается недооцененным в общественном сознании, — «гонку потребления».

СССР не проиграл «гонку вооружений». Возможно, даже правы те, кто утверждает, что СССР был близок к выигрышу. Однако СССР проиграл «гонку потребления». Уровень жизни в СССР стал малопривлекательным для нового поколения граждан. Что свидетельствует о «гоночности», соревновательности такого феномена, как потребление? Или, говоря по-иному, что включило его в общее соревнование СССР — США? Факт в том, что впервые в истории России, СССР население стало сопоставлять свой, полуинтуитивно обобщаемый уровень жизни не с зажиточностью предыдущих поколений, а с уровнем жизни своих современников в других странах.

До начала 1980-х годов СССР обеспечивал своим гражданам непрерывный подъем уровня жизни. (Расселенные коммуналки и бараки. Появление бытовой техники и тому подобное.) Но теперь уже (повторюсь, впервые в отечественной истории) граждане перестали сравнивать: «У нас — лучше, чем у наших отцов, дедов», а начали сокрушаться: «У нас хуже, чем у европейцев или американцев». Это скорее всего говорит еще и об идеологическом поражении.

Однако «гонка потребления» — победное оружие Америки — не завершилась вместе с победой США над СССР. Это очень важное следствие. Даже и причины нынешнего мирового кризиса справедливо объясняют неумеренным потреблением в США.

Хочу поделиться с читателем важным наблюдением, которое доказывает, на мой взгляд, наличие некоего подобия между Второй мировой и Холодной войнами. Симптоматически важной показалась мне тотальная критика, которую даже европейцы обрушивают на «зажравшихся в кредит американцев». Ведь их, американцев, потребление было в известной степени — навязанное, «гоночное». («Ты, американский слесарь, покажи, насколько ты живешь лучше советского слесаря», «Фермер — лучше колхозника». И далеко не последний пункт в этом списке сопоставлений: «Американский лейтенант — лучше советского лейтенанта».) Из этого следует, что американских обывателей, рядовых потребителей можно тоже отчасти признать бойцами, ветеранами Холодной войны. Они выполняли боевую задачу — потреблять.

Если согласиться с таким взглядом, то сразу же становится ясным сходство нынешней западноевропейской критики «американцев-победителей» с восточноевропейской критикой «советских победителей», настоящих солдат, прошедших настоящую войну. Выходит, европейцы одинаково отнеслись к советским победителям во Второй мировой и к американским победителям в Холодной.

Помню, в рецензиях на мою книгу «Вторая мировая. Перезагрузка» некоторые критики (например, Виктор Топоров в «Санкт-Петербургском журнале») недоумевали, отчего это я ополчился на Клаузевица и на его постулат «Война — продолжение

политики другими средствами». Я и по сей день убежден, войны XX века, включая Холодную, нельзя оценить правильно, если принимать сей постулат на веру. Война — новая реальность, меняющая политику и само государство.

Я собрал целый пул авторитетных историков, придерживающихся схожих с моим взглядов.

Брюс Кэттон: «Отличительная особенность современной войны в том, что *она сама берет на себя командование*. Единожды начавшись, она настоятельно требует доведения до конца и по ходу действия инициирует события, оказывающиеся неподвластными человеку. Делая, как им кажется, лишь то, что необходимо для победы, люди, не замечая того, меняют саму почву, питающую корни общества».

Примерно об этом же писал и Фридрих Энгельс, чья репутация, может, и подмочена дружбой и сотрудничеством с другим теоретиком, дававшим экономические прогнозы, сбывавшиеся с «точностью до наоборот». Однако Энгельс имел свой независимый международный авторитет военного ученого. Статьи ему заказывала и Американская энциклопедия. И вот что он предвидел еще в 1887 году: «Для Пруссии-Германии уже невозможна никакая война, кроме всемирной. ...это была бы война невиданного ранее масштаба... 8—10 миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом Европу до такой степени... крах старых государств и их рутинной мудрости... короны дюжинами валяются по мостовым и не находится никого, чтобы поднять их».

Что, и это — «продолжение политики»? Согласитесь, что «крах их рутинной мудрости» — это явно о старых, довоенных политических планах.

Кстати, война (Первая мировая) России с Германией продолжалась и в 1917-м. Было ли это «продолжением» политики отрекшегося от трона и арестованного царя? Война продолжалась даже и в 1918 году — это что: продолжение «буржуазно-временной» политики разбежавшегося временного правительства и переодетого в женское платье Керенского?

И даже замечание Троцкого: «Современные войны ведутся не тем оружием, которое имеется у воюющих стран накануне войны, а тем, какое они создают в процессе самой войны», — как-то косвенно говорит примерно о том же. Современная война — это всегда новая реальность.

Джон Киган (John Keegan): «Для многих обществ война обеспечивает больше религиозные, культурные функции, нежели чисто политические». Вспомните роль Великой Отечественной в нашем сознании, в воспитании поколений.

Рассел Уигли (Russell Weigley): «Политика имеет тенденцию становиться инструментом войны... война, начавшись, всегда имеет тенденцию генерировать собственную политику, создавать свой собственный моментум (инерцию), делать устаревшими политические цели, во имя которых она была начата, выдвигая свои политические цели... динамика военного конфликта, особенно когда она имеет тенденции перехода к *тотальным формам*, диктует свои ограничения и подчиняет себе политику».

Мартин ванн Кревельд: «Клаузевиц описывает, каковой должна бы быть природа войны, но никак не реальную ее природу».

В окопах войны согревают души довоенные фотокарточки. Но никакая, самая блестящая, сокрушительная победа не вернет довоенного мира. И ответственность за этот новый мир — вот настоящие *репарации, которые платит победитель*...

Так что оценка после-Ялтинского мира потребует учета изменений, генерированных Холодной войной. Средством победы США стала «гонка потребления», которая, повторюсь еще раз, не завершилась с крахом СССР. Несколько переиначивая слова процитированного выше Брюса Кэттона, можно сказать: потребление *само взяло на себя командование*. Единожды начавшись, оно настоятельно требует доведения до конца и по ходу действия инициирует события, оказывающиеся неподвластными человеку...

Причина нынешнего мирового кризиса общепризнана — американское пере-

потребление в долг. По аналогии с прошлыми локальными «кризисами перепроизводства» я хотел бы назвать нынешний, глобальный, «кризисом перепотребления».

Навязанные рекламой стандарты: непрерывная смена жилья, автомашин, бытовой техники — на последние деньги. Уровень сбережений многих слоев граждан США к «миллениумному» рубежу обнулится, что просто потрясает сегодняшних ученых-экономистов. Однако, пройдя «нулевой уровень», американцы продолжили потреблять, уже в кредит, что, собственно, и стало самой главной, исходной причиной мирового кризиса. И значительная часть этого перепотребления — навязана, индуцирована рекламой, выросшей в атмосфере гонки.

Закончилась ли Холодная война?

Интересный, да и самый актуальный вопрос, ради ответа на который, собственно, и стоит книги затевать... Конечно, закончилась! Даже несколько раз. С этой «воевавшей» стороны прекрасно помнят те ключевые наборы слов:

«Мирное сосуществование стран с различными социальными системами» — (это еще почти из хрущевской эпохи);

«Разрядка напряженности» — (классика брежневского периода),

«Хельсинкский мирный процесс» — (а здесь уже есть и конкретная, всем известная дата: лето 1975 года);

Далее следуют все эти «мирные повороты», «исторические мировые вехи», включая наиболее знаменитое «новое мышление» (тут воспоминания, конечно, более свежие и острые до изжоги).

Почти каждый исторический визит, встреча в верхах, саммит, да и некоторые сугубо внутрисоюзные акции — съезды, новые программы партии, новые конституции страны — претендовали, среди прочего, и на окончание этой самой Холодной войны. Да и не будем ограничиваться только нашей «воевавшей стороной», южнее Канады тоже происходили события, акции, позиционировавшие некоторых президентов как:

— победителей «холодной войны»,

— победителей в «холодной войне».

Само это количество завершений, каждое из анонсированных окончаний войны навевает неизбежные мысли. Что бы там ни говорилось, но каждое предыдущее окончание войны было не таким уж и окончательным... А из двух президентов-победителей как минимум один носит свой венок незаслуженно.

Аристакес Сагратян

Стальные пути на Запад

Отрывки из воспоминаний

Павшим в Великой Отечественной железнодорожникам, солдатам и офицерам подразделений железнодорожных войск посвящая

В ходе Отечественной войны железнодорожные войска неотступно следовали за армиями, сражающимися на фронтах. В 1941—1943 годах, когда войска наши вынуждены были отступать под мощным напором вражеской громады, перед путевцами была поставлена задача — неукоснительно уничтожать за собой железные дороги, мосты, тоннели, станции и станционное оборудование, искусственные сооружения. Им же было велено минировать пути отхода. Такая тактика могла хоть на время задержать продвижение врага в глубь нашей территории.

И уже иными были задачи, поставленные командованием перед железнодорожными войсками в период с 1943 по 1945 год, когда наши армии перешли в победное наступление и уже не останавливались вплоть до Берлина, Праги и Балкан. ВОСОВцы — так именовалась служба военных сообщений — неотрывно следовали за наступающими подразделениями, в срочном порядке восстанавливая разрушенные фашистами пути сообщения, прокладывая обводные ветки, восстанавливая стрелки и вспомогательные ветки. Никогда прежде в истории железных дорог не знали ни таких темпов восстановительных работ, ни такой маневренности и бесперебойности в работе транспорта, ни таких сроков при переброске войск и техники.

Приближалась 25-я годовщина Октября. Вносились последние коррективы в план освобождения Гизели и разгрома тамошних сил немцев. Нам предстояло ворваться на станцию буквально на плечах противника, чтобы срочно определить, что нам, железнодорожникам, предстоит сделать для беспрепятственного продвижения наших дальше. Регулярно докладывая генералу Борисову о положении дел, мы обязаны были на месте разбираться в обстановке и оказывать частям всемерную поддержку. Ударили по немцам 6 ноября. Противник оказал ожесточенное сопротивление. Кто-то, а он-то знал, что удержать Гизель значит удержать стратегический плацдарм для нового броска на Орджоникидзе. В задачу же наших входил штурм города, окружение и уничтожение частей 13-й танковой дивизии. 11 ноября подразделения 9-й армии вошли в Гизель, сметая на пути все и вся. Заняли рубеж от Майрамадага до берегов рек Фиад и Дон. Примеры беспримерного мужества проявили в тех боях матросы и артиллеристы. Их успех поддержала авиация. Потеряв Гизель, немцы утратили Кавказ и всякую возможность пробиться к Баку. И означало это большие потери для врага: перед ним закрывались двери в Закавказье по Военно-Осетинской и Военно-Грузинской дорогам. Зато для нас они обрели другой смысл: снабжать войска стало легче. Большой Кавказский хребет оказался вне пределов досягаемости для немцев, потому что направления Краснодар — Майкоп — Туапсе позволили упредить удары противника по оборонявшим берега Черного моря нашим частям.

Потеряв Гизель, немцы заняли оборону. И тут получаю особый приказ: срочно наладить поставку вооружения, боеприпасов и продовольствия 44-й и 9-й армиям.

Пришлось разбираться, почему эшелоны, прибывающие вовремя, не разгружаются, почему отдельные поезда застревают на полпути. Со мной был капитан Ермаков. Вся дорога интенсивно обстреливалась, так что к самому уязвимому месту нам добраться в тот день не удалось. Не оставляла в покое и авиация немцев. Тогда полковник Тамбовский переориентировал нас, поставив новую задачу:

— В первую очередь эвакуировать железнодорожную технику и имущество дороги. Растащите с путей и упрячьте подальше от глаз груженные вагоны и запасные паровозы. Требуйте от военного коменданта неукоснительного подчинения приказу и докладывайте каждые 2—3 часа...

Железнодорожные войска генерала Борисова сражались бок о бок с теми, кто атаковал Гизель. Нам же предстояло почти голыми руками под непрерывающимся обстрелом наводить порядок. По счастью, выполнение приказа было приостановлено: наши не только заняли Гизель, но и продвинулись вперед на 15—20 километров, вклинившись в оборону противника.

Полковник нас тотчас же направил вслед атакующим частям, посоветовав двигаться по основной магистрали, фиксируя, где и что предстоит сделать в первую очередь. И докладывать, докладывать, докладывать!

Наш путь пролегал по местам, где еще вчера шли бои. Сожженные села, порушенные дома, курганы свежих братских могил. Лишь изредка встречались имена на дощечках. Так мы узнали, что подразделение лейтенанта Боренко держалось до последнего, уничтожив в боях местного значения не одну группу отступавших гитлеровцев. О том, как это выглядит — стоять насмерть, узнаешь по разбросанным тут и там ящикам из-под снарядов и патронов, по взрытой минами земле, по траншеям, заваленным брошенной техникой врага. Даже следы от фугасных бомб встречались, а это означало, что ребят наших молотили и с воздуха. Местные жители, перебивая друг друга, рассказывали, что держались тут до последнего. А кто-то видел, как лейтенант Боренко гранатой подорвал вместе с собой и нескольких гитлеровцев... Постояв у свежей могилы, мы двинулись дальше — выполнять приказ. То и дело встречали идущих на запад людей, спешащих к своим домам либо пепелищам: всяк надеялся, что хоть что-то могло уцелеть в огне. Но их встречали закопченные трубы некогда ухоженных хат. Русская печь! В мирное время она грела, а ныне от этих остовов веяло холодом смерти. Видели мы и втопанные в землю вещи, те, что не успели унести с собой оккупанты. В одной из колхозных теплиц обнаружили противотанковое орудие и четырех артиллеристов, лежащих в неестественных позах. Команда по захоронению прошла, видимо, мимо, не заметив их. В азарте боя не заметили гибель товарищей и свои. Мы предали их тела земле, поставив памятником их мужеству орудие, из которого они били противника. На телах двоих остались следы пыток: фашисты не простили им дерзости мужества. Помимо Гизели в руках у нас оказались еще две станции и три полустанка. Досконально проверив состояние путей, стрелок, станционных построек и коммуникаций — наземных и подземных, мы в тот же день вернулись в Орджоникидзе.

В городе царил веселье. Люди радовались, что война отошла дальше. На глазах слезы — в одном — радости, в другом — горести. Обнимались, поздравляли друг друга. По всему было видно: город шел на поправку. Кто с киркой, кто с заступом — энтузиасты спешили навести чистоту и порядок в своем городе.

Мы представили план восстановительных работ, и части генерала Борисова принялись за дело. Начали с восстановления путей, потом на очереди были мосты и пакгаузы: фронт требовал помощи, ведь бои в районе Гизели и Грозного не прекращались. Нагрузка на железную дорогу возросла, если не сказать утроилась, потому что автотранспорт не мог удовлетворять потребности атакующих частей: дороги были разбиты. К тому времени большая часть станций все еще находилась под контролем противника. Спасала линия Грозный — Гудермес — Баку. Предстояло и дорогу оборонять, и поезда гнать без остановки. Слаженными действиями нам удалось добиться четкого ритма работы. Бойцов генерала Борисова представили к наградам.

Впервые с тех пор, как они оставили землю Западной Украины и отошли к Северному Кавказу, они не рвали рельсы, чтобы остановить врага, а клали новые,

латая где можно старые пути, потому что война победоносно шла на запад. Контрнаступление разворачивало плечи. Негоже было отставать.

Нелегкая служба у железнодорожных войск: всегда где-то между своими и чужими. То минировали, то занимались разминированием, то взрывали, то наводили мосты, приводили в порядок тоннели, подъездные пути и платформы для приемки и отправки грузов. Спрос с железнодорожных войск был строгий: ни единой цистерны с горячим врагу, ни одного вагона с продовольствием и обмундированием, не говоря уже о всем прочем, что само собою подразумевалось. А уж как мы дорожили паровозами, дрезинами и бронепоездами, можете себе представить!

1942 год подходил к концу. Все с затаенным дыханием ждали приказа в наступление, полагая, что поступит он 29-го. Но в декабре приказа не дождались. Зато в первый же день нового года он пришел. А мы-то надеялись отметить его в своем родном бронепоезде, по-солдатски, имея по «сто грамм», паек дневной да кое-что из посылок, присылаемых на фронт из тыла. Его заботу ощущали все без исключения. Тыл поддерживал фронт не только вооружением и продовольствием. Нам писали, слали подарки — вязанные носки, сухофрукты, открытки с детскими рисунками. На большинстве из них наши доблестные танкисты и летчики сбивали вражеские самолеты. Случалось, и вышивки гладью приходили. Грело все это, не давало места унынию. Писали школьники и рабочие, колхозники и студенты. Интеллигенты обещали работать за двоих... И каких только повышенных обязательств не принимали люди на себя! Страна жила верой в победу. Как позже стало мне известно, и в моей семье передвигали по карте булавки с флажками: сперва назад, потом — в радости! — вперед... Весь первый день наступившего года автотранспорт развозил по частям и подразделениям новогодние поздравления.

Нашло меня и затерявшееся где-то письмо от жены. Она писала, как они доехали, как радушно приняла их семья Матевоса Григоряна, выделив в безвозмездное пользование тюфяки и одеяла из чистой шерсти. Отчиталась передо мной и завскладом моим в Краснодаре: «Как устроились, Арис-джан, так на другой день и пошла я по адресу, отнесла письмо сестре твоего знакомого. Через день явились они к нам со своими весами, старыми такими, на них шерсть в деревнях взвешивают. С ней родственник пришел, прихрамывающий парень. Он топориком вскрыл бочку с сыром, и они стали взвешивать — нам и им поровну. Оказывается, в письме тот человек велел по-братски поделиться с нами. Вот они честно и поделили весь сыр. Потом мама пошарила в рассоле — не осталось ли на дне куска, а в нем ком масла плавает: за 17 суток, что нас качало по дорогам, когда цепляли нас к составам и отцепляли, масла ком образовался с килограмм, если не больше. Мама сказала: давайте и это честно поделим. Тогда сестра того человека, еще раз пробежав письмо брата глазами, наотрез отказала ей, мол, в письме только о сыре речь. О масле — ни слова... Такие вот люди добрые нам встретились. Детям, сам понимаешь, теперь будет что и дома поесть, и в школу взять на обед...».

Трижды перечитал я то письмо, еще раз убедившись в том, что душа народа нашего необъятна, что есть еще на свете честные, порядочные, чуткие люди, которые умеют делиться. И не только горем. Слава богу! И да хранит их Господь!

Наконец, поступил долгожданный приказ, и нас вызвали в штаб Северной группы войск. Начштаба генерал-майор А.А.Забалуев порадовал всех сообщением, что танковые части противника, не желая попасть в окружение, отошли за реку Кума и наши наседают на них.

— Не дать противнику закрепиться на том берегу, развернуть наступательные действия. У нас одна цель — разгромить группировку немцев под Моздоком. Оттуда напрямик пойдём к станции Прохладная. Такая вот поставлена перед нами задача, товарищи!

Что за этим стояло, объяснять нам не стоило: опять следом за атакующими частями, опять первыми — приводить в порядок станции и путевое хозяйство и вновь подтягивать тылы, сокращая время на разгрузку боеприпасов, продовольствия, стройматериалов. Дорогу придется ремонтировать в любом случае.

После очередной инспекции основной магистрали меня осенило: время разгрузки эшелонов можно сократить до минимума, если заранее будем знать, как

укомплектованы составы: в каком порядке сцеплены вагоны, открытые платформы, цистерны, сколько двухосных и сколько одноосных вагонов в них. Наблюдательность природная сработала или то дали знать о себе основательные знания, полученные в стенах военно-транспортной академии, не скажу, однако связав это с длиной и высотой платформ, на которых должна была производиться разгрузка, я понял, что такое возможно, и однажды, подав к прибывающему эшелону необходимую разгрузочную технику в нужном порядке, сумел побить рекорд по времени разгрузки. Сослуживцы мои, приятно удивленные увиденным, разнесли слух по всем отделениям дороги. Вскоре начальство в приказном порядке потребовало у меня подробного изложения моего передового метода разгрузки. Его распространили на всю систему железных дорог, и он сослужил добрую службу всей нашей армии, тем более что мы теперь начали активно переходить к наступательным действиям. Так я оказался на виду у большого начальства. Думаю, что по этой причине именно мне была поручена прокладка обводной железной дороги на территории освобождаемой нашими войсками Польши. Но об этом — рассказ впереди. В напряженном дыхании буден важен был своевременный вклад каждого из нас, сплоченных армейским духом товарищества.

Из штаба заторопились к своему бронепоезду.

4 января мы подкатили к Моздоку, который тыловые части еще зачищали от зазевавшихся фашистов. А на станции восстановительные работы уже велись полным ходом. Каждый знал, что ему делать, куда поспевать. А работали под гул немецких самолетов, беспорядочно бомбивших город, станцию и пути. Одному удалось, вынырнув из-под облаков, точно сбросить две бомбы, но уйти ему зенитчики бронепоезда не дали: задымил и упал факелом. Одна из бомб угодила в вагон с живой силой, он загорелся. Мы с Ермаковым и еще несколькими железнодорожниками бросились на подмогу. Раненых вытащить из вагона нам посчастливилось.

С 4-е по 6-е передовые части ушли далеко вперед. Мы не поспевали за ними, и по этой причине возникли трения между нами и их командованием. Части генерала Борисова на самом деле не успевали за рванувшей к победе лавиной чувств, ведущих атакующих. И хотя в наш адрес слышались попреки, все отлично понимали, что приводить в соответствие с положением вещей всю работу железной дороги невозможно: слишком много было разрушений и повреждений. И тем не менее, где можно было, вкалывали железнодорожники днем и ночью, пока немцы спали и самолеты не доставали. Только-только наладили работу, как нам с Ермаковым велели отбыть, мне — в Орджоникидзе, ему — в Грозный. На сей раз велено было заняться госпиталями тыловых частей фронта, переброской мастерских и скопившегося на складах имущества. Раненых лечили на местах. На фронт шли лишь горючее и оружие.

Наладилась работа по отправке и приемке грузов. Орджоникидзе ритмично дышал мирной жизнью. Поезда шли в день и в ночь строго по новому графику. Советские и партийные деятели бросили все силы на упорядочение работы всех служб железной дороги: разгрузка и погрузка велись все сутки. У железнодорожников появилась дорожная техника, ускорив разборку завалов и прокладку ремонтируемых участков поврежденного полотна, а значит, фронт стал получать куда больше. Город засыпал под перестук колес. И вот получаю приказ — выдвинуться на передний край. Сопровождал меня офицер штаба капитан В.Лапшин. Из города выбирался по той самой дороге, где еще недавно прошли наступавшие части. Перегруженная машинами, везущими военное снаряжение, боеприпасы и продовольствие, дорога красноречиво говорила о положении вещей на фронте. Тягачи и трактора волокли с полей сражений разбитые, горелые, но еще пригодные в дело танки и орудия, другую технику. В лучах неяркого январского солнца вершина неприступного Казбека отливала розовым, словно приветствуя нас. Куда печальней выглядело все у подножия горы: повсюду видны были свежие следы боев кровопролитных. Люди, не обращая внимания на мороз, продолжали трудиться. Кто-то оконные рамы в здании школы приводил в порядок, другие убирали улицы, вывозя мусор. Картина разрушений врезалась в память.

Цель моей командировки к линии фронта заключалась в выяснении позиций, по которым начались трения между армейским начальством и железнодорожниками. Разобраться следовало на месте и на месте же предстояло мне уладить разногла-

сия. Дорога на Ардон, Дзарик, Дигара и Чикел и ближние села была перерезана противником. Саперы не успевали обезвреживать заложенные повсюду мины. Не представлялось никакой возможности передвигаться по железной дороге: ни тебе мостов впереди, ни стрелок исправных. Все это бросалось в глаза из машины, которая ехала, будто протискиваясь сквозь заторы. В селе Ардон немцы взорвали школу, которая дала путевку в жизнь целой плеяде осетинских интеллигентов, в Алагире из местного музея выкинули портрет классика осетинской литературы Косты Хетагурова, предали огню его рукописи и книги. Сгорели школа и детский сад, больница и библиотека. Телеграфные столбы, все без исключения, были повалены и распилены, а провода оборваны по всей линии связи. В одном из сел увидели скопление людей. Подъехали. Юноша что-то рассказывал тем, кто уже вернулся из эвакуации. И все они стояли вокруг свежей могилы, на которой врассыпку лежали 122 обоймы. Стойкий солдат положил 40 немцев и держался до последнего, пока не приспели свои, но спасти жизнь ему не успели: истек кровью. Вот и воздали воинские почести, положив на холмик сырой земли опустевшие в жарком бою обоймы. Обнажили и мы головы.

Из толпы вышел старик, преклонил колено перед могилой и тихо сказал: «Сынок, ты отстоял наше село, нашу честь, так знай, что мы, горцы, помнить тебя будем всегда. Здесь будет памятник тебе поставлен по нашему обычаю. И о твоей храбрости мы детям и внукам своим расскажем. Знай, что цветы на твоей могиле не увянут...» Думаю, осетины сдержали свое слово и поставили памятник русскому солдату, отдавшему за них жизнь на краю кукурузного поля. От Орджоникидзе мы успели отъехать примерно на 100 километров и теперь оказались на рубеже рек Кумань, Малка и Золка. К станции Золка подъезжали с возможной осторожностью. То и дело раздавались взрывы. Мы не сомневались, что это вражеские минеры рвали все за собой. Стали думать, как пресечь разрушения. Но как?! Железнодорожные войска были от нас далеко, а передовые части успели уйти вперед — не догонишь. Врагу наши оставили узкий коридор вдоль железной дороги, вот он и отступал, круша все за собой. С нами ехали двое штабных офицеров. И хотя было нас немного, но попытку шугануть немцев со станции мы решили предпринять. Надо было спасать что можно было. Нам повезло незаметно подобраться ближе к немцам. Ударили сразу из нескольких автоматов, рассредоточившись. В первый момент там растерялись, и в ответ раздалось несколько очередей. Но уже через пару минут немцы оправались от неожиданности и открыли массированный огонь по стрелявшим. На станции их было не меньше роты, думаю. Положение создалось аховое, потому что пути для отхода у нас не было: все за нами простреливалось. По счастью, мы запаслись боеприпасами в дорогу и было чем отбиваться. Вычислив, что нас немного, немцы стали медленно насаждать на нас. Несколько гранат, брошенных в наиболее ретивых, остудили пыл нападавших. Только длилось это недолго: полезли опять. И тут один из наших бросил вслух: мы окружены. За спиной у нас слышен был лязг танковых моторов. Выход был один: кинуться под танки с гранатами. Майор Медведев, примкнувший к нам на станции Зорка, обвязавшись гранатами, пытался выбраться из убежища, чтобы встретить танки как подобает. Только за снежной пылью разглядеть их нельзя было: один лязг гусениц раздавался. Я удержал его, сказав, что железнодорожным войскам танков не придают, так что это, возможно, наши. Догадку мою подтвердили нападавшие, почти взявшие нас в кольцо. Они вдруг разом рванули назад, крича и беспорядочно отстреливаясь. Огонь танковых орудий и пулеметов бросил их на землю. Как потом выяснилось, мало кто унес ноги.

Танки оказались нашими, они-то и спасли нас от гибели. Благодаря их прорыву уцелела станция, тщательно заминированная мощными зарядами. Нам навстречу вышли попрятавшиеся от немцев железнодорожники. Мы указали им, как следует разрядить мины и фугасы, сами же поехали дальше — выполнять задание командования.

Батальон подполковника Пушкина из частей генерала Борисова восстанавливал дорогу на участке Прохладная — Аполонск. Предстояло проверить состояние путей от Прохладной до Георгиевска, десяти станций и полустанков на этом отрезке,

стрелок, не говоря уже о складах Северной группы войск Закавказского фронта. Нам сообщили, что дорога начинена минами и нам до места не добраться. Пришлось возвращаться в батальон Пушкива. Приветил нас начштаба майор Семен Соловьев. Мы с ним засели разбираться что к чему. Дотошный майор составил довольно подробную схему требуемого к восстановлению отрезка дороги, пометив подробно, где и что следует делать. Пробыли мы у них два дня и успели за это время составить четкий график, подсчитали, сколько и чего требуется поставить для ремонта полотна и дороги, направив запрос на материалы в Орджоникидзе и Грозный, где находились основные склады стройматериалов. Обратил внимание на то, что фамилия Матвеев Петр, а он был командиром второго отделения, забрана им в кружочек, обведена траурной рамкой. Перехватив мой взгляд, майор грустно сказал:

— Такого парня потеряли! Герой! Под Новопавловском ценою своей жизни спас целую бригаду. Летом еще...

Вечером я подсел к майору и попросил его поподробнее рассказать, как все было. Подчиненные погибшего не могли без слез говорить о нем.

Отбиваясь от немцев, войска Закавказского фронта отходили на юг. На людей Пушкива была возложена сложнейшая во всех отношениях задача — рвать за собой мосты и линии связи, нарушать коммуникации, выводить из строя путевое хозяйство, жечь те составы и грузы, которые могли попасть в руки врага. Словом, все, что эвакуировать не удалось. Приказ был жестким и безоговорочным. Кто не знает, что это такое, поясню. Делать это приходилось в опасной зоне, зачастую под обстрелом с воздуха и под огнем артиллерии и передовых танковых частей противника, не говоря уже об автоматчиках разведотрядов, как правило, в большом отрыве от своих основных сил.

Подполковник Пушкив разделил батальон на две части. Одна минировала и поднимала на воздух, что приказали, другая, заняв оборону по ту сторону дороги, за рельсами, отбивала яростные атаки фашистов. Досаждали более всего солдатам Пушкива немецкие танки. Они катили раз за разом, но всякий раз натывались на крепкую оборону и отходили назад. Тогда начинали бить издалека, иногда прямой наводкой, если ближе оказывались. Потери в личном составе рвали душу командирам, но отступить не велено было, как и не велено было оставлять что-либо врагу на отрезке дороги Этака — Прохладная. А когда стало совсем жарко, подполковник Пушкив решил вывести уцелевших из-под огня, опасаясь обхода слева и справа, а то и окружения: линия фронта ломалась в ту пору чуть ли не каждый час. Досаждавшие немцам железнодорожники испытали на себе серьезный удар вечером 18 июня. Избежать боя не получилось. Измученные бессонницей и тяжелой работой солдаты отбивались, как могли. Кончились боеприпасы, да и силы были на пределе. Танки прорвали оборону и навалились на наших, светя себе прожекторами фар. Рев танковых моторов, разрывы снарядов, стрекот пулеметов и дикий рев штурмующих их позиции автоматчиков слились в сплошной гул. То была психическая атака, способная кого угодно выбить из колеи. Вот тут-то и встал на пути немецких танков рядовой Матвеев с бутылкой зажигательной смеси в руке. Первый запыхал почти мгновенно. Языки пламени обожгли лицо и самому солдату, но он успел извернуться и метнуть вторую бутылку во вторую машину. Задымив, остановился и этот танк. Остальные отошли назад, волоча за собой озверевшую пехоту, откатившуюся к исходным позициям. Под покровом ночи подполковник Пушкив выводил своих людей из-под обстрела. Побродив несколько дней, его батальон, вернее, то, что от него уцелело, примкнул к основным силам генерала Борисова. Вынести с поля боя обгоревшее тело боевого товарища они не успели, но каждый, кто сражался там, унес в душе светлый образ таганрогского токаря Матвеева. Позже, когда обнаружился у интенданта его вещмешок, в нем нашли аккуратно свернутые в трубочку почетные грамоты за успехи в труде и социалистическом соревновании. Он прихватил их с собой, не оставив врагу... Пример бесстрашия товарища оставил в сердце каждого неизгладимый след. Уже спустя время, его имя было внесено навечно в списки батальона, и на утренней поверке, когда звучало «Петр Матвеев», его боевые друзья в один голос отвечали: «Пал смертью храбрых за свободу Родины».

Из штаба мы вышли поздно вечером. Мороз крепчал. Лютый ветер слепил,

швыряя в лицо снежную пыль. Добрались до станции, а там, словно презирая стужу, продолжали работать ремонтники. К тому времени подошел и Пушкив, ездивший на соседнюю станцию выбрать места для складирования материалов. Объездили и мы с Соловьевым несколько станций. Сложив всю имевшуюся у нас информацию, пришли к выводу, что целесообразнее всего разместить склады с горючим на Солдатской и Этаке. Оружие и боеприпасы решили распределить по складам на станциях Чолак и Аполонск и на нескольких полустанках и мелких станциях. А коли так, значит, и соответствовать требованиям должны все эти объекты.

Утром следующего дня вместе с Пушкивым мы побывали на всех намеченных объектах, начиная с Этаки, и, поговорив с уцелевшими там жителями, убедили их выйти на разборку порушенных путей, помочь нам в трудный час. И мы встретили понимание с их стороны. Наутро примерно двести человек — стариков и юношей, девушек и женщин — вышли расчищать пути. Народ не просто отозвался на наш призыв: у местных нашлись для нас шпалы и мотки кабеля для связи, отличный инструмент. Его они успели припрятать еще до прихода немцев.

Энергии подполковника Пушкива можно было только позавидовать. Что он хороший командир и грамотный инженер, я уже знал, наслышан был. За 4 дня пребывания в его батальоне убедился в том сам. Куда он только не успевал! И у мостовиков я его видел, и у стрелочников, и в боевой обстановке пришлось наблюдать. Сновал, не зная покоя. Видел его и склонившимся над схемой новой ветки. Он обладал редким ораторским даром, умел не просто убедить, но и увлечь за собой, зажечь делом. Ему верили и за ним шли, шли не только его подчиненные, но и гражданские лица, вовлеченные им в работу ради победы. Народ поднимать он умел. Малейшему успеху радовался, как ребенок, сердечную муку знал при каждом поражении и неудаче. Видели бы вы его в день, когда его ребята раньше срока завершили наведение моста через какую-то речушку! О больших мостах и говорить не приходится.

— Вот это я понимаю. Это же на века останется людям, — вскрикивал он, бегая по мосту, словно пробуя его на прочность.

Остается сожалеть, что гостил я у этого замечательного человека недолго. Меня уже ждали в штабе Северной группы войск с выкладками и предложениями. Генерал-майор Д.Ермилов, заместитель командующего фронтом по тылу, любил обстоятельные доклады.

Войска Северной группы войск продвигались дальше. С 11 по 20 января 1943 года они освободили Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Георгиевск, Железноводск, Буденновск и развили наступление на Ставрополь, Невинномысск, Армавир и Тихорецк. Столь стремительный ход событий поставил железнодорожные войска в условия более чем невыносимые: мы не поспевали за наступающими частями, потому что подвоз боеприпасов и продовольствия осложнялся тем, что немцы тоже оставляли нам разбитые дороги, развороченные пути и стрелки. Ощущалась острая нехватка ферм для мостов, рельсов и шпал, людских ресурсов. Рабочие руки нужны были, рабочие руки. А где было их взять, да еще в такие сроки?! Поезда к переднему краю шли медленно и не так часто, как хотелось фронту. Автотранспорт застрял на разбитых войной дорогах. Полевые санитарные пункты были переполнены в ожидании санитарных поездов. А как могли мы их подать, когда все раскурочено было под корень!

Командование отрядило генерала Борисова, капитана Ермакова и нескольких офицеров, в том числе и меня, разведать обстановку в районе станций Моздок, Прохладная, Кисловодск, Пятигорск, Георгиевск для быстрого ввода в строй их возможностей. И все это в сложившихся сложных условиях. Теперь и не вспомню, когда они у нас на войне выглядели иначе. По имевшимся сведениям, на этих станциях в свое время скопилось немало материалов, позарез нужных в данный момент. Надо было произвести инвентаризацию, составить подробный отчет, а имевшееся в наличии погрузить и немедленно отправить в части железнодорожных войск. К тому времени из Орджоникидзе в нашу сторону уже пошли составы с запасными частями и амуницией. Шли поезда с пополнением. Вот и стали мы разгружать каждый прибыва-

ующий там, где это представлялось целесообразным к текущему моменту. От нашей оперативности и сноровки зависело многое. И я отправился в Пятигорск.

В этом уютном курортном городе мне привелось побывать еще до войны. Слов нет описать, какая там была красота! Но то, что предстало моим глазам в январе 1943-го, словами не передашь. На месте прежнего города-красавца нашел я груды развалин, золы и пепла. Узнал и я, как обошлись с местными гитлеровцы. Людей выгнали на улицу и запалили их дома. Те, кто пытались хоть что-то спасти, падали под пулями, многие сгорели заживо, подстреленные в собственных домах. Пепелище являло картину ужасающую...

Что до немецких офицеров, то они устроились неплохо, говорили: у каждого был свой отдельный номер — так они приспособили к своим потребам палаты в лучших здравницах. Учредили они и строгий контроль над кинотеатрами и кафе-ресторанами, следя за тем, чтобы туда не сунулся кто-то из неарийцев. Видимо, чуя, что расплата от советских людей неминуема, они заставили городского голову нанять для обслуживания их персон исключительно женщин и девушек с высшим образованием. И он доставил им врачей и учителей, инженеров и служащих — прислуживать оккупантам под страхом смерти. Наводя повсеместно свой «новый порядок», немцы так до конца и не смогли насладиться прелестями наших мест. Карательные меры не помогали, так как многие нашли свою смерть именно через этих мобилизованных интеллигентных людей. «Официантки» и «прислуга» отправили на тот свет не одного офицера. Они же спасли от уничтожения многие ценности, представлявшие интерес для истории. Зачастую, рискуя жизнью, эти безымянные герои прятали от извергов народное добро и преследуемых. Местная жительница Варвара Галкина поделилась со мной пережитым:

— В городе нашем кто только не знает шестидесятилетнего Ивана Матвеевича Мартынова, сторожа бальнеологического санатория, — начала она. — Бесславное пребывание свое варвары отметили ночными поджогами. Когда двое солдат с бидонами керосина подошли к его лечебнице, он крикнул: «Стой, кто идет?». Солдаты эти незаметно подкрались к нему, и когда перед ними возник старик, они ударом кулака повалили его наземь. Он потерял сознание. А когда очнулся, увидел, что эти двое, гогоча, поджигают занавески... Старик подполз к охваченным огнем занавесям, сорвал их усилием воли и начал гасить... Нашли его утром полуживого, доставили в больницу, откачали. Выжил. Крепок...

Многое отдал бы я за встречу с отважным этим стариком, да время поджимало, я еле укладывался в отпущенные мне сроки.

Солнце перевалило уже за полдень, когда, преодолев рытвины и колдобины, оставленные войной, мы подъехали к станции. Должен сказать, вид она являла печальный. Генерал Борисов уже дожидался нас там. В несколько часов подсчитали, сколько и чего осталось в целости и сохранности, включая подвижной состав. Приятно удивили нас небольшие запасы строительных материалов. Все приказали погрузить и в срочном порядке отправить на ремонт главной магистрали.

Каких только усилий не прилагали железнодорожники, но поспевать за наступающими частями не удавалось. Случались дни, когда на горизонте ни одного немца не маячило. Так споро откатывались они назад. В период с 20 по 24 января наши войска освободили Невинномысск, Ставрополь и Армавир, удалившись от Орджоникидзе на 430 километров. На всем этом пространстве насчитывалось не больше десятка мелких станций и полустанков, однако восстановлению подлежали далеко не все. Иные были разбиты так основательно, что сподручнее было возвести там новые. Из Пятигорска мы отправились с генералом Борисовым в Кисловодск. Картина и там удручающе подействовала на нас. Если что и уцелело, то лишь благодаря стремительному наступлению наших, не позволивших врагу вывести из строя все станционное и путевое хозяйство. Тем не менее ряд пристанционных административных построек они подняли на воздух, как успели поджечь и несколько здравниц. Выручили всех, как всегда, саперы: они тщательно разминировали как территорию станции, так и уцелевшие санатории. Генерал Борисов доложил командованию положение вещей и попросил выделить побольше стройматериалов, не преминув сослаться на поре-

девшие в боях ряды его войск. Без существенного пополнения, без дополнительных рабочих рук справиться с масштабами ущерба не представлялось возможным.

Не прошло и трех часов, как поступил звонок от командующего: в наше распоряжение отправлено целых три эшелона строительной техники и требуемого для ремонтных работ материала. А подбросив все это, командование потребовало ускорить восстановление дороги, по которой проследуют к фронту эшелоны резерва, застрявшие на станциях и полустанках от Орджоникидзе до Минвод.

Пробыв в Кисловодске чуть больше суток, двинулись к станции Водораздел, где части генерала Борисова уже развернули фронт работ. Приняв решение остаться со своими на линии Невинномысск — Кавказская, где железнодорожникам его помощь была нужнее, даже просто присутствие, генерал направил меня и капитана Ермакова в Ставрополь разобраться на месте с положением дел на направлении Ставрополь — Кавказская. Взорванный мост в Невинномысске и существенные повреждения на железной дороге вынудили обратить особое внимание на линию Ставрополь — Кавказская. Выхода не было: грузы на машинах перебрасывали в Ставрополь, иначе они к линии фронта не могли быть доставлены.

До Ставрополя добрались без приключений. Дорога оказалась вполне сносной, да и разрушений тут, отметили мы, было поменьше. Немцы оставили город буквально на днях, успев подложить взрывные устройства разве что под важные государственные объекты. Люди сами указывали нашим саперам, где копошились немцы давеча. Разведку на указанном нам направлении пришлось вести, пользуясь транспортом наступающей армии. По всей дороге то тут, то там все еще дымились подожженные вагоны с амуницией, по обе стороны от полотна лежали на боку подбитые паровозы. На одной из малых станций горел склад с зерном. А подсчет уцелевшего продовольствия вести тоже входил в наши прямые обязанности. И не только на путях, но и на зернохранилищах и элеваторах. Старались не упустить ни одной детали, чтобы доклад наш штабу фронта на станции Кавказская выглядел более чем убедительным.

Мы шли по свежим следам войны. Раскаты артиллерийской дуэли напоминали о близости фронта. О том же были частые налеты их истребителей. На станции Кропоткин два «мессершмидта», тем не менее, пытались нанести удар. Наши зенитчики, уже освоившиеся с тактикой немецких асов, отбили атаку. Зато на небольшой станции Егорлык, где мы намеревались передохнуть и привести в порядок технику и подвижной состав, напоролись на небольшую группу фашистов. Отсидевшись день в ближнем селе, они намеревались с наступлением темноты улизнуть к своим. Столкнувшись лицом к лицу с нами, они раскрыли себя, первыми открыв огонь. Мы в долгу не остались, и они вынужденно отошли все к тому же селу, быстро заняв позиции на подходах к нему и в траншеях на его окраине. Бой был неравным: у нас кончались боеприпасы. Срочно решив, как действовать дальше, мы обошли противника и вошли в село с северо-запада. В сумерках мы незаметно подкрались к немцам и ударили с тыла. Чтобы понять, откуда их атакуют, немцы подожгли несколько скирд — осветить местность. Я бил короткими очередями и не терял из виду Ермакова, смелого, но и порывистого: предупредить, чтобы осторожным был. И тут заметил двух фрицев, ползущих к той яме, куда минуту назад нырнул капитан. Лейтенант Соловьев, сержант Карпенко и я ввалились в ту же яму. Здоровенный немец одной рукой схватил автомат капитана, другой — его за горло. Рядом возник еще один, готовясь ударить Ермакова по голове. По счастью, приклад моего автомата оказался быстрее. И тут на горле моем сомкнулись руки другого немца. Выручили Соловьев и Карпенко. Мое спасение ознаменовало протяжное ура, рванувшее по полю. Подоспели наши — железнодорожники и местные партизаны, прознавшие о группе немцев. Часть их попала в плен, других уничтожили. Потери наши оказались минимальными, зато раненых прибавилось. Им-то до рассвета и оказывали помощь. Капитан Ермаков отделался в том бою легкими ранениями, а я испугом нешуточным: руки того немца были как железный обруч...

Подъезжали к Невинномысску. Состояние капитана Ермакова стало ухудшаться. Оставив его на попечении врачей генерала Борисова, поспешил в Армавир, куда уже перебрался основательно штаб фронта. Начштаба А.А.Забулаев принял меня без промедления и подвел к карте.

Не упуская ни одной детали, я показал, где и что мы разведали на станциях Ставрополь, Палагиада, Раздвинная, Изобильная, Передовая, Кармалиновская, Расшиватка, Дригороволис.

Там же узнал я, что командование фронта за оперативное исполнение распоряжений командования большая группа офицеров, сержантов, рядовых и железнодорожников представлена к правительственным наградам. Высоко оценило командование и заслуги моего друга Ермакова. Поспешил к телефону связаться с санчастью, в которой оставил раненого товарища, чтобы порадовать его. На фронте радостные вести способствуют заживлению ран.

Тем временем немецкое командование решало свою очередную задачу — задержать продвижение наших войск севернее Ставрополя в районе станции Кавказская. Враг создавал один оборонительный пояс за другим, чтобы затруднить прорыв его обороны. К тому времени Ставка Верховного Главнокомандующего вывела Северную группу из состава Закавказского фронта, выделив ее в отдельный Северный Кавказский фронт. Довели до нашего сведения, что немцы взорвали один шоссе и два железнодорожных моста через реку Кубань. Так выглядела попытка приостановить стремительное продвижение наших войск. Им важно было в тот период выиграть время и окопаться поосновательнее. Однако наши взяли такой высокий темп, что на пути своем сметали все с ходу. 24 января освобожден был Армавир. Не скрою, что в известной мере такой рывок на фронте не мог иметь места, не трудись без сна и отдыха железнодорожные войска и железнодорожники, обеспечивая подачу всего необходимого. Будничная работа на поверку оказалась более чем результативной.

Взорвав мосты, противник поставил нас в затруднительное положение. Их следовало навести по новой, чтобы наступление не захлебнулось, чтобы отрыв фронта от тыла не сказался на характере боевых действий. Генералу Борисову и лично мне командование поставило боевую задачу — восстановить мост на Кавказской. Лютые морозы, острая нехватка стройматериалов ставили нас в аховое положение. Не один день и не одна ночь ушли у нас на изучение разрушений, на составление графика работ по возведению нового моста, пусть временного, но моста. Сменяя друг друга, мы подбирали кадры опытных мастеров и рабочих, привлекли к работе наш инженерный корпус. Поначалу дело шло. Из Армавира шли к нам цемент, инструменты и все необходимое. Там в достатке было все, да и войск скопилось более чем. Искали подходящие фермы для моста, но таковых не нашлось. И генерал Борисов пошел на риск — велел варить фермы на месте. Пусть временно, но движение следовало восстановить незамедлительно. С каким напряжением велись работы, можете себе представить. Мост удалось восстановить даже раньше срока, указанного в поручении. Поезда ритмично пошли на северо-запад. Там, в районе Тихорецкая — Куцевки, наши вели ожесточенные бои. Та же картина наблюдалась на линии Кавказская — Кубань.

Не успели мы доложить командованию о возведении моста, как разведка доложила, что задержаны десять немцев, переодетых красноармейцами. Они успели взорвать основание моста у правого быка. Как просочились к нам, уже выясняли. Благо повреждения оказались не столь серьезными. Через три дня движение возобновилось. На эти три дня доставка грузов к линии фронта была приостановлена. Генерал Борисов дневал и ночевал у строителей, лично контролируя ход работ, вплоть до их полного завершения. Он же взял на себя ответственность расшить «пробки» из эшелонов, образовавшиеся на промежуточных станциях на период ремонта моста. Войскам генерала Борисова поступил приказ заняться восстановлением и вводом в рабочий режим линии Гальяевск — Прохладная — Минеральные Воды — Армавир. В лютую стужу инструмент прилипал к коже, если рвались перчатки. А не хватало в ту пору буквально всего — от инструментов до строительных материалов и запчастей к технике, которой тоже было мало. Проходить, восстанавливая по 10—12 километров пути в день, считалось нормой. Дела пошли быстрее и лучше, когда железнодорожным войскам придали особые подразделения поддержки от народного комиссариата путей сообщения и когда на помощь пришли отряды местных — железнодорожников и активистов. Темпы ремонта дороги возросли. Теперь в день по 15 километров приводили в порядок. Превысить эту норму не удавалось... А фронт

уходил и уходил от нас, продвигаясь куда быстрее. Разгорелись жаркие бои за Батайск. Он прикрывал Ростов с юга и юго-востока. На всем протяжении от Батайска до Новороссийска противник создал оборонительный вал. Немцы нагнали туда танков несметно, артиллерии и минометов. И каких только родов войск там не было! Противника это, однако, не спасло. Войска южного фронта под началом генерал-полковника Р.Я.Малиновского проломили оборону немцев под Батайском. Ключ к Ростову был в наших руках. Случилось это 7 февраля. Город постигла участь почти всех городов, куда вступали мы, выбив немцев. От некогда богатого и благоустроенного купеческого города камня на камне не осталось, можно сказать. Взорвав все более или менее важные объекты, враг погрузил и погнал в Германию на работы почти все трудоспособное население. От станции не осталось ничего. Куда ни глянь — груды битого кирпича, воронки от фугасов. Земля и асфальт взрыты были повсюду.

Как ни странно, освободителей встречать вышло немало народу. Диву даюсь, откуда в руках у людей в зимнюю пору цветы живые были, флаги красные нашлись?! На ветру полоскались платочки в посиневших пальчиках. Женщины, старики и дети ликовали в связи с нашим приходом. Слезы радости и горя по убиенным, замученным врагом и расстрелянным, смешались в плач...

Красноармейцы, пережив с уцелевшими горожанами минуты счастья, бросились гасить пожары, все еще полыхавшие тут и там, стали помогать людям перебираться в уцелевшие строения, делились хлебом и консервами. Сахар раздавали только детям. На одной из улиц, где остановились наши танкисты, навстречу им вышел крепкий старик:

— Егоркин, дорогой мой сынок, Егоркин! — стал кричать он, крепко тиская танкиста.

— Спасибо, дед, за тепло, спасибо, только я не Егоркин. Сосин моя фамилия, Со-син.

— Ну и что? Сосин так Сосин. Как проехал твой танк мимо, да как остановился перед домом моим, я и решил, что Егоркин мой вернулся... Откуда мне знать, где он воюет, главное, что вы здесь, твой танк напомнил мне о нем...

И дед выплакал на груди сержанта всю горечь долгих ожиданий своих. Поддерживая бившегося в рыданиях деда, Сосин сказал ему:

— Кто знает, может, в эту минуту и мой отец, обнимаемая танкиста, думает, что это меня обнимает, а в объятиях у него твой Егоркин. Все мы дети одного большого дома, и у всех у нас одна святая цель — очистить нашу землю от фашистов...

Взяв Батайск, а за ним Новороссийск и Шахты, наши как бы отрезали немцев от их тылов, замкнув кольцо окружения. Бежать им оставалось только через Таганрог, но туда уже поспевали кавалеристы генерала Киричевского и разведроты 44-й армии. К освобождению Ростова были созданы все предпосылки.

С генералом Борисовым мы разрабатывали схему восстановления полотна на линии Батайск — Кайала. 14 февраля наши вошли в Ростов, внеся коррективы и в нашу работу. Ключ к Тихому Дону был в наших руках. Город являлся его цитаделью. Как профессионалы, мы, естественно, первым делом ринулись к станции. Картина радовать не могла. Даже запах гари остался после боев. Узнал, что выбивали немцев со станции ребята старшего лейтенанта Гукаса Мадояна. О том, как все это происходило, поведали нам местные железнодорожники, уже приступившие к разбору завалов и ремонту путевого хозяйства и стрелок. Прорвавшись одной из первых в город, рота первым делом захватила станцию и шесть суток отбивала атаки гитлеровцев. И удержала рубеж за собой. Из армейских газет узнал, что земляка моего удостоили звания Героя Советского Союза, а его храбрецов наградили орденами и медалями.

Чуть погодя я показал генералу Н.В.Борисову — за глаза мы его звали «наш генерал» — тот самый мост, который мы в октябре 41-го приспособили для перехода через него танков, полотно железной дороги, вдоль которого шли на нас немцы, и то место, где я был ранен и выведен из строя на целых пять месяцев.

Больше всего хлопот железнодорожным войскам доставил взорванный участок Батайск — Ростов, где противник лишил нас трех мостов через Дон и его притоки. Юго-Восточный и Воронежский фронты ждали подкреплений и боеприпасов с продовольствием. Поэтому и незамедлительно бросили нас на выполнение этой задачи.

Солдаты не разгибали спины по 16—20 часов, мерзли в мокрой одежде и, валясь от усталости, спать ложились, прижимаясь друг к другу, чтобы не замерзнуть. В дело шло все, что можно было раздобыть. Разбирали даже запасные пути, нередко выкапывая рельсы на заводских территориях и в тупиках. Шпалы и те негде было достать.

Сам я в те дни занят был подсчетом следующих на север эшелонов и планированием по их отправке. С нетерпением ждали известий о ходе работ на тревожном участке. Брошены были наши силы и на Кавказскую, потому что через нее должны были поступать армиям, стоявшим под Краснодаром, подкрепления. Скопившиеся на Кавказской эшелоны можно было гнать только через Кавказскую. На нас надеялись, нашей помощи ждали. Остаться в Ростове не имело смысла. Изучив степень повреждений, мы указали, где и что в первую очередь следует восстановить, дали инженерные расчеты и двинулись на юг. С места на место перебирались мы обычно по ночам, не желая подвергать себя бомбежкам или прицельному огню. Что до противника, то он, уступая нажиму наших войск, медленно отползал к Краснодару. Ставка Верховного торопила со взятием Краснодара. Нагрузка на нашего брата нарастала день ото дня. Командование фронта требовало ускорить работы на линии Ростов — Краснодар. Пришлось с первым же составом ехать на станцию Усть-Лабинскую. Там и застряли, потому что дальше дороги не было: ее рвали немцы и корежили специальными крюками. За работу там едва успели взяться. Доложил начальству о плачевном состоянии дороги из Ростова в Усть-Лабинск. И тотчас получил личное поручение, прозвучавшее страшнее, чем строгий приказ: принять все меры к тому, чтобы под боеприпасы были отведены временные хранилища в Усть-Лабинске, а под горючее — на станции Лодыжинской. За первым поручением последовало второе — подготовить все средства к переброске имеющихся запасов продовольствия, вооружения, боеприпасов и все того же горючего в Краснодар, как только наши войска освободят город... А бои уже шли на подступах к Краснодару. Когда можно было все это успеть?! 11 февраля 40-я моторизованная бригада Н.Ф.Ципляева ворвалась в город и захватила станцию. На другой день в сводках Совинформбюро сообщалось, что наши части полностью овладели Краснодаром, районным центром и вышли к станциям Тимашевская, Донская и Новотитаровская с важным узлом в Радовской. Что это могло означать, каждый из нас отлично понимал. Сейчас мы отправимся туда, определим характер разрушений, примерные сроки восстановления движения — гнать к фронту поезда с оружием и продовольствием. Выезд в Краснодар пришлось отложить, потому что к тому времени на станции Кавказская успело скопиться немало эшелонов с грузами для фронта и поездов, в том числе санитарных: война поставляла раненых без перерыва. Утопая по колено в холодной жиже и вязкой грязи, за ночь с трудом справились с заданием, рассортировав составы и отправив все по назначению. Там я и встретил Ермакова. Он возвращался со станции Кавказская. Раны затянулись, и выглядел мой боевой товарищ вполне браво. Потеплело на душе. Теперь я знал, что не один, потому что работа в одиночку гнетет и давит. Я эту горечь познал на себе. Наутро мы уже ехали в Краснодар. На западной окраине города все еще шли ожесточенные бои.

Итак, я снова в Краснодаре. Замкнулся круг, мотавший меня почти год по цепочке Краснодар — Новороссийск — Адлер, затем Бзыби — Гагра — Сухуми вплоть до Орджоникидзе, Майкопа, Пятигорска, Ставрополя, Батайска, Ростова, опять приведшей меня в Краснодар. Беглые картины всевозможных событий промелькнули передо мной за неполный год, а показалось, что минула вечность. Да, да, именно так, потому что на войне время движется по иным законам, оно сжимается.

Краснодар дорог мне был еще и потому, что связано было с ним многое. Помнил я этот город цветущим в дни, когда война гремела далеко от него, и в печальные дни, когда мы с подполковником Чубом вынуждены были собственными руками уничтожить станцию и все мало-мальски важные пристанционные объекты, отходя к Крымской, в сторону Новороссийска, чувствуя на затылке каленые взгляды наших людей, вынужденных остаться под оккупантами.

Возвращение в родные сердцу места омрачали руины по обе стороны дороги: что не успели поднять на воздух мы, отдавая город врагу, доделали основательно потрудившиеся здесь немцы. От главной улицы, гордости города, — одни воспомина-

ния. Груды развалин, все еще дымящиеся бревна сожженных домов. Ни трамвайного депо, ни мостов, ни переходов. От парка отдыха почти ничего не осталось: деревья немцы вырубили до единого, скульптуры побили, испоганили все донельзя.

Остановились возле роддома. Фашисты превратили его в дом пыток для пленных красноармейцев. Не лучшим было положение попавших в «котлы», размещенных немцами в бараках неподалеку от роддома. Истязали и там. За день до своего ухода фашисты сковали цепью уцелевших в бараках наших солдат и подожгли. Очевидцы рассказали, что оттуда долго-долго доносились крики и стоны с проклятиями врагу. Вкруг барачных, превращенных в малый концлагерь, выставлены были автоматчики — не дать никому из местных прийти на помощь своим, горящим заживо. Несмотря на строжайший приказ не подходить ближе, несколько женщин рванулись к баракам, в огонь, но были расстреляны в упор и погибли на глазах застывших в немом оцепенении горожан. На изучение состояния станций ушло у нас несколько дней. Составили подробный план разрушений, прикинули, сколько и чего понадобится на ближайшее время. Пользуясь слабостью зенитной обороны города, в небе то и дело возникали самолеты противника и, сбросив свой смертоносный груз, улетали. Беспрепятственно. Утром 20 февраля один из таких стервятников спикировал на центральный вокзал. В час, когда работа у нас начала подвигаться. Раздался взрыв такой силы, что потемнело в глазах. Я потерял сознание, и меня засыпало землей. Откопал и доставил меня в госпиталь капитан Ермаков.

В себя пришел я лишь спустя несколько дней. Белый потолок качался надо мной и готов был свалиться на голову. Думаю, состояние мое врачебная комиссия сочла весьма серьезным. Я был отправлен в тыл. Уважив просьбу, меня определили в Ереван. Там же находилась моя семья. 12 марта 1943 года я уже лежал в Ереванском госпитале. Я успел ее эвакуировать много раньше. Жили они в небольшой комнатке, выделенной им моим фронтовым другом Матевосом. Город жил подтянуто, лица посуровели. Как и по всей стране здесь все, способные встать к станку — пожилые люди, женщины, подростки, — пошли на производство... И хотя город мой родной отстоял от линии фронта на сотни километров, дыхание войны чувствовалось явно. Часть учебных зданий и учреждений культуры были переоборудованы в госпитали. На улицах людей с перебинтованными головами, руками или ногами можно было встретить почти повсюду. Меня, железнодорожника, естественно тянуло на станцию, благо госпиталь расположен был неподалеку от нее. Когда позволяло здоровье, шел на вокзал и сидел там часами, наблюдая, как формируются составы с народнохозяйственными грузами, как вагон к вагону готовятся к отправке на фронт воинские эшелоны. Не раз тянуло помочь товарищам советом, накопленным опытом, и я изредка встречал в их работу. Провалившись более полутора месяцев на больничной койке, я, наконец, выписался и тотчас получил новое назначение — начальником оперативного отдела путей сообщения Центрального фронта. Надлежало без промедления явиться в штаб, расположенный в городе Старобельске. Это в Донбассе.

До места назначения добрался 22 апреля. Линия фронта в те дни пролежала на северо-запад вдоль реки Северный Донец, с юга от Таганрога на север, прихватив бассейн реки Миус. Справившись с фашистскими ордами в Сталинграде, Юго-Восточный и Южный фронты соединились, очистив от немцев большую часть Ворошиловградской области. Теперь наши зацепились за южные районы Донбасса.

Командование 3-й гвардейской армии нашло целесообразным поставить меня начальником оперативного отдела путей сообщения. Доклады я слал уже по новому адресу, в Новый Гайдар, что на Северном Донце.

Из Старобельска я повернул на Новый Гайдар, напрямик в штаб фронта. Встретили меня крепкими объятиями: часть офицеров была знакома по тяжким временам, когда мы отходили, с другими я учился в одной академии. Через неделю я уже был в Чеботовке. Там располагались склады с продовольствием и военным снаряжением 3-й гвардейской армии. Единственная дорога Чеботовка — Ворошиловград — Новый Гайдар — Старобельск к тому времени введена была в эксплуатацию передовыми частями железнодорожных войск. И проходила она так близко от позиций противни-

ка, что немцы могли доставать наши составы огнем своей артиллерии. Несмотря на все меры предосторожности с нашей стороны, о передвижениях немцы знали по шлейфу дыма из паровозных труб, нанося нам чувствительный урон, выводя из строя тяжелыми снарядами полотно дороги, мосты и стрелки. Карты у них на руках были куда как подробные, до войны еще отпечатанные. Даже двухверстовки. Нам бы таких побольше... Каким-то образом вычислил враг и местоположение наших основных складов. По ним били, не переставая, бомбили с завидной регулярностью. Прямые попадания вынудили командование срочно переместить склады на полтора, а бензохранилища на два километра вглубь, в тыл. В срочном порядке пришлось проложить 3,5 километра запасных путей и тупиков. Придав мне роту железнодорожных войск, поручили приступить к работам безотлагательно. Под моим началом оказалось 1200 мастеров и железнодорожных рабочих, поспела необходимая техника. Теперь оставалось уложиться в жесткий график исполнения приказа. На все про все отпускали нам 15—20 дней.

Темп мы с первых же дней взяли высокий, но вскоре пришлось замедлить ход работ, потому что неоткуда было больше брать шпалы и рельсы. Выкрутились. Рапортовали о готовности на 17-й день. Мы не только надежно укрыли военные грузы, но и изыскали возможность рассредоточить запасы горючего.

Соппротивление немцев по линии обороны нашей 3-й гвардейской росло. Что и говорить, после битвы под Сталинградом они понесли потери, устали. Воспользовались небольшой передышкой и мы, перестроив свои порядки, пополнив личный состав. Немцы огрызались день и ночь. Били из тяжелых орудий и минометов, пристреливались. Передовые позиции местами были у них как на ладони. Отчего не поприжать нас к земле. Психологический фактор в их тактике играл немалую роль. Им важно было держать нас в напряжении. Порой им это удавалось...

В задачу наших войск входило обеспечение бесперебойной разгрузки. Мы же отвечали за своевременную отправку поездов по назначению. Горячка эта длилась у нас примерно два месяца. Все станции по действующей дороге забиты были нашими войсками и техникой. Отрабатывались последние детали в деле полного освобождения Донбасса. Бесценный опыт, полученный мною на Северном Кавказе, научил меня сегодня думать о непредвиденных ситуациях в дне завтрашнем. К тому же нельзя было допустить, чтобы трения между сражающимися частями и железнодорожниками заводились в тупик. Острые вопросы мне приходилось решать на месте, и решать жестко...

Да только нервы у всех были напряжены, потому что работали мы на пределе сил. До сих пор поражаюсь терпеливой немногословности своих подчиненных. Думаю, что они любили меня, потому что, где мог, я щадил их время, продлевая сон на полчаса или сорок минут...

Досаждал нам особый плуг, который немцы цепляли к паровозу, — крошить шпалы за собой, закручивая рельсы и разрушая полотно дороги. Груды искореженных рельсов и шпал встречали нас повсюду. Пришлось просить командование отрядить специальный разведотряд с поручением найти и уничтожить этот плуг. В противном случае нам нечем было восстанавливать путь. А значит, фронт не получит вовремя требуемые грузы. Ни фронтовая разведка, ни воздушная не могли выявить место базирования нашего главного врага — страшного плуга. Помогла чистая случайность.

Прислонившись к стене на станции Чеботовка, мы со старшим лейтенантом Сергеевым курили, пытаясь догадаться, куда же они могли спрятать зловредную машину свою. И тут, отдав нам честь, попросил разрешения обратиться к нам пацан лет пятнадцати.

— Разрешите присоединиться к вашему разговору.

Окинув беглым взглядом обряженного в лохмотья паренька, не скрывая крайнего удивления, а может, и сомнения, я позволил ему поучаствовать в нашей беседе:

— Разрешаю. Кто ты? Что знаешь?

— Я Борька. Я краем уха слышал, что вы ищите их паровоз с этой штукой. Так вот, я знаю, где они ее прячут. — И он нарисовал на асфальте плуг. — Они цепляют этот крюк к платформе, а платформу к паровозу. Опускают на путь и... получают груды

искореженного металла и дробленые шпалы. И все это летит у них под откос. А если хотите найти этот паровоз с платформой, так я вам помогу.

— И как же ты поможешь?

— Да не я, друг мой — Сашка. Он на том берегу живет. Он видел, куда они сцепку эту загоняют.

Дослушав Борьку, Сергеев махнул рукой, бросив:

— Хватит заливать. Наплел и ладно. Как ты тут высунешься, когда весь берег реки простреливается?!

— Ах, не верите? Так я вам докажу. У нас с Сашкой условное место есть для встреч. Приходите сегодня, как стемнеет, я вам его покажу. Хотите?

— Хотим. Кто не хочет?

Отвели Борьку к себе, накормили. Поближе узнали осиротевшего парнишку. Родителей его немцы расстреляли, и он оказался в числе тысяч чудом уцелевших, став оборванцем. Решили поближе познакомиться с его семьей — бабушкой, сестрой и братиком, войной пощаженными. Прихватив консервов и хлеба, а еще карандаш и бумагу в планшет сунув, мы двинули к камышам по нашему берегу Северного Донца. Вел он нас узкой тропой, берущей вверх.

— А вон и Сашка, — сказал он, — видите? На том берегу. Я же сказал, что он придет!

Присмотревшись к противоположному берегу, мы и впрямь заметили парня, припавшего к стволу большого дерева. Он что-то показывал руками, а Борька кивал и улыбался. Они отлично понимали друг друга.

— Дайте мне бумаги листочек и карандаш, — вполне довольный собой обратился к нам Борька.

Что он там написал, не могу знать, потому что, закончив писать, он завернул в записку камень и «выстрелил» посланием на тот берег. В руках у Борьки самодельная праща отлично сработала. Он просил Сашку срочно разведать, где стоит у немцев этот проклятый «плуг».

Пошарив в траве, Сашка нашел послание и, обменявшись еще какими-то знаками, дружба разошлась. Мы могли видеть, как ловко скользит на том берегу фигурка среди кустов.

— Теперь можем идти, — бросил гордый собой Борька.

И мы повиновались. Утром следующего дня Борька, этот юный боец, положил нам на стол ответ с того берега.

— То, что ищете, стоит в тупике песчаного карьера, хорошо замаскировано.

Разведка подтвердила сообщение Сашки, и в канун наступления наши летчики сделали свое дело. Забегая вперед, должен сказать, что немцы располагали в Донбассе 12 такими устройствами, из коих 7 наши вывели из строя перед наступлением, а остальные — уже по взятии Донбасса.

Через два дня, перебравшись через реку, Сашка объявился у нас. Доложили о ребятах командованию. Их поощрили подарками и обеспечили их семьи продовольствием и одеждой. По тем временам помощь была существенной. Теперь Сашка и Борька благодарили нас.

Активные действия по освобождению Донбасса начались в начале сентября 43-го. Войска Юго-Восточного фронта удар по немцам нанесли с юго-запада. Со стороны Таганрога на противника обрушил свою огневую мощь Южный фронт. 4 сентября наши вошли в пределы Ворошиловградской области с последующим развертыванием боевых действий в районе Донецка. К концу четвертого дня боев перешел в наши руки районный центр Сталино, ныне Донецк.

В приказе командующего был высоко отмечен вклад и 3-й гвардейской. Бросок наших армий оказался настолько стремительным, что противник не успел скольконибудь серьезно порушить довольно густую сеть железных дорог Донбасса. Война уходила вперед, требуя от нас, железнодорожников, как можно скорее передислоцировать склады со всем необходимым фронту поближе — на станции Красный Лиман и Чаплино. Предстал пред очи начальника военных сообщений (ВОСО) армии. Полковник ввел меня в курс дел без промедления. Приведя точные данные по сложившейся на станциях обстановке, потребовал в 24 часа ликвидировать опасное скопле-

ние эшелонов и в кратчайший срок подать к передовой боеприпасы и поступающую боевую технику. Легко сказать — 24 часа. Мне повезло. Генерал-лейтенант Любарский шепнул мне, что в Чаплино стоят 25 вагонов со снарядами для «катюш», 30 вагонов авиабомб и 125 со снарядами для артиллерии всех калибров. Тревогу командования можно было понять. А надо было и разделить ее. Погода благоприятствовала нам: небо затянули тучи, лишив фашистскую авиацию возможности бомбить нас. Можете себе представить, какой урон нанесли бы они одним даже вылетом. Любарский не стал утаивать и другое: весь автотранспорт застрял в вязкой грязи. Октябрь выдался дождливым. Тяжелые тягачи и те увязали по ступицы. Успевшие вывозиться в вязкой грязи солдаты шутили: «Кто в Донбассе не бывал, тот и грязи не видал».

— Езжайте и действуйте. Сделайте все возможное. По обстоятельствам. Вопросы решайте на месте. Я верю в вас, думаю, не подведете, — сказав на прощание, протянул мне руку начштаба.

«Сделайте все возможное». Мне определенно везло с поручениями начальства. Вся надежда была на железную дорогу. Дождь не переставал уже некоторые сутки. Дохнула осень, пронзая сыростью. В скором времени я оказался на станции. Походил, присматривался, с чего начать, как ликвидировать затор. И тут я услышал гудок паровоза, прибывшего со станции Гайчур. Он покотился в депо. Эта ветка позволяла паровозам выезжать и въезжать на территорию станции. Обратил внимание на пути, ведущие в депо, на первые вагоны, забившие пути у самого депо. В них, как я выяснил, везли обмундирование и продовольствие. А что если в первую очередь убрать с путей именно их? Ведь это они запирали все остальные составы. Мелькнув в голове, мысль эта там и осталась. Улыбнулся про себя, тут же прикинув, что командование вряд ли пойдет на такое. Походил-побродил вокруг этих вагонов, пораскинул мозгами и пришел к выводу, что, скинув именно их с путей, можно добиться желаемых результатов. Поспешил к телефону. Генерал Любарский выслушал меня, приняв к сведению мои соображения. Вскоре появился и сам. Убедившись, что мой подход к делу решительно точен, связался с командованием. Подъехали генералы Гордов, Колесниченко, Лопатенко. Посоветовавшись, приняли решение — убрать с путей мешавшие 12 вагонов... Все оставшееся время и ночь ушли на установку стрелок на путях, где стояли злополучные вагоны, и к рассвету пошли первые поезда. Первый ушел на Гайчур. С этим составом убыл и я, прихватив с собой отделение автоматчиков. И не зря. На подходе к Гайчуру нас обстреляли из засады.

Пришлось ответить огнем. Бой завязался нешуточный. Погиб помощник машиниста Гарибян, тяжело ранило машиниста Соловьева и кочегара. Паровозом управлять было некому. Приказав автоматчикам прикрывать меня, я спрыгнул на насыпь и подобрался к кабине машиниста с другой стороны. Пригодились навыки, приобретенные за годы учебы в академии. Нашел лист железа и, заложив им окно, тронул паровоз с места. Стреляли немцы по составу вплоть до Гайчура. Там нас встречал батальон поддержки. Но мы понесли потери: 5 убитых и одного раненого. Потери немцев тоже подсчитали — они потеряли убитыми 80 и ранеными человек сто. Не прошло и двух часов, как на Гайчур прибыл второй поезд. Движение наладилось, вошло в график. Через три дня появился в Гайчуре полковник Панов, порадовав меня сообщением о том, что за проявленную смекалку и решительные меры, принятые мною на станции Чаплино, командование представило меня к ордену Красной Звезды. То была уже вторая высокая правительственная награда, полученная в период боевых действий. В конце сентября движение вдруг прервалось. Донесли, что в район станции Нежин на полотно дороги упали две авиабомбы замедленного действия. Взорваться они могли каждую минуту.

Прошло несколько часов, пока мы добрались с ротой до места случившегося. Собрались паровозные бригады, железнодорожники, солдаты. Прибыло начальство — генералы Любарский и Лопатенко. Судили-рядили, как быть. Не расстреливать же с дальнего расстояния. В таком случае полотно дороги будет выведено из строя надолго и на большом участке. А как быть тогда с составами, до отказа груженными военным снаряжением?! Они же станут легкой добычей для немецких летчиков. И пока начальство решало, как быть с авиабомбами, ко мне подошел командир приданной мне роты Середа, старший лейтенант. Попросил позволить ему обезвредить их.

— Товарищ командир, — обратился он ко мне по форме, — фашисты мать мою расстреляли, брата и сестру угнали в Германию, так что плакать по мне некому, — и, не дожидаясь ответа, рванул к бомбам, выставившим свое оперение напоказ.

— Вернись! — только и успел я крикнуть ему вслед. Но он уже не слышал меня или не хотел слышать. В несколько прыжков он очутился рядом с одной из них, с трудом вырвал ее из земли и, проявляя величайшую осторожность, плавно спустил в ближайшую яму. Проделав то же со второй бомбой, он, довольный собой, вернулся в роту, не скрывая улыбки.

Угроза миновала. С деланной строгостью я пожурил его, пригрозив даже десятью сутками «внеочередной», хотя, не скрою, гордостью преисполнилось все во мне за своего храброго и сметливого подчиненного.

Поезда пошли почти сразу же, как дали знать на станцию. Я представил начальству рапорт с просьбой представить Середу к высокой правительственной награде. Просьбу мою уважили: на груди моего старшего лейтенанта засиял орден Боевого Красного Знамени.

В феврале 1944 года командование фронта пришло к убеждению, что 3-ю гвардейскую надо отозвать в тыл, дать ей перевести дух и пополнить личный состав. Часть отбитого у противника зерна командование решило направить в дар высвобожденным из блокады ленинградцам. Три состава по 60 вагонов вместили 3600 тонн хлеба. Грузили бережно, понимая важность поручения. Спустя пять дней, 14 февраля, имея на руках приветствие командования фронта жителям города Ленина, отбыли. Ответственным назначен был я. Два других состава сопровождали майор Харченко и капитан Соловьев. И три спасительных поезда пустились в путь. В сопроводительном письме всем, всем, всем велено было давать нам «зеленую улицу», то есть светофор зеленый для беспрепятственного следования к месту назначения. И делалось все к тому, чтобы изголодавшиеся сограждане наши на день, на час раньше получили хлеб. Уж ему-то цену пережившие блокаду люди знали.

Февраль метельный, глубокий снег встали на нашем пути. Пришлось цеплять перед паровозом специальные платформы — снег разметать. На каждой станции проверяли состояние вагонов, тормозных колодок, буксов, нередко простаивая по несколько дней, приводя в порядок и ремонтируя отдельные узлы. Как старший, я ставил в известность все службы по ходу нашего движения, что везем мы хлеб для иссушенных голодом ленинградцев. Понимание было всюду. Нас даже пускали вне графика, пропускали вперед. До места наша связка поездов добралась без особых трудностей. Встречал нас по поручению командования Ленинградского фронта подполковник Егоров. Вагоны покатали на элеватор.

Пять дней в Ленинграде пролетели, как один. Пришла пора расставаться с городом на Неве. На обратном пути нас бомбили. Загорелся вагон в моем поезде. Пришлось его свалить под откос. Погиб младший лейтенант Гринев, ранения получили рядовой Русанов и сержант Карпов. По прибытии в Нежин представился члену Военного совета генерал-майору Лопатенко, передал приветственное письмо от командования Ленинградского фронта. Оно было зачитано во всех частях и подразделениях.

Время отдыха вышло. Укомплектованная как положено, 3-я гвардейская готова была к боевым действиям. Фронт к тому времени ушел вперед от Нежина на целых 350 километров.

План переброски армии к фронту был готов. Осталась самая малость: подать под погрузку 136 эшелонов. Предстояло прибыть по железной дороге в район Ровно, Дубно, Киверцы, Луцк и занять там позиции на южном берегу Западного Буга, как раз впритык с границей Польши.

Не успел я оправиться от пяти дней пребывания в Ленинграде, как получил распоряжение вплотную заняться разгрузкой прибывающих составов. Я же отвечал за порядок в отделениях дороги. Не мешкая, отправился в Ровно. Нам со товарищи предстояло выполнить объем работ по всем позициям — приводить в порядок станции, принимать грузы и распределять их по намеченным точкам. Упомянутые города и населенные пункты располагались преимущественно в лесных массивах, а это позволяло отдельным отрядам врага, прятаясь неподалеку, наносить нам вне-

запные и весьма чувствительные удары. Наши потери росли. До прибытия первого эшелона прошло семь суток. За это время мы не раз вступали в короткие бои с немцами. За первым пошли остальные 135. Прибывая один за другим, они ждали от нас оперативного реагирования. Все сортировалось и направлялось по назначению. Удостоились благодарности от генерала Гордова не только железнодорожные части, но и подразделения прикрытия. Без них нас просто расстреливали бы на путях.

30 августа 1944 года войска 1-го Украинского фронта, в составе которого сражалась и наша 3-я гвардейская армия, форсировав реку Висла, заняла Сандомирский плацдарм. Стремительный отрыв передовых частей вновь создал все ту же проблему — подтягивания тылов ближе к передовой. Отрыв на 490 километров считался недопустимым. Причина заключалась во все той же разрухе на дорогах. Приходилось, как говорится, строить железные дороги заново. Мосты через Западный Буг, Сан и Вислу были взорваны. Мне приказом командования армии предложили перебросить склады из Ровно и Луцка в район Развадува. Железнодорожные войска генерал-майора П.А.Кабанова еле-еле успели к тому времени привести в порядок единственную дорогу, пропускная способность которой не превышала 12—14 поездов. И обслуживала она все армии — строго по лимиту: полагалось принимать или отправлять всего два состава. Вот почему принимались меры к тому, чтобы не лишиться и этого узкого коридора.

Да вот задержаться мне там пришлось. Не успели мы отправить на Развадув из Луцка 12 поездов, как в мой адрес поступил приказ немедленно прибыть в Развадув в штаб армии. Наш У-2 был встречен «мессерами». Пришлось совершить вынужденную посадку. Летчика легко ранило, но самолет получил серьезные повреждения. Пришлось добираться до Развадува на перекладных.

В штабе меня посвятили в план дислокации армии, разъяснив, как важно сократить расстояние между фронтом и тылом. Эти 500 километров автотранспорт едва покрывал дважды за день. А дороги были разбиты или в плохом состоянии. Противник бросал в атаку свои части по 8—10 раз в день, не давая передышки. Подвоз боеприпасов к Сандомирскому плацдарму, особенно горячего, стоял первым на повестке дня. Выход был найден. Нам, железнодорожникам, велено было бросить все силы на приведение в порядок ветки Рава — Русская — Замостье. Это позволило бы быстро сократить время на подвоз продовольствия и боеприпасов. Ответственность за ввод в эксплуатацию этой ветки целиком легла на наши плечи, поскольку солдаты генерал-майора Кabanова заняты были на работах линии Развадув — Замостье. То был главный путь. И, как правило, его восстановление вели железнодорожные войска. Нам же вменялось привести в порядок запасные пути, станции, полустанки, разъезды и стрелки. Работать мне предстояло на территории Польши, часть земель которой уже освобождена была нашими войсками. В городе Люблине было сформировано правительство Народной Польши, с каждым днем все больше простиравшее свою власть на остальной территории, следуя за советскими войсками. Влияние свое повсюду старалось усилить на местах и так называемое «Лондонское правительство», имевшее своих сторонников по всей освобожденной Польше.

На разведку и выяснение состояния дел на этом участке ушло у меня несколько дней. На всем своем протяжении дорога была искорежена, мосты и виадуки взорваны. Полотно оставляло желать лучшего. 90 процентов всего следовало восстановить, как построить заново. Прикинув, сколько чего и сколько рабочих рук понадобится на ремонт запасной этой ветки, я вернулся в Замостье. Представил генерал-майору Лопатенко свои расчеты и поделился соображениями на этот счет. Внимательно выслушав меня и одобрив прикидки, член совета фронта, честно глядя мне в глаза, сказал, что ничем помочь не в силах, поскольку все имеющиеся резервы брошены на удержание Сандомирского плацдарма. Желая подбодрить меня, сказал:

— Собери железнодорожников Люблина, Хелма, Владимира-Волынского и держай. И чтоб дорога к сроку была готова! Свяжись с секретарем военного комитета Люблина Дубелем, попроси помочь, чем сможет...

Не преминул заметить, что не мешало бы мне в срочном порядке взяться за ознакомление с польской культурой, почитать хоть что-то из произведений их класси-

ки, чтобы при случае вернуть где надо полученные знания, будя в поляках чувство национальной гордости. Я внял доброму совету генерала. Позже не раз убеждался в правильности его видения предмета, когда время свело меня с отрядами «Лондонского правительства». Даже скудные познания мои сыграли роль в этих встречах, если не сказать, спасли мне жизнь. И по сей день благодарен генералу, подвигшему меня читать в боевой обстановке Мицкевича, Сенкевича и слушать пластинки с музыкой Шопена. Положение выдалось более чем серьезным, время, как всегда, поджимало, и мы рьяно взялись за реконструкцию дороги. Остро встал вопрос, где взять материалы для строительства, как найти рабочую силу. Не раздумывая, сразу же обратился к Дубелю. Помощь стала прибывать буквально на другой день. К нам потянулись железнодорожники. Трассу в 185 километров мы разбили на 10 участков с путевым мастером на каждом. Он же должен был отвечать за качество восстановленного пути. Во избежание напрасных жертв мы сначала пустили по всей трассе саперов очистить полотно от заложенных мин. А их на этом участке обезвредили мы 2900. В полотно дороги немцы врыли еще и 25 авиабомб.

Польские товарищи буквально выручали нас, отыскивая на запасных путях шпалы и рельсы. Так мы разжились на ветках, ведущих к сахарному и деревообрабатывающему заводам. А ветки эти принадлежали частным лицам, связанным с «Лондонским правительством». Всеми силами нам препятствовали в изъятии части их собственности. И опять на подмогу поспело правительство Люблины с энергичным дипломатом Дубелем. Мотаясь вдоль всего участка, я лично следил за качеством производимых работ, сверяя по графику, временами даже прося ускорить дело. Прознав, что я армянин, польские железнодорожники настоятельно советовали мне побывать в Замостье и полюбоваться величественными, изящной архитектуры домами на площади Мицкевича. В них явно проступали традиции армянского зодчества. От них же я узнал, что столетия назад осела здесь большая колония армян. В меня словно вдохнули воздух родины: все эти строения, особенно арки, были украшены резьбой по камню... Постоял, полюбовался, гордости за свой народ преисполнился и... поспешил к своим непосредственным обязанностям. Фронт не ждал.

Поначалу работы шли строго по графику. Но не прошло и трех дней, как рабочие и мастера с участка стали исчезать. И я докопался до причины: людям просто нечего было есть, хотя по соседству, в барских имениях, хлеба и картофеля имелось в изобилии. Да разве осмелился бы кто из поляков покуситься на чужое добро?! Поощряемые из Лондона хозяева тучных пастбищ и богатых угодий не отпускали рабочим ни зернышка. А у нас приказа не было реквизировать хлеб на нужды армии.

Досаждали строителям и разрозненные отряды отбившихся от своих немцев, прятаящихся по лесам и стрелявших по рабочим из укрытий. Пришлось просить командование срочно принять меры. Отреагировали без промедления: к нам подошли рота пехоты и эскадрон кавалеристов. Справлялись они с поставленной перед ними задачей отменно: у наших рабочих появились и хлеб, и мясо, и картофель — в досталь.

Правительство Миколачика из Лондона активизировало своих приспешников, и они стали досаждать нам своими внезапными наскоками. 18 километров дороги проложены были через лес, что облегчало нашим противникам обстрел. На большинстве отрезков были взорваны мосты. Принялись в первую очередь их восстанавливать — на совесть. А с совести, как известно, и спрос большой. Чаще я навещал мостовиков. На отрезке дороги, где взорван был мост длиной 40 метров, бывал чаще. И как-то, не заметив, что темнеет, остался в рабочей хибаре, решил проверить еще разок расчеты и прикидки. Звездная ночь расслабила, что ли, я вспомнил семью, друзей, с которыми развела война. Кто-то на чистом русском скомандовал мне в окно: «Руки вверх!». Поднял голову, а на меня два автомата направлены. И тут же ударом ноги выбили дверь. Передо мной стоял бородатый здоровяк.

— Встать! — гаркнул он.

Показав кивком, где автомат мой лежит и пистолет в кобуре, я попросил не мешать мне работать, довести до ума инженерные расчеты. И добавил:

— Мы же для вас стараемся, поляков, не так ли?

То ли ровный голос мой на них подействовал, то ли еще что, но я получил время на передышку. И тотчас перешел в атаку:

— Если вы такие умные, как позволили немцам дорогу до такого состояния довести?! Меня, конечно, можете убить, но какой вам прок будет от этого? И без вас, и без меня дорогу рано или поздно приведут в порядок, так что стрелять в меня — никакого смысла...

Вперив в лицо колючий взгляд, верзила молча разглядывал меня. Вспомнил наставления генерала моего, Лопатенко. Стал наседать:

— Дорога, как ни крути, народу достанется, тому народу, который дал миру Мицкевича, Сенкевича и Шопена. Они поважнее нас с вами будут...

Воспользовавшись заминкой, шагнул к бородачу и не без сожаления выдохнул:

— А теперь пошли. Куда меня стрелять поведете, к лесу или к мосту, который наводим? Сказать по правде, вы не дали мне закончить чертеж для мастера. Я к утру надеялся справиться с цифрами...

Из-за спины здоровяка ко мне шагнул солдат и, бесцеремонно потянув меня за рукав, бросил:

— Ты кончай там свою большевистскую агитацию, у нас на нее времени нет.

Резко развернувшись, бородач врезал тому, кто тянул меня к выходу. Что-то скомандовал на польском и велел выйти вон. Жест его был убийственным. Его люди как испарились. Подсев к моему столу, он предложил сесть и мне. Склонился над моими бумагами, справившись на ломаном русском, что лежит на столе. Ну, я ему в деталях все и стал разъяснять — что к чему. Сделав обиженный вид, даже обронил упрек в их адрес:

— Я тут для вас стараюсь, а ваши ребята на меня автоматы наставили.

Что в ту минуту творилось в душе этого человека, никто не догадается, но, выслушав меня, он встал, вышел за дверь и вернулся — с моим автоматом и пистолетом в кобуре. Сел рядом и уважительно протянул мне мое оружие.

Как я и думал, бородач руководил отрядами «Лондонского правительства». В своем подчинении имел он человек 200, и сражались они за «Великую Польшу». У него приказ — сражаться с русскими до конца, но он уже усомнился в праведности своего дела, не знает, как выйти из положения достойно. Не скрою, что я воспользовался моментом и стал наседать на него, уверяя, что подлинное правительство Польши сидит в Люблине и что поляков спасут именно русские. Не преминул заметить, что время идет и было бы нелишне оказать содействие русским, насмерть бьющимся с фашистами. Страхи оставили меня, и я напомнил бородачу:

— Вспомни, с чего война началась. На вас ведь напали, на Польшу... А мы пришли избавить вас от фашистской гадины. Свяжитесь с Люблинским правительством. Хотите, могу свести кое с кем. Лично я Дубеля знаю, честный поляк. Людьми помог, справляется, как дела идут. Не мешкайте, завтра поздно будет... А что зашли — спасибо. И что от расстрела спасли — тоже. Сами понимаете...

— А чем я лично мог бы помочь вам? И потом — ни в одну советскую часть меня не возьмут и в польскую, думаю, тоже, — тяжело кряхтя, бородач поднялся с места и шагнул к выходу.

Я остановил его:

— Хотите помочь? Пожалуйста! Мобилизуйте людей и подводы из ближних сел, помогите восстановить железную дорогу. Мост надо достроить. А ваши люди могли бы охранять нас от озверевших от голода немцев, шастающих по вашим лесам.

Постояв в нерешительности, он вдруг рванул на себя дверь, крикнув мне:

— Постараемся!

Бородач слово свое сдержал. Неделю без малого не давал он фрицам носу казать из леса, но и потребовал за охрану «объекта» 10 бочек пива в день. Пиво свое они получали от меня лично и без задержек: пивзавод в Замостье был в наших руках. Сделав свое дело, «лондонские ребята» как сквозь землю провалились. Я так и не спросил бородачу, как его зовут. Просто двое встретились и поговорили по душам. Я, разумеется, доложил по службе, что и как было. Правительство Люблина охранять нас от немцев прислало специальные отряды народной милиции. Им же было вмене-

но вербовать на работы по восстановлению дороги крестьян и рабочих из окрестных мест.

По большому счету нам повезло: взрывая пути, немцы закладывали взрывчатку с внутренней стороны. Заложи они заряд с внешней, рельсы использовать в дальнейшем нельзя было бы. Для выпрямления рельсов с дефектом пришлось придумать «рельсовыпрямитель». Негде было взять и легкий инструмент для производства работ. Немцы забрали все с собой. Смекалка помогла нам и тут: по всей трассе заработали сорок кузниц.

28 августа все трудности остались позади. В строй вернулось 168 километров пути и 17 километров вспомогательных станционных. Первый поезд из Равы-Русской в Замостье пошел 31 августа в 10 утра. Состав нес на себе флаги СССР и Народной Польши: эмблему нового правительства. Состоялся митинг, на котором немало добрых слов обращено было к нам, строителям. И вполне заслуженно, потому что за 26 дней выполнили мы объем работ, исчисляемый в 2500 кубометров земляных и 1000 кубометров работ по камню. Нашими трудами восемь станций получили нормальное водоснабжение, мы проложили 420 километров линий связи, возвели 8 платформ под военные грузы, вернули жизнь 9 большим и 18 малым мостам. И проделали это под непрерывающимся обстрелом. Командование и правительство Народной Польши по достоинству оценили усилия железнодорожных войск и строителей. Самоотверженный труд удостоен был высоких наград. Пришлось и мне сделать дырочку на мундире — под орден Отечественной войны II степени. Не оставило без внимания мои старания и правительство Польской Республики, правда, спустя 24 года после описываемых событий. В 1968 году из рук посланника Польши в СССР я получил одну из высочайших наград — золотой Офицерский крест ордена Возрождения Польши, дающий на территории Польши 25-процентную надбавку к пенсии и ряд льгот — вплоть до седьмого колена. А до того за заслуги в освобождении Западной Украины и приграничных с Польшей земель командованием я был представлен к ордену Боевого Красного Знамени.

Дмитрий Шеваров

Виноград

Фронтовая элегия в монологах и письмах

...— По Грозному у нас тоска. Только о нем и разговор — Грозный, да Грозный. В Рязани весна — снег да слякоть, а в Грозном весна — рай Божий. Вчера мне приснился наш сад...

Владимир Пивоваров родился в Грозном, в казачьей семье, жившей на Старых Промыслах. Отец прошел Первую мировую и гражданскую. Был директором комвуза. В 1936 году, предчувствуя арест, отправил 13-летнего сына к брату в Астрахань. Погиб на Колыме.

В 1941 году Володя был студентом, учился на кораблестроителя в Ленинграде. В июле вместе с однокурсниками работал на строительстве дзотов под Выборгом, Псковом, Новгородом. Потом пять месяцев артиллерийского училища и — на фронт. После войны вернулся в Грозный. Защитил диссертацию, много лет преподавал в нефтяном институте сопротивление материалов.

— В 1959 году нам дали шесть соток на Карпинском кургане, от трамвая минут пятнадцать ходьбы. Там было пусто, целина. Как хороший дождь пройдет, всю землю с кургана смывало. Но через несколько лет у нас росли и персики, и абрикосы, и кизил, и черешни, айва... Теперь нас, грозненцев, кто жив остался, разбросало по стране. Кто в Краснодаре, кто в Ставрополе, в Астрахани... Нас с женой дети вывезли в Рязань еще в 1992 году, заказали контейнер и собрали почти силком. Не хотели мы уезжать. Дети звонят, волнуются, а мы говорим: «Нормально». Не рассказывать же им, что ночью где-то рядом стреляли. Мы народ обстрелянный, привыкли.

Сталинградские братья

...— 29 сентября сорок второго мы переправились на правый берег Волги. Осень, но я как-то не видел ее. Вокруг одно железо и обломки кирпичей. Иногда мне вспоминались лошади, оставшиеся на левом берегу. Я же с ними всю войну. Батареи у нас были на конной тяге. Когда мы в феврале вернулись на левый берег, на них больно смотреть было. Сено кончилось, их кормили ветками. Чтобы лошадь не упала, ее надо было поддерживать.

Наша 39-я стрелковая дивизия обороняла завод «Красный Октябрь» и полосу Банного оврага. Меня назначили начальником разведки 1-го дивизиона 87-го артполка. Мне было двадцать лет. Командиры батарей, солдаты-разведчики и связисты — все мои ровесники, а то и моложе. Как мы выстояли?... До сих пор об этом думаю и не нахожу ответа. Если посмотреть на карту боевых действий, то и сейчас страшно делается. В середине ноября наши удерживали из всего города только два-три пятка: район Тракторного, склон Мамаева кургана с участком по берегу Волги и завод «Красный Октябрь».

Второго или третьего ноября немцы ворвались в наш мартеновский цех. Что тут было!.. Я даже не смогу сейчас толком об этом рассказать. Одно помню: если хочешь жить, то стреляй, пока можешь.

Награждали там мало кого. Ребята говорили, что у штабных сгорел блиндаж с наградами. Потом получили «За оборону Сталинграда», да и то не все, кто там был.

* * *

Много лет спустя Владимир Пивоваров получил письмо от своего фронтового друга Ивана Ефросинина. Крестьянский парнишка, ослепший в детстве на правый глаз, в Сталинграде командовал огневым взводом, а потом батареей разведкой! Был трижды ранен, но дошел до Берлина. После войны Иван Антонович стал учителем, преподавал биологию, географию, химию и немецкий язык в Пустынской 8-й школе (поселок Петровка Красноармейского района Донецкой области). Друзья нашли друг друга в конце 1960-х, встретились в Волгограде. Но спустя несколько лет переписка вдруг оборвалась, и Пивоваров до сих пор не знает, что случилось с Иваном — переехал, заболел, потерял адрес?..

В этих письмах нет ничего исключительного. И, кажется, к истории Великой Отечественной они ничего не добавляют. Но в этих весточках есть то, чего не найти в самых хороших учебниках и в самых полных энциклопедиях: *воздух* фронтового братства. Когда люди, вернувшиеся с того света, говорят до утра и не могут наговориться.

Впечатление от такой переписки можно сравнить лишь с фильмом «Белорусский вокзал», с детства запавшим в сердце.

Командир огневого взвода Иван Ефросинин — Владимиру Пивоварову, 11 ноября 1968 года:

«Володя! Да ты ли это, голубчик? Ты ли это? Живой? Жив? Поверь, никогда не думал и не гадал, что останусь живым и я, и что вот так неожиданно, внезапно встретимся, свидимся.

Читаю весточку — первую ласточку и рассматриваю фотки, а сам плачу: слезы сами неудержимо катятся из глаз. Это и слезы радости за нашу встречу, и слезы безутешного горя и скорби о погибших друзьях.

Никакие годы и десятилетия не в состоянии сгладить в памяти все пережитое, выстраданное. Вот и сейчас 1968 год, ноябрь. Осень. Поздний вечер. За темным окном густой пронизывающий туман. А я, оправившись после сильных волнений, сижу за письменным столом перед листом совершенно чистой бумаги, погружившись в глубокое раздумье, всецело предаясь воспоминаниям. Воспоминания... Уходят они далеко, очень далеко, в то тревожное прошлое.

А какая золотая была летняя пора! Мирное небо. Ясное солнце. И вдруг — тревога. Война. С четвертого курса техникума я попал в артучилище в Красноярск. А оттуда в середине апреля 1942-го — на Южный фронт. Потом с боями отходили от Луганска до Сталинграда. 14 августа с группой товарищей (Лашин Сергей, Писаренко, Савенко Дмитрий, Серебряков) был направлен в 39-ю под Паншино. Потом Солдатская балка и снова Сталинград. До декабря — огневые позиции на левом берегу. Декабрь–январь — на прямой наводке в «Красном Октябре».

Ты, кажется, сменил на посту начальника разведки Д.Савенко? Безусловно, на «Красном Октябре» вам было очень тяжело в октябре и ноябре. Приходилось ли тебе слушать команды по радио? Кошмар. Нам попадало от авиации и тяжелой артиллерии. На одной огневой самолеты перепалили позиции. Потери были ужасные. Сменили ОП (огневую позицию. — *Д.Ш.*). Попали под звуковую засечку. Гад накрыл в сумерках, предполагал, видимо, что все ужинают. По счастливой случайности был тяжело контужен только один часовой и выведена из строя одна гаубица. А выпустил где-то до полусотни снарядов.

А счастливой случайностью оказалось то, что пристрелку с новой ОП мы вели самым левым орудием (правое, то есть первое, вышло из строя еще ранее). И вот фрицаки приняли четвертое орудие за первое и огонь свой сместили немного в сторону. Посмотрели мы утром — черное место и воронки в поле. А батарея жива.

На «Красном Октябре» в январе погиб командир батареи Латышев, погиб Серебряков, без вести пропал Писаренко. Помнишь?

А потом Тутово — Солянка и Кунинск. Меня перевели в управление батареи.

Здесь я с тобой познакомился ближе. Помнишь, Володя, как парубковать в Маховку ходили? Мне помнится, как под балалайку танцевал ты.

Вот не могу вспомнить комбатов 1-й и 2-й в Кунинске. Помоги.

Да, я с Ударцевым Василием ходил на вечерки (тайком) и в Олировку.

А когда перебазировались под Святогорск, я получил приказ на командира разведки штабной батареи. Командир полка был Нейман. И 30 июля 1943-го на НП командира дивизиона Ионова был ранен; до 25 октября — госпиталь. Вас догнал аж на Днепре. Ты уже был комбатом. Помню, как вечером привели меня Лошкарев Петр и Сабиров¹ к тебе в дом, а у меня с утра и крошки во рту не было. Ты по-братски встретил меня, обогрел и накормил.

Да, Володя! Будучи раненым, на один день я попал в Купянск и в сквере, в центре города, встретил девушек с Маховки. Это было уже перед вечером. Они расспрашивали обо всех ребятах. А утром на второй день обещали принести мне помидорчиков, огурчиков. Да только ночью нас эвакуировали.

А впереди были: Марьевка, Иверская, Колтебы, Ростанья. Помнишь? А Лошкаревский мост и как мы напоролись на боевое охранение ночью? А история с трофейной пушкой на Новополтавке? А окружение в Баштанке?

Ингулец, Южный Буг... Там Михаил Алексенко² писал историю о пушке. Одесса — Овидиополь...

И я тебя потерял. На Кишиневском плацдарме командиром 1-й был Беккер. Ты его хорошо знаешь. При отражении яростной контратаки танков и автоматчиков 1-я батарея была разбита, все пушки выведены из строя, многие батарейцы погибли и многие были ранены. Беккер был тяжело ранен, ему оторвало ногу. Дальнейшая судьба его мне неизвестна.

Со временем 1-й Белорусский фронт — прорыв под Ковелем — Висловский плацдарм — Одерский плацдарм — Берлин. Второе увечье получил на Висловском плацдарме, третье (легкое) — в Познани от фауста. В Берлине изрядно оглушило на прямой наводке. Все прошло, как с белых яблонь дым...

Демобилизовался и прибыл домой 21 января 1947 года. Женат с 1947 г. Три дочери, почти все взрослые. Самая старшая Люда — студентка III курса Донецкого университета (филфак); средняя Нелля — окончила педучилище и уехала работать в Сурхандарьинскую область, Ширабадский район, недалеко от Термеза; младшая Рая — ученица 10-го класса.

Заочно я окончил еще учительский институт и Мелитопольский педагогический (биофак). Преподаю в школе. Жена работает в начальных классах.

Случилось так, что в 1946 году образовалась артбригада с гаубичным полком, и наша батарея попала в другую часть. Со временем я снова возвратился в свой полк, но многие друзья-однополчане к тому времени уже демобилизовались, и я остался без адресов. Так на протяжении 25 лет и не имел переписки с однополчанами.

Когда же сообщили из музея о встрече, я поднялся на седьмое небо. Все время с марта по 23 сентября только и жил встречей. Постоянно думал и думал о том, кого же я встречу. И узнаю ли кого-либо. Мгновенье. Чрезмерное волнение... И перед взором — дорогие сердцу однополчане: солидные, убеленные сединами, сугубо гражданские. Но бесконечно дорогие, родненькие, близкие. Неизмеримая радость, предельное человеческое счастье. Настоящее счастье.

Это настоящие люди. Настоящие друзья. У каждого огромное сердце, способное вместить все человеческое горе и всю радость.

Володя! Голубчик! Братишка! Пиши о себе. Пиши как можно подробнее, буду от души благодарен. Кого помнишь из своих батарейцев? Припомни, кто был у тебя командиром взвода управления?

Из командиров орудий 3-й батареи никто не дожил до светлого Дня Победы. Командир 1-я орудия (фамилию забыл) погиб в Сталинграде при бомбежке батареи.

¹ Лошкарев Петр — командир отделения разведки в 1-й батарее 1-го дивизиона 87-го гвардейского арtpолка 39-й гвардейской стрелковой дивизии. Сабиров — разведчик того же отделения.

² Алексенко Михаил — командир огневого взвода в 1-й батарее.

Командир 2-го орудия — Талеров Николай Григорьевич — погиб 12 января 1945 года на Висловском плацдарме во время артналета.

Командир 4-го орудия — Кокорин Прокофий Исаакович — погиб 14 января 1945 года, так же от артналета, буквально за две минуты до начала нашей артподготовки.

Командир 3-го орудия — Пацев Илья Иванович — погиб 28 апреля 1945 года в центре Берлина. Он был смертельно ранен в область сердца осколком танкового снаряда.

А помнишь Бруклича Борю¹? После окончания войны наши квартиры были по соседству, и мы крепко дружили.

Много, много есть еще о чем писать. Да об этом речь пойдет во втором письме.

Будьте счастливы, дорогие мои друзья!

Володя! Крепко-крепко обнимаю тебя.

Милым деткам — отличных успехов во второй четверти!

Ваш И.Ефросинин».

Рассказывает Николай Владимирович Попов, в Сталинграде — старший фельдшер, комсорг медсанбата 39-й гвардейской дивизии:

— Володя Пивоваров был на правом берегу Волги, а я больше на левом. Там, у самой воды, мне землянку сделали для приема раненых, чтобы они ждали, когда их вывезут в медсанбат, на хутор. Ведь для вывозки очень редко была возможность. С командиром медицинской роты Борисом Старковым мы как-то приехали за ранеными, а не можем до берега добраться. Немцы бомбят с утра до вечера. Появляется иногда пара наших самолетиков, потрещат-потрещат, уходят. Старков, мощный сибиряк, кроет их прямо в небо: «Так вас и так! Чего вы там бороздите попусту, лучше бы нам горючку отдали — раненых вывозить...»

Сталинградские сестры

Владимир Пивоваров:

— Только мы выбили немцев из цеха — и что вы думаете? Дня через два приказ: переправиться на левый берег ...в баню! С момента высадки в сентябре на правый берег мы не только забыли слово «баня», но и толком-то не умывались. Поплюешь на палец, протрешь слюной глаза — и все дела. Про вшей и вспоминать не хочется. Но вот вечером добрались до берега, где причал. Нас человек пятнадцать ребят — все, что осталось от нашего дивизиона. Да еще сестрички наши — Капа и Маша... Сидим мы в каких-то ровиках. Немец методично бьет из артиллерии. Подходит военный катер. Сначала грузят раненых. Солдаты-санитары бегают с носилками. Раненых сваливают на палубу, как дрова. Тут разрыв снаряда на причале — и нет ни санитаров с носилками, ни раненых. Все в воде. На эту картину жутко было смотреть. Тогда я подумал: лучше пусть меня убьет, чем ранит.

Дали свисток — это нам. Бегом, цепочкой погрузились на катер. До левого берега добрались благополучно. На батарее затопили походные кухни, и нас стали отмывать конскими щетками. На открытом воздухе, в ноябре! Потом по сто грамм, чтобы не простудились. Ну, а девочки, конечно, где-то в сарайчике мылись... Когда мы катера-то ждали, Капа говорит: «Мальчики, а у меня день рождения сегодня — восемнадцать лет!»

Медсестра 1-го дивизиона 87-го гвардейского арtpолка Капитолина (Капа) Николаевна Бродягина — В.Т.Пивоварову. Из Кыштыма в Рязань, осень 2004 года:

«Володя, большое спасибо тебе за память тех боевых лет, которые пришлось пережить нам. Как Вы поживаете? Я 19 октября отметила свое совершеннолетие. В Сталинграде мне исполнилось 18 лет, сейчас — 80. Да, Володя, нас осталось очень мало. Я вот считаю: из полка, что формировался на Урале, — я, Маша, ты и все. Ну,

¹ Бруклич Борис Моисеевич — начальник связи полка.

потом прибыл Коля Попов¹. Он иногда поздравляет меня, даже в этот раз поздравил. Целую. Капа».

Николай Попов:

— Еще под Москвой к нам трех медсестер прислали, трех девочек из 268-й московской школы. Худенькие, маленькие. Нина Журавлева, Кира Гусакова, Валя Забродина. Только мы прибыли в Сталинград, стали разгружаться, тут налетели самолеты, бомбанули и погибла Кира. Валя и Нина жили в одной землянке. Вместо двери — два слоя палаток. Выхаживали раненых. Нина потом дошла до Берлина, а Валя... Мы все ее очень любили — и раненые, и врачи. У нее были необыкновенные способности актрисы, прекрасно читала, красавица черноглазая. И все рвалась на передовую, на правый берег. Не могли ее уговорить остаться, ушла. Была в 117-м полку, в Банном овраге. В периоды кратковременного затишья она там тоже стихи читала, пела, ее взяли в дивизионный ансамбль. Потом, когда уже шли по Украине, она попала в 87-й артполк, там, где был и Володя Пивоваров. Погибла во время бомбежки...

Владимир Пивоваров:

— Так до сих пор и не знаю, кто из девчат меня под Одессой раненого вынес — Капа, Маша, Валя?.. Бой в селе шел, и меня они тащили на плащ-палатке под огнем через плетни, огороды. Я-то был без сознания. Пуля по голове стукнула (смеется как мальчишка. — *Д.Ш.*). Касательное ранение, миллиметра два бы еще и — привет. Это было под утро 6 апреля 1944 года. Немцы отступали на Одессу, а нам был приказ перерезать дорогу. Пехота пошла, а наш расчет оставили в деревне — надо будем, позовем. И вот немцы поняли, что их отрезают, пошли в деревню под прикрытием минометов. У меня сразу ранило наводчика и заряжающего, я уже сам и заряжал, и наводил. И вот наклонился, чтобы поднять очередной снаряд, и в это время пуля ударила, шапку сбила, кровь хлынула. Кто-то сказал: «Комбата убило!» Ну, я-то этого не помню, ребята потом говорили. Через какое-то время очнулся, лежу у орудия, бой еще идет; вспомнил, что перевязочный пакет у меня в сапоге и крикнул: «В сапоге, в сапоге!..» Ребята подумали, что я в ногу ранен, но потом сообразили, перевязали, а девчата потащили меня в санбат, но кто именно — не понял, опять потерял сознание...

Фельдшер Мария Статных (Безбородова), письмо из Кургана от 22 апреля 2003 года:

«Владимир! Нет таких слов благодарности, чтобы выразить мое сердце. Фото, что ты послал, я ждала с нетерпением. Я увидела, что вы стоите на Мамаевом кургане. У меня родился третий правнук. Несмотря ни на что, жизнь продолжается в наших детях, внуках, дай Бог им здоровья и счастья! Меня возили на праздник, осталось нас 78 человек по области. Сфотографировали. Дали концерт и чаепитие. Потом еще по тысяче рублей. Я рада и этому, ведь живу одна, дети бывают редко. Крепко обнимаю вас...»

Владимир Пивоваров:

...— Недели две мы отсыпались, встретили октябрьские праздники, а 19 ноября — в обратный путь. Пришли в затон, где базировались военные катера. Дело было под вечер, солдат собралось тьма-тьмущая. Говорят, что мест на катерах нет. Командир дивизиона Иванов каким-то чудом — а может, у него был особый мандат, не знаю — добился, чтобы нас посадили. Катер перегружен. Мне досталось место у носового башенного орудия по левому борту. Команда была «оставаться на месте при любых обстоятельствах», иначе катер перевернется. Отчалили ночью. По Волге плыл лед. Катер медленно протискивался между огромными льдинами. За нами шли в кильватерном строю еще несколько катеров. Мне хорошо было видно, как немцы на правом

¹ Коля Попов — Попов Николай Владимирович, начальник медсанбата дивизии.

берегу запускают осветительные ракеты. Иногда до нас долетала очередь из пулеметов или рядом рвались снаряды. Плыли долго. Наконец прибыли на переправу под названием «62-А».

Вот мы и в родном мартеновском цехе. Тут мы узнали об успешном наступлении наших войск под Сталинградом. Вскоре и мы, получив пополнение, начали наступать. Когда Волга встала, пушки перетасили на правый берег. Медленно, шаг за шагом, мы освобождали территорию рабочего поселка завода «Красный Октябрь». На то, чтобы продвинуться на два километра по Карусельной улице к высоте 107,5, ушло два месяца!

Мародеры

В те дни, когда Владимир Титович навсегда покидал родной Грозный, в Министерстве обороны списывали в архив документы дивизии, в составе которой гвардии старший лейтенант Пивоваров защищал Сталинград. Одним небрежным взмахом начальственного пера в 1991 году оборвалась история 39-й Барвенковской гвардейской ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии.

Из 177 стрелковых дивизий, воевавших на фронтах Великой Отечественной, было всего восемь пятиорденоносных. Барвенковская дивизия воевала с первого до последнего часа войны. Первый из орденов Боевого Красного Знамени дивизия получила за четырехмесячную оборону мартеновского цеха «Красного Октября». Тогда ею командовал генерал Степан Гурьев. После Сталинградской битвы бойцы 39-й дивизии освобождали Запорожье и Одессу, Молдавию и Польшу, а 27 апреля 1945 года водрузили советский флаг над Берлинской ратушей.

После Сталинграда ненависть немцев к гурьевцам и чуйковцам была так велика, что в 1943 году гитлеровцы бросили против них дивизию, названную «6-й мстительной» и нацеленную именно на те наши части, что не отдали врагу Сталинград. Барвенковская дивизия и после 1945 года оставалась на передовой — сорок шесть послевоенных лет она входила в состав Группы советских войск в Германии.

То, что не удалось фашистам на поле боя, легко провернули наши горе-правители в ходе закулисных сделок с западными «партнерами». Дивизию спешно расформировали, штабы и имущество вывезли на Украину, под Белую Церковь, и, как говорят ветераны, — «раздраконили». Неразбериха при выводе войск была такая, что бесследно исчезли все экспонаты дивизионного музея.

Орден

Владимир Пивоваров:

— В канун 1945 года меня и еще несколько офицеров командировали в артиллерийские части югославской армии. Югославия только получила новенькие 76-миллиметровые пушки. С участием нашего военного атташе в Белграде нас распределили по партизанским частям. В помощь дали переводчиков. У меня был молодой паренек, сын эмигранта первой волны. Он достал мне грамматику сербского языка, которая была издана в 1918 году. Я был один русский во всем югославском полку. Вскоре я читал, писал и, что удивительно, думал по-сербски. Сербь часто говорили: «Русија мајка наша» — Россия — мать наша. Я с ними прошел Сербию, часть Хорватии, а когда мы готовились к наступлению на Загреб, ночью слышали по радио Би-би-си: подписана капитуляция Германии. Я сделал запись в своей записной книжке: «Конец войны!!! 9 мая в 0.15 в селе Дуго-село в Югославии».

Наутро немцы оставили Загреб без боя. Но мы еще с неделю воевали с другими немцами, которые уходили с Балкан. Если часть находилась на отдыхе, получала пополнение, то для бойцов устраивались вечера самодеятельности. Мне очень нра-

вилось танцевать сербский танец «Коло». Все становились в круг, брались за руки, впереди ведущий, который вел хоровод.

Были встречи с нашими эмигрантами. Каждый хотел услышать о своем родном уголке. В беседах чувствовалась боль и тоска по Родине. Мы отвечали, во что сами верили: у нас хорошо, молодым везде дорога, старикам почет, свободно дышит человек...

Вспоминает Розалия Николаевна Цирлина:

— Летом сорок шестого я приехала в Грозный на каникулы и пошла с девчонками на танцплощадку в парке им. Кирова, на Треке — так в Грозном называли этот парк. Там мы и познакомились с Володей Пивоваровым. Он танцевал с нами поочередно... Нет, немыслимо было нам удержаться от чувства превосходства под взглядами окружающих девчонок. Ведь с нами офицер, лейтенант — грудь в орденах! Вскоре он уехал в Ленинград, а когда через несколько лет вернулся, то женился на моей подружке Белочке Беловидовой. Когда подросли дети, мы все отпуска проводили вместе. Нальчик, Пятигорск, Баксанское ущелье, Теберда, Домбай, Клухорский перевал, Сухуми, Вентспилс — вот наши маршруты с палатками, кострами, песнями и Володиной лезгинкой. Он исполнял ее даже в автобусе, на ходу...

Владимир Пивоваров:

— Меня наградили югославским орденом «Партизанская Звезда» 3-й степени. После того как Сталин разругался с Тито, меня вызвали в военкомат. Тогда, в 1950 году, я был студентом Ленинградского кораблестроительного института. В военкомате начальник отдела спросил меня, не жжет ли мою грудь фашистский орден? Что мне оставалось? Я «добровольно» сдал его. Жаль ордена. Такой симпатичный, напоминает нашу «Красную Звезду»...

Встреча

Последние годы ветераны 39-й Гвардейской встречаются в мае в подмосковном Реутове, где в начале войны формировалась дивизия. В приглашении местные власти пишут: «Расходы, связанные с проездом сюда и обратно — за Ваш счет...» Но на эту строчку никто не сердается. Все понимают, что стране трудно. Главное, чтобы хватило здоровья добраться до Москвы.

Из письма санинструктора 1-го дивизиона Капитолины Бродягиной:

«...Володя! Хочется дожить до Дня Победы. Не знаю, как получится. Маша пишет, что с трудом двигается по квартире. Больше ни с кем не переписываюсь. Ну, всего доброго тебе, фронтовой друг. Ты даже вспомнил, как меня звали в полку — «гвардии Капа». А теперь уже — баба Капа...»

Владимир Пивоваров:

...— Как мы переехали в Рязань, купили в деревне домик. И я решил: посажу такой же сад, как в Грозном: орехи, яблони, черешни, виноград, абрикос... Привез саженцы из Москвы, у меня там внук учится в Суриковском институте. Теперь растет и плодоносит девять сортов винограда. Приходят соседи, удивляются: у вас как в оранжерее. Я им тоже раздал виноград. Хожу теперь по деревне, консультирую. Еще посадил белую акацию — символ Грозного, в прошлый год первый раз цвела — пока лишь три веточки...

Владимир Титович мечтательно смотрит в окно:

— Завтра поеду в деревню открывать виноград. Он у меня под соломой зимует... Может, и ежик наш проснулся. Он у нас летом жил у компостной ямы, под кустом шиповника. Дочь с внуком по вечерам с фонариком ходили его проведать, да какое-нибудь лакомство ему отнести. И ежу радость, и нам.

Галя-Анна

После заметки в центральной газете о судьбе комбата Пивоварова произошло нечто чудесное: Владимир Титович получил письмо от дочери хозяйки той хаты, куда он был определен на постой в начале января 1942 года! Владимир Титович ей тут же ответил. С любезного разрешения авторов привожу оба эти письма. За их строчками открывается целый мир замечательных русских людей, не растерявших за долгую жизнь Веры, Надежды, Любви.

«Уважаемый Владимир Титович!

Поздравляю тебя с наступающим Днем Победы — 60 лет. Поздравляю тебя, что ты остался жив и здоров в **Великоотечественную** войну! Поздравляю с тем, что ты принес для молодежи ума и добра. Владимир, как это можно назвать: событие или что-то другое, которое меня тронуло до глубины души. Ведь прошло 63 года, и вдруг читаю строчки про тебя в газете! А теперь вспомни: передовая линия фронта, село Базалеевка на Харьковщине, вы пришли в наш дом, мальчишки лет 19 в звании лейтенантов. Второго ты называл Зямка. Вы уходили где-то и приходили, а потом, наверное, уходили совсем. Ты попросил мой адрес, сказал: «Буду жив — напишу». Через некоторое время я получила письмо. Много ты не расписывал: жив, здоров. Потом второе письмо было с госпиталя, написано было четыре строчки, я эти строчки до сего времени помню. На этом переписка закончилась.

Жизнь прожить — не поле перейти. Мне 31 марта 79, а тебе, я так думаю, — за восемьдесят. Если не ошибаюсь — 82 или 83. Я в войну очень много пережила: страх, и голод, и холод, и непосильный детский труд.

Владимир, если это ты или нет, напиши ответ. Желаю тебе крепкого здоровья и сил. Моя девичья фамилия Пака Галина Тимофеевна. А теперь я Мальцева Анна Тимофеевна, всю жизнь я Галя, а по свидетельству о рождении Анна.

Село Новая Таволжанка,
Щебекинский район,
Белгородская область».

«Здравствуй, дорогая Галя!

Да, это я! Когда я увидел, что конверт из военкомата, то здорово удивился — все-таки я уже вышел из призывного возраста. А в конверте оказалось твое письмо! Как хорошо, что ты додумалась искать меня через военкомат. Господи, это же надо, через 63 года! Такое может быть только в кино.

Твои строчки воскресили в памяти январь 42-го. Тогда я сразу после училища прибыл служить на батарею, она стояла на окраине села Базалиевка. Старшина определил меня с товарищем жить в вашем доме.

У нас были две пушки времен гражданской войны на деревянных колесах. На стволе одной пушки была заплатка. По инструкции из нее можно было стрелять только находясь в ровике и дергая за шнур. Конечно, никто этого не делал.

Я был назначен командиром взвода управления и занял наблюдательный пункт на чердаке школы, которая стояла на возвышенности. Рядом со школой помню огромную ветряную мельницу.

В середине января немцы пошли в наступление, я открыл огонь. Это была первая в моей жизни боевая стрельба. Немцы ушли в Печенеги. Я выпустил тогда двадцать пять снарядов. Вечером приехал командир дивизиона: «Кто стрелял?» Отвечаю, что я стрелял. Тут он устроил мне такой разнос за расход снарядов! Я имел право только на два наряда в день и не больше.

23 февраля наши пошли в наступление на Харьков. Нам приказали отвлекать внимание немцев. Помню, как под утро пехота блуждала по переднему краю в камышах. Роты не могли определить свои участки. А когда на рассвете пошли в атаку, то немец встретил нас шквальным огнем. Все залегли. Вышло солнце, снег стал таять и в ледяной луже под огнем мы пролежали весь день. Вечером поступил приказ отойти.

От ледяной «процедуры» у меня пошли фурункулы, помнишь, твоя мама лечила меня народными средствами?

Наступила весна, оттепель, а я в валенках — смех и грех! Сапоги у меня были в ремонте на старой батарее, за семь верст. Дали мне лошадь, а я толком и не знал, как на нее сесть, да с какой стороны. И все это у солдат на виду. Стал вспоминать фильм про Чапаева. Все-таки сел и сапоги привез вовремя — началось наступление немцев. Несколько раз поселки переходили из рук в руки. Силы были не равные. Мы с боями начали отступать. Тыловые части давно сбежали, снабжения нет. Мы голодные, на гимнастерках на солнце блестит соленый пот, как рыба чешуя. Когда проходили деревни, то женщины стояли вдоль дороги и каждая нам протягивала что имела — лепешку, вареную картошку, хлебушка... Но как горько было слышать: «Сынки, на кого вы нас оставляете?..» Сердце сжималось, но что мы могли сделать?

За Доном остатки нашей батареи расформировали, а меня направили под Сталинград начальником разведки дивизиона. Потом освобождал Украину, был ранен. Встретил Победу под Загребом, служил в Болгарии, летом 46-го демобилизовался. Поехал в Ленинград, восстановился в институте. В 1953-м женился на землячке из Грозного. Жена у меня замечательная, добрая и заботливая, зовут ее Бела. Много мы с ней скитались по чужим углам в Питере, пришлось вернуться в Грозный. Преподавал в нефтяном институте. У нас двое детей, да еще три внука и внучка — замечательные ребята, ласковые и предупредительные.

Когда обстановка в Грозном стала опасной, дети увезли нас из Грозного. Живем теперь в Рязани. Конечно, скучаем по грозненскому солнцу и теплу. Душу отводим в деревне под Рязанью, где у нас растет виноград, абрикос, черешня, всего вдоволь. Приезжай в гости!

Да, мне уже 83, но я как-то не думаю об этом. Всего тебе доброго! Обнимаем, целуем — Володя, Бела.

Рязань, май 2005 г.»

* * *

Недавно в Рязани вышла книжка. В ней всего 24 страницы. Она называется: «Практические рекомендации по выращиванию винограда в Нечерноземье». Автор — В.Т.Пивоваров.

«Распускание почек и рост побегов — с 10 мая...»

Ксения Перепелица

Прохоровка

Это было в позапрошлом году. Наш коменданте удивил всю команду, сказав, что осенью едем в Прохоровку, близ которой состоялась одна из решающих битв Великой Отечественной, переломившая ее ход.

Мало сказать, что известие не вызвало у нас восторга. Возмущению нашему не было предела (возмущались шепотом, потому что норы у коменданте — адский). Дело в том, что рядом с Прохоровкой не копал лишь ленивый. Раскопки велись не только «по русским», но и «по немцам», и мародерствовали там раз в тысячу больше, чем в других местах... Сергеич, конечно, сначала строил безучастную мину, но наконец не вытерпел и успокоил народ: осталось местечко интересное и нетронутое — недалеко от села...

И мне представилось... Осень. Редкие холодные капли дождя срывают блекло-желтые оставшиеся листья с ветвей, кружа их в мерной пляске. Они падают на землю, на мягкую болотную топь. Тонкая, туманная ниточка-тропка вьется по ней, исчезая за тощими кустами.

И зовет... И манит...

— Говоришь, много народу там полегло? — спросил кто-то из наших.

— Там такая резня была! — сказал Сергеич, коменданте. — Сплошь воронки да «блины» разбитые. Ступить некуда. Да и копали в том месте всего единожды.

— В каком виде останки?

— Так себе... Но хабара много, только смотри.

Большую половину дня мы провели в дороге, растрясая городскую суету, прихваченную с собой по инерции, в еще вполне стойком «уазике», пробираясь по только одним нам известным тропкам, разбрызгивая машинным пузом лужи на разбитой дороге. Разухабистое, в чудовищных рытвинах подобие дороги изматывало душу, и многие сдавались и шли рядом с машиной, утопая в унавоженной грязи как в крепкой сметане, предпочитая скользкую грязь чудовищной тряске.

У Сергея Сергеича (нашего коменданте) за плечами — солидный опыт поисковика, а четыре года назад он создал свою, пусть и небольшую группу. Дни напролет он просиживает в архивах, до чертиков обожает всякие военные вещи и разъезжает по городу на старенькой «Яве» в немецкой каске, которую нашел, едва зачислившись в первый свой поисковый отряд. Достаточно одного взгляда на этого человека, чтобы понять, каков он в действительности.

Грубоватое скуластое лицо выдает в нем натуру жесткую, если не сказать — жестокую. Густые черные, сложенные посередине брови нависают над странными, цвета ртути глазами, в которых льдинкой застыла сеточка. Редко кто решается подолгу смотреть в них, а если таковое случается, то хочется непременно сознаться, что варенье съел — ты.

В пути по уже сложившейся привычке я сидела в кабине рядом с ним, придерживая ногой приборы, обмотанные защитного цвета тряпицами, и внимательно слушала очередной рассказ из его жизни.

— Мне было лет семь — неполных восемь, когда мой отец погиб.

— Как?

— Мина, полевая мина, черт ее дери. Тогда всякого добра в земле лежало немерено, одних только касок было — что грибов после дождя. Мать долго скрывала, чем отец занимался... Я так, случаем дознался.

Я молчала, боясь хоть полусловом задеть наболевшее, ждала, затаив дыхание, догадываясь о том, что услышу.

— Папаша-то мой был хват. В своем отряде в первых ходил. Отряд-то небольшой, аккурат больше, чем нас, вдвое, хм-м... Пошел раз без миноискателя окоп проверять, увидел на дне «верховых»¹, да и спрыгнул вниз, на настил из чурок, а там... Окоп разворотило, сама понимаешь, кости врассыпную. По частям собирали.

— То есть как?! — я даже поперхнулась.

— Как? — будто издеваясь над собой, хмыкнул Серега. — Так... Которые кости свежие, на которых мяско стынет — то и был мой папаня.

Сергеич посмотрел на меня, на секунду отвлекшись от дороги. Машину при этом изрядно трянуло.

— Что с тобой? Зеленая вся... Ты хоть ела сегодня?

— Да-а...

— Эй!!! — сразу несколько кулаков застучало в стену кабины. — Не дрова везешь!

— Что погрузили, то и везу, — огрызнулся коменданте, но добавил громче: — Немного осталось, терпите уж.

Я вернула его к разговору:

— Ну а ты... тебе... никогда не приходилось?

— Нет, никогда! — жестко рубанул он. — По вещам я никогда не копал.

И снова тишина, и время поразмыслить об услышанном, и тут между надвигавшихся со всех сторон деревьев показался поселок.

«Артищево» — увидела я старую, заляпанную грязью прямоугольную табличку на развилке перед относительно ровной дорогой, которая вела в сторону приземистых сине-зелено-серых домов с грустными окнами.

Поселок, казалось, спал, и было как-то тоскливо на душе при виде его убожества. Огромное поле словно сжимало село со всех сторон темными клещами. Покрытое рытвинами и небольшими курганчиками, оно было похоже на старое кладбище.

Проехав сквозь поселок, мы остановились у кромки леса и стали обживать.

Завертелось: Славко и Мишка выгружали вещи, Наташка занялась посудой, а Толик с Сашкой отправились за дровами.

Лес дышал и засыпал. То тут, то там влажно блестели желто-коричневые листья, казавшиеся старинными монетами, рассыпанными по земле рукой безумного богача. Временами с серого неба, из драных тучек начинал моросить дождь. Это уже не причиняло нам неудобств, поскольку все давно сидели под сноровисто установленным тентом возле костра, над которым пускал пар полный до краев котелок. Толик нырнул в установленную только что палатку и вскоре вынырнул с парой бутылок клюквенной настойки. Место за столом моментально нашлось и для Толика, и для горькой. Лес молчал, поле шурилось на нас бельмами густого тумана, не выражая ничего. Пахло сыростью, грибами, клюковкой; приятно щекотали обоняние горящие чурбачки.

Сергеич встал.

— Ну что ж, выпьем! За нашу работу! За нашу нужную работу!

Семь железных кружек поднялись как одна.

Всех нас объединяла принадлежность к одному отряду (мы вот уже четыре года как вместе), а еще фанатизм, преданность нашему делу и всему тому, что связано с Великой Отечественной войной. Случайность свела нас, случайность разрешила заниматься делом, страсть к которому скрывалась прежде в каждом из моих товарищей.

¹ Т.е. тела, лежащие на поверхности (поисковый жаргон).

Военные вещи, «хабар» — это слово звучало для некоторых из нас запредельной музыкой, вызывало дрожь в руках и сердечный ритм безумной частоты. Вещи, выкопанные из земли нашими руками, обретали для нас особую ценность: фляги, губные гармошки, каски, ордена, штык-ножи и, разумеется, оружие (благо конфликтов с милицией по этому поводу у нас не было — оружие мы не присваивали, а торговать им никому из нас и в голову не приходило). Но были находки и пострашней, находки, напоминающие о темной изнанке жизни. Находки, при виде которых хотелось выть.

Кости. Великое их множество. Берцовые и тазовые, пальцы, продолжающие сжимать штык или рукоять гранаты. Черепа, в глубине газниц которых, как в крохотных подземных озерах, застыла черная торфяная вода. Мертвые, убитые войной. Укрытые саваном вечным сном, под ледяным покровом кому родной, а кому и чужой земли. Обреченные на забвение. Годами спят они, погребенные, кто — под толстым слоем жирной болотной глины, а кто — под тонкой паутиной корней, извивающихся в них, подобно червям.

Собственно говоря, поиск павших солдат и есть главная цель таких поисковых отрядов, как наш. Но наши руки дают покой далеко не каждому из убитых. Найденные останки русских солдат поисковики идентифицируют и предают земле по обычаю — в гробах, с могильными холмиками и крестами. Бывших врагов — немцев, румын, венгров — собирают в отдельные «погребальные мешки» и по окончании раскопок хоронят в наспах выкопанных могил, которые обносят колючей проволокой, обозначая место захоронения для других отрядов.

Надо ли говорить, что подобное обращение с мертвыми просто кощунственно! Меня и мою подругу по отряду Наталию оно не раз заставляло бурно протестовать, но... На деле выходило, что чужие солдаты никому не нужны. Германия и бывшие ее союзники в войне редко когда выделяли деньги на поиск и захоронение мертвых на чужбине. А в нашей стране средств едва хватало и на своих покойников...

Но вернемся назад, в наш временный лагерь.

По неписаному закону кухарить досталось девчонкам, и мы (с учетом извечно голодных наших мужчин) наготовили неприлично много и неприлично просто — впрок, как говорится. Сегодня уже мы не делали больше ничего, отдыхали, осматривались, проверяли оборудование, читали карты, а наутро решили сходить в поселок на разведку.

После завтрака, часов в десять утра, я с Сергеичем, одевшись простецки (резинные сапоги, ватник, вязаные шапки), двинулись в сторону поселка. Грязь застыла совершенно невообразимыми наплывами, и приходилось перешагивать через эту волнообразную гадость, ругаясь на чем свет стоит. Первым здешним обитателем, на которого мы наткнулись, был мужик, валявшийся возле покосившегося забора в классической ушанке, рваном ватнике, резиновых сапогах и обросший щетиной пятидневной давности. Усмехнувшись и переглянувшись, мы подошли к нему и попытались разбудить.

Мужик был в том перманентно пьяном состоянии, из которого в этой стадии алкоголизма выходят только в одном случае — отправляясь на тот свет. Разбудили мы его на свою голову. Он долго и нудно пытался понять, кто перед ним, какое сейчас время суток, какой день недели, и замучил нас своими безнадежными попытками. Диалога не получалось. Сергеич плюнул на эту затею, обошел забор и постучался в первый попавшийся дом. Старая добротная дубовая дверь с трудом отворилась, и на пороге появилась старая женщина в темном платке, такой же юбке и коричневой кофте.

— Доброе утро! Простите, не знаю вашего имени...

— Татьяна Васильевна я...

Сергей без предисловий спросил:

— У вас водка есть, Татьяна Васильевна?

Я опешила и смутилась, а старуха кивнула, исчезла в доме и вышла пару минут спустя, держа в руках мутную поллитровку. Протянула ее Сереге, не выказав никакого удивления. Сергеич достал какую-то купюру, сунул бабке, развернулся и пошел обратно, за забор. Хлопок открываемой бутылки произвел на похмельного мужика просто волшебное действие. А когда он хлебнул самогонки, его глаза постепенно

начали принимать осмысленное выражение, сине-зеленый цвет лица сменился розовым и — о, чудо — алкаш заговорил на вполне понятном русском языке. Мужик представился почему-то уменьшительно-ласково Кирюшей, был пятидесяти лет от роду и жил вдвоем с матерью. Оказалось, что он коренной житель поселка, историю которого знает по рассказам матери и отца, вернувшегося с войны.

— Да чего на улице-то сидеть! Пошли в дом, я здесь недалеко живу.

Он шел тяжело и осторожно, опустив голову, словно боялся растрясти свое нежданно обновленное опьянение. К нашему удивлению, он вошел в тот самый дом, где мы купили водку, и еще с порога крикнул:

— Мать, к нам гости!

Татьяна Васильевна откликнулась сурово:

— А, пришло шаталово, корми теперь его. С кем приперся-то?

Я вновь смутилась, но Сергеич, как ни в чем не бывало, сказал:

— Простите и еще раз здравствуйте.

Старуха, обнаружив, что гости пожаловали совершенно не такие, каких приводит обычно, как можно предположить, ее сын, сменила гнев на милость. Прошамкала что-то и пошла к столу, на котором стоял замечательно старый пузатый самовар.

— Проходите уж, чай пить будем.

Это прозвучало как приказ. Мы вошли, сняли грязные сапоги и обулись в разношенные тапки, которые предложил нам Кирюша.

Сели за стол. В доме было уютно, тепло и чисто. Все располагало к беседе. И мы, конечно, разговорились.

— Вы уж извините, уважаемая, — сказал Сергеич, — что мы вот так, с налету: только заявились и сразу — водку покупать...

Он глянул на Кирюшу.

Татьяна Васильевна намек поняла, но не придала ему ни малейшего значения.

— По лицам и одежде вижу, кто вы. Были у нас такие ребята два года тому назад. Правда, те — помоложе вас, немного и понаглей.

Старуха усмехнулась и выразительно посмотрела на Серегу.

Она была совершенно седой, у глаз залегли лучами глубокие морщины, тонкие губы синели — верный признак слабого сердца. Худые руки со скрюченными артрозом пальцами покрывали печеночные бляшки. Старуха как старуха. Лишь одно в ее облике вызывало у меня удивление — глаза. Чертовски синие, они казались совсем молодыми, отчего создавалось впечатление, будто им вовсе не место на этом лице. Взгляд был пронзительным, и, несмотря на возраст, от Татьяны Васильевны исходила какая-то властная сила. Я невольно представила, сколько страданий вынесла эта женщина за свою жизнь.

— Копали те ребята, — продолжала она. — Вы ведь тоже копать приехали...

— А имен их не помните? — перебила я в надежде, что смогу по знакомым именам определить, что за отряд побывал до нас в заветном месте.

Татьяна Васильевна пропустила мой вопрос мимо ушей. Ей, видно, не часто доставались слушатели, и она спешила выговориться так, как самой хотелось.

— В позапрошлом году ваши тут шуровали и признали, что место стоящее. Но сначала местные ребята возились. Копали, конечно, без особых затей, но распознать, что есть что, — ума хватило.

Кирюша дремал, мерно тикали ходики, бубнило радио на кухне, чай в стаканах давно остыл...

— Я тут давно, — рассказывала Татьяна Васильевна. — Вся семья моя тут похоронена. Только и остались — я да младший мой...

— А большая была семья?

— Я, муж и ребятишек пятеро. Когда Кирюша не пил, то все скучал, — она посмотрела на сына, — отца ждал. Любил слушать, когда тот вспоминать начнет... Отец бывало сядет на крыльцо, возьмет самосаду, самокрутку свернет, затянется, говорит, говорит и плачет... Совсем плохой стал, как с войны пришел. Да и контузия сказывалась, боли его мучили сильные и кошмары. Все кричал ночами, страшно было, как кричал. А перед смертью пил много, сердешный, — Татьяна Васильевна утерла слезу. — Всякое было. Натерпелись мы в войну и после войны...

— Черт побери! — подал внезапно голос Кирюша. — Вот слушаю я вас и не пойму. Объясните, как можно после войны жить, думая о том, что ты убийца? Как можно носить ордена, взятые за чью-то жизнь? Как можно каждую ночь стонать от кошмаров, а утром пить, чтобы забить память. Объясните мне, как? Не пойму я этого никогда. И батя плохо понимал и потому пил. И я пью...

Мы молчали. Что скажешь?

— Пятеро у меня было, — вздохнула Татьяна Васильевна. — Девочка последняя слабенькая была, болела часто. Есть было тогда нечего — кашу варили из газет, ждали весны, чтоб лебеды нащипать, суп постный сварить... Ели все, что ползает и летает... А дочка моя не выжила, не было у меня молока тогда, с голодухи, померла зимой, аккуратно, когда немец Прохоровку терзал. А старшие держались, мерзлый картофель ели, терпели, как могли. Вот я и подумала... Детям помочь хотела... Софьюшку свою... — она заплакала. — Тем и выжили... Всякое было тогда, всякое...

Она плакала, не сдерживаясь более. Мы, ошеломленные рассказом, пили остывший чай и не пытались ее остановить или утешить. Время, казалось, замерло, мы притихли, боясь задавать неуместные вопросы.

Сергеич наконец решился прервать молчание.

— Татьяна Васильевна, посоветуйте нам, пожалуйста, — он достал карту, расстелил ее на столе и ткнул пальцем в какую-то точку. — Завтра мы вот здесь будем делать «пробный закоп». Что скажете?

Татьяна Васильевна вытерла слезы...

— Если хотите, покажу место...

Сергеич встал.

— Ну, так мы за вами завтра заедем?

— Часиков в девять, с утречка. Давайте я вас провожу.

Мы молчали всю обратную дорогу до лагеря, думая каждый о своем, но, наверное, об одном и том же. Надо было как-то уложить в сознание услышанное. Принять прошлое таким, каким оно было. Страшным и безобразным.

Утром команда была в сборе. Мы с Сергеичем быстро сгоняли за нашей «проводницей» и теперь все вместе ехали к месту, которое вчера показать обещала Татьяна Васильевна.

Минут двадцать спустя мы подъехали к кромке леса, выгрузили вещи и пошли за бабкой. Татьяна Васильевна, обутая в высокие сапоги, решительно двинулась в самую чащу. Шла уверенно, будто побывала здесь только вчера.

Хрустели ветки под ногами, сменяясь мягко пружинящим моховым ковром. В такие минуты невольно сосредотачиваешься, и тогда пробуждаются воображение и интуиция. Погрузившись с головой в звенящую тишину, я представляла, *каким* был этот лес во время войны. Как из-под земли вырастали темные силуэты танков, надвигающихся на меня черной лавиной. От страшной силы взрывов содрогалась земля, исторгая тучи смертоносных осколков вперемешку с комьями черного смерзшегося торфа, которые засыпают окопы, блиндажи и ячейки. И сам воздух, казалось, стал черным и смрадным от гари и нечеловеческих предсмертных криков — криков ужаса, боли и ярости...

Я смотрела на развороченную землю, поросшую рахитичными березами, на затянутые временем воронки, похожие на рубцы на коже, на залитые болотной жижей ямы блиндажей с оплывшими краями и ломаными, еле заметными линиями окопов. Глядела на разбросанный под ногами «мусор»: рубашки от гранат, обрывки ржавой шипастой колючей проволоки. Я вспоминала наши прошлые выезды, вспоминала как буквально нутряное чутье вело меня к какому-нибудь окопу, где — я знала — лежат останки... И если проверка щупом подтверждала мое чувство, я доставала «саперку» и принималась искать.

Это было не так просто: порой, стоило сделать несколько копков, как под тонким слоем сухой земли начиналась сметанообразная глина, а в яму постоянно просачивалась грязная вода, которую я вычерпывала прихваченной по этому случаю оловянной кружкой. Когда же, сковырнув очередной пласт, в земле я замечала грязно-желтую кость, начиналась самая сложная работа. Надо было осторожно извлечь останки из земли, промыть (если поблизости была вода), сложить их в прочный

мешок, прихваченный как раз для этой цели, а затем отнести в лагерь. Счастье, если с останками удавалось обнаружить именной жетон хотя бы одного солдата.

У русских солдат именные медальоны попадались очень редко — примерно один на десятерых, и все из-за дурацкого суеверия. Дескать, если носишь его с собой, то тебя вскорости убьют, а значит, от проклятой эбонитовой пластины нужно как можно скорее избавиться или, еще лучше, — обменяться ею со своим товарищем. Чтобы не скосила костлявая... Но она, безумная слепая, и без того подсекала каждого второго солдата. На подмену жетонов ей было глубоко наплевать. Так и получилось, что именно из-за суеверия большинство наших солдат ушли безымянными. Всем им уготована братская могила. По-другому дело обстояло с немцами. Они по натуре своей были аккуратистами, редко кто не носил свой жетон, и установить личность каждого не составляет особого труда. Вот только кому это нужно? Иное дело: одежда, личные вещи и тому подобное — все это подбирают мародеры. Где уж тут говорить о жетонах? А кости — они и есть кости, для мародера они — мусор. Какой на них спрос?

...Славко и Мишка давно возились на «отвале», перебирая землю. Остальные члены отряда дружно орудовали лопатами неподалеку, возле блиндажа.

— Есть! — донесся до меня голос Славко (кстати сказать, земляка Сергеича) — самого глазастого и усидчивого человека в нашем отряде.

Не сговариваясь, мы побросали свои раскопки и бросились к нему. А он уже успел подняться с колен и, не глядя под ноги, пошел к столу, держа на ладони пятисантиметровую капсулку, всю в земле. Сергеич подлетел первым. Как всегда не растерялся и расстелил на столе чистые листы. Очень осторожно взял с запачканной ладони Славика ценную находку и положил ее на бумагу.

Да, найти такое на отвале — это что-то! Сергеич начал бережно отвинчивать крышечку капсулы, бормоча под нос похвалы замечательным способностям товарища.

Мы ждали, боясьдохнуть и надеясь в душе, что капсула не пустая.

Да!

Я втянула воздух сквозь сжатые зубы.

Сергеич небольшим пинцетиком вытянул из цилиндрика скрученную записку и расправил на столе, придерживая краешек острой веточкой.

— Ну? — несколько голосов слились в один.

ГОЛ... К НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

06.05.1923 г.р.

.....ИЙ ЛЕЙТЕНАНТ МОТОСТРЕЛКОВОГО ПОЛКА.....

СЕЛО ВОР....КА.....ДОМ 68...

ПЕРЕДАЙТЕ РОДНЫМ...

Многие буквы были размыты, но главное было понятно — разыскать близких погибшего можно. При абсолютном нашем молчании коменданте вложил капсулу и скрученную записку в прозрачный пакет, а потом зачем-то напомнил нам, что придется собирать сведения о погибшем лейтенанте по архивам.

— Слышь, Толян, как думаешь, «гансов» тут много лежит? — пропыхтел Мишка, вечно витающий в облаках и вслух мечтающий откопать нечто сенсационное.

— Да вроде бы...

Сашка, самый старший из нас — ему недавно сорок пять стукнуло — прервал их досадливо:

— Ну и что? Нам-то опять придется яму копать или «блины» пустые долбить. И так же, как в прошлый раз было: гору «мусора» наберем, сфотографируем ее на память и бросим — приходи кто хочет и разбирай на «сувениры». Тьфу!

В разговор вклинился строгий голос нашего командира:

— Я здесь никого не держу! Хотите копать по вещам — копайте. Но общая цель поездки была поставлена с самого начала.

— Да ладно тебе, — сказал Миха. — Ты ведь сам знаешь, что последние выезды были «пустыми».

— Пустыми? — надулся Сергеич. — А тех десятерых человек, что мы подняли, ты не считаешь?

— Это, конечно, хорошо было, — вставил Саша. — Но когда ты нас по «хлебным» местам поведешь?

— По каким таким *хлебным*? — будто бритвой резанул командир. — Я же ясно сказал: если кто-то не желает заниматься эксгумацией, то дорога — вон она, как раз за вашими задами... Валите и копайте, сколько душе угодно. С мародерами я дел иметь не хочу. А уж тем более терпеть их в *своем* отряде. Не хотите поднимать останки по чести — не надо!

Он кашлянул и помолчал. Потом спросил:

— Есть желающие покинуть отряд?

Спустилась такая тишина, что стало слышно, как одинокая капля, сорвавшись с дерева, гулко булькнула в луже.

— Отлично. Вопрос закрыт! — Сергеич сплюнул и захрустел ветками, уходя в глубину леса.

Я пошла вслед за ним, нам было по пути. Я понимала его гнев. Правда, коли уж речь зашла о моей особе, то и я на первых порах хватала от «хабара» адреналин и, к великому моему нынешнему стыду, собирала всякую военную труху, именуемую «мусором». В ту пору проржавевшая пластина от губной гармошки казалась мне бесценным сокровищем. Позже мое стремление к «собирачеству» поугасло, уступая всеохватывающему уважению к погибшим. Не спорю, иногда попадались довольно интересные вещицы, и я не гнушалась подобрать их... Но чтобы ставить вещи самоцелью! Мне вспомнилось, как около года назад я подглядела мародеров за «работой».

То была случайность. Наш отряд копал неподалеку, а я, как всегда, неосмотрительно далеко забрела в лес и наткнулась на безобразное зрелище.

Несколько парней, раскидывая лопатами мерзлую землю, яростно разгребали внутренность поросшего мхом блиндажа. Визжала лебедка, выворачивая из почвы бревна разбитого снарядом наката. И вдруг один из мародеров прыгнул в яму и достал оттуда первую находку — серебряный портсигар, облепленный комочками земли. Будто новых сил прибавила им эта вещица, мародеры схватились за лопаты с еще большим рвением. Разумеется, блиндаж хранил в себе, кроме ценных предметов, еще и человеческие останки. Кости его последних защитников. В том месиве наверняка трудно было понять, кем они были когда-то — русскими или немцами. Мародеры с перекошенными рожами выгребали кости вместе с жижей, скопившейся на дне ямы, и вываливали на кучу «отвала» (разумеется, убедившись вначале, что ничего ценного среди них не осталось). После раскопок они небрежно забросают курганчик еловыми ветками. Я неслышно удалилась. Обнаружь мародеры, что за ними наблюдали, мне бы не поздоровилось...

Нашему отряду частенько попадались в лесах следы подобного грабежа — развороченные блиндажи, порушенные окопы и ячейки с рассыпанными серо-черными от времени и непогоды костями. И тогда нам приходилось выполнять сложнейшую работу — ползая на коленях, острыми совками разбирать отвал возле ямы и аккуратно подбирать разбросанные останки.

Сегодня нашему отряду предстояло сделать многое: предварительно обследовать место будущих раскопок и по возможности осмотреть окрестности в поисках захоронений, которые следовало вскрыть.

Сергеич редко когда задерживался на одном месте подолгу. Перед каждым сезоном он подолгу рылся в архивах, подыскивая новые, еще девственные места. И это ему всегда удавалось. В сборе информации он — как рыба в воде. Постоянно общаясь с членами других отрядов, он незаметно по крупинкам собирает полезные для себя сведения. Жажда поиска прочно засела в нем железным крюком, не давая покоя...

Сергеич услышал, что я иду вслед за ним.

— Ну что? — он оглянулся и, видимо, понял, что я чувствую после неприятного разговора. — Ты у нас любишь по кустам лазить, так что бери «минак» и пройдишь окрест, может, на что-нибудь наткнешься.

Конечно, предложение командира мне польстило, но я побаивалась этого места. Леса тут страшные. Но приказ есть приказ, и поэтому несколько минут спустя я уже искала в сложенном возле стола инвентаре удобный «щуп» по руке, «минак» и «саперку». Обувшись в высокие резиновые сапоги и накинув на плечи непромокаемый плащ, я направилась в лес, помечая деревья на своем пути. На часах было около двенадцати, настроение — в нужной фазе, недавний завтрак заряжал бодростью. Удалившись от лагеря на приличное расстояние, я, как всегда, зашептала молитву:

«Простите меня те, чей покой я сегодня потревожу. Я не желаю вам зла, и не от моей руки вы легли в землю. Не страдания ищю вам, а избавления от мук. Вечная вам память. Аминь».

Лес объял меня тревожным ожиданием насупившихся деревьев, небо хмурилось обрывками туч, земля скалилась на меня черными провалами воронок и похожими на гневные брови росчерками окопов. Расчехлив «минак», я перепроверила настройки, сбалансировала их на грунт и побрела в глубь чащи, проверяя щупом каждый попадавшийся на моем пути блиндаж. Несколько раз путь мне преграждали глубокие, полноводные в это время года рукава болотных ручьев, по берегам которых светились желтыми глазками осенние цветы.

Я присела у воды, чтобы ополоснуть руки. Сидя на корточках, по локоть погрузила руки в ледяную черную тонь и почувствовала, как песчинки и ил со дна усекают кожу. И вдруг ладонью коснулась странно гладкой поверхности. Приложив усилие, я вытянула это наверх. Мои пальцы сжимали кость. Черную, гладкую, как полированное дерево. Вода стекала с нее грязными бусинами капель. Кость была тяжелой и по форме точно соответствовала мужскому предплечью. Отложив ее в сторону, я снова опустила руки в воду, надеясь извлечь что-то еще, но пальцы мягко проваливались в ил и лишь поднимали муть. Но я была уверена — точно знала! — что нашла не просто отброшенный взрывом фрагмент. Глубоко в земле скрыт целый остов. А может, и не один...

Чтобы не пропустить место находки, когда пойду обратно, я острием саперки подрубила под корень длинный побег тальника и, очистив лозу от коры, обмотала ее красной лентой скотча, прихваченного с собой. Флажок я воткнула на берегу, а кость все же забрала с собой, осторожно промокнув ее тряпкой и завернув в целлофан.

Погода испортилась, начавшийся дождь начал больно бить по лицу и рукам. Многочисленные выемки в земле стали на глазах наполняться водой. Покров мха напоминал гигантскую губку, которая пружинила и чавкала под ногами. Толстые корявые стволы древних елей ютили подле себя щедедушные стволы припавших к ним берез. Спустя минуту все скрылось за плотной серой тюлевой завесью дождя. Пробираясь на ощупь, я едва шла и с трудом вытаскивала сапоги из грязи, которые всасывала жадная до людей земля. Капюшон плаща неведомо каким образом начал пропускать дождинки за воротник. Сил терпеть больше не было, и я повернула обратно. Прошло очень много времени, прежде чем перед глазами появилась знакомая проплешина у ручья, помеченная красной меткой скотча. Я прибавила шаг, идти до лагеря оставалось еще немало. Дождь внезапно прекратился, словно его ножом отрезали. Невесть откуда поднявшийся ветер дрозью пробежал по деревьям. И я вздрогнула, услышав полувздых-полушепот:

«Ты вернешься... И обязательно поможешь...»

Час спустя, переодевшись во все сухое, я сидела возле костра с ребятами. Зябко поеживаясь, тянула холодные руки к огню и вспоминала свою находку.

Судя по лицам товарищей, день и у них не прошел впустую. Кто-то выпивал, кто-то курил, кто-то смотрел на мерцающие калейдоскопом угольки. Живо обсуждались дневные события. Кто-то плеснул в костерок немного горячительного — пламя взметнулось вверх и на миг осветило мое лицо...

— Эй, — тихо позвал Славко, глянув на меня. — Ты что это, приболела никак?

Я мотнула головой, сгоняя оцепенение. За все время, проведенное в отряде, со мной не случилось ничего подобного. Причина плохого самочувствия крылась отнюдь не в болезни... Передо мной мелькали обрывки недавно увиденной картины: сплывающий глянecь воды, мои руки, погруженные в нее... И шепот...

Станный, будоражащий сердце шепот...

Много раз я бродила по похожим местам, много раз мне доводилось поднимать останки, но *такого* я еще никогда не испытывала. Странное живое чувство чьего-то присутствия...

Наконец, собравшись с духом и пересилив себя, я спросила:

— Серега, а у тебя при раскопе не бывает такого ощущения, будто за спиной кто-то стоит?

Командир внимательно глянул на меня, закурил.

— Лет пять тому назад, когда я только вступил в отряд, сидели мы, вот как сейчас, после работы у огня и отдыхали. Был у нас тогда шутник один, Юрка, уж больно до вещей охочий. Только о них и говорил. Бывший «черный копатель» — на кости, сама понимаешь, ему было откровенно наплевать... В то время таких «переквалифицировавшихся» в отрядах было полно. О чем это я? Ах, да.... Ну, так вот, сидим возле костерка, покуриваем, и вдруг Юрик заметил в кустах крохотную звездочку тлеющей сигареты.

— Слышь, — толкнул он меня в бок, — опять местное пацанье приперлось. Надо бы их шугануть.

Рядом был поселок, и к нам вполне могли пожаловать подростки, но я-то сразу почуял неладное — кругом же костей полно. А этот тип, Юрка, — ему хоть бы хны, еретику чертову. Гаденько так кричит он в сторону кустов:

— Кто там? Спать не пора ли?

Вначале тишина... Юрка уж посмеиваться начал. И вдруг в ответ донесся голос, будто говорили с тряпкой у рта:

— Да пошел ты! Спать ему пора...

Огонек сигареты мигнул и пропал. Но самое жуткое — ни одного звука с того места больше не донеслось: ни шагов, ни треска веток, ни голоса. Тут-то до Юрки и дошло, что за гость к нам приходил... Всю ночь мы проторчали у костра, уговорили литрушку водочки на двоих, но даже не взяла, зараза. А под утро, взяв щуп, пошли к тому месту, догадку свою проверять...

— И что? — не выдержал кто-то.

— Что-что... Человека нашли, нашего. И самое страшное, при том солдате портсигар был, а в костлявых пальцах — зажигалка. Видать, отошел покурить, тут его и накрыло.

С тех пор Юрик зарекся убитых солдат обирать, и сейчас — командир своего отряда, под Смоленщиной копает. Говорят, каждому найденному солдатику — отдельную поминальную молитву заказывает. Так-то, вот.

— Ты хочешь сказать, что...

Коменданте сплюнул в костер и встал.

— Черт его знает. Все может быть. Главное — не паниковать, иначе до сумасшествия недалеко. Кстати, ты что-нибудь нашла?

Я ответила:

— Ну, да. Минутах в сорока ходьбы.

— Запомнила место?

— Угу-м!

— Хорошо, завтра утречком вместе пойдем, посмотрим... А теперь — все, спать пора.

И пошел было, но вдруг остановился и так, между прочим, бухнул:

— Я думаю, все и без того знают, что бояться нужно живых, а не мертвых.

Только-только туман белесыми полосами застелился по земле, только-только зазвенела птичья мелочь, как кто-то тронул меня за плечо, резко выдернув из сна.

— Вставай!

Убедившись, что я больше не усну, Сергеич вышел. Я быстро оделась, накинула поверх толстовки теплую куртку, схватила пачку печенья, бутыл минералки и выскочила из палатки. Ребята еще спали, а утренний холод пробирал изрядно. Сергеич молча ждал с инструментами под мышкой. Мы пошли к месту раскопа, двигаясь по моим приметам в сторону ручья.

В первых лучах солнца лес заиграл красками осенней палитры. Пахло прелой

хвоей и гниющими листьями, торфом и перенасыщенной влагой землей. Воздух в прихлебку с минералкой был ужасно вкусным. И все бы хорошо, но напоминающие о войне разрушенные воронки угнетали меня, ввергая в болезненное вчерашнее состояние.

До ручья было рукой подать. Сергеич первый заметил ветку тальника, сигнализирующую красным флажком. Еще несколько шагов, и мы на месте. Да, здесь я вчера обнаружила останки.

И работа началась. Соорудив небольшую запруду, мы отвели мешающую нам воду и обложили края будущего раскопа прочными ветками, срубленными тут же. А час спустя, как я и предполагала, добрались до обширного захоронения человеческих костей, перемешанных со скелетами животных и бог знает чем еще...

— Ого! — восхищенно выдал Серега. — Вдвоем не управимся. Тут еще руки нужны. Давай-ка бегом к нашим. И перчаток, как можно больше перчаток... Думается мне, тут болезнь...

Примчавшись в лагерь и едва переведя дух, я вкратце пересказала новость сонным ребятам. Сна как не бывало. Наша команда бросилась к палаткам. В невероятном темпе были натянуты штаны и кофты, носки и сапоги; на ходу схвачен нужный инвентарь...

Мы сравнительно быстро закончили работу, уложившись всего в три дня, и подняли около двадцати человек, русских солдат. Повезло еще в том, что никакой болезни в земле не оказалось. Опять же спасибо Сергеичу — он по костям читал лучше, чем по медицинской карте.

До сих пор помню те дни... Сначала думали: «верховые» лежат, а как копнули глубже, так рты и пораскрывали.

— Ну, молодец! Дай боже всем такой нюх как у тебя, — хвалил меня Серега.

Но что-то надломилось во мне с того дня.

С невероятным трудом мы отвоевывали солдат у земли, забирая из жадных глубин все останки до мельчайшего осколочка. И мне все это время постоянно чудилось, что они, восставшие, смотрят на нас холодной голубизной неба и черной торфяной водой.

Кто они? Кем они были? О чем думали и мечтали? Что успели попробовать, кроме отвратительного вкуса войны? Никто теперь не сможет ответить на эти вопросы.

Владимир Губайловский

Оптика времени

1

24 мая 2010 года Иосифу Бродскому исполнилось бы 70 лет. Не так уж много по нынешним временам, особенно если ты озабочен своим здоровьем и достаточно обеспечен, чтобы позволить себе хорошее медицинское обслуживание.

Можно попытаться представить Бродского выступающим с речью на своем 70-летнем юбилее, но представить себе такое выступление оказывается крайне трудно. Бродский уже очень далеко — он в пространстве классики.

Бродский умер почти 15 лет назад. В своей давней статье Лидия Гинзбург писала: «Смерть художника (как смерть близкого человека) сразу создает дистанцию, заглушает споры, подводит итоги и утверждает ценности»¹. И смерть Бродского, как это часто случается, дала толчок процессу канонизации, который продолжается и сегодня. Одним из важных моментов этого процесса является медленное и внимательное перечитывание его стихов. Строчки как бы рассматриваются под увеличительным стеклом, их пробуют на разрыв, поворачивают под разными углами к свету — такое внимательное чтение выдерживает далеко не всякий текст, даже очень популярный при жизни автора. Но в целом Бродский такое чтение выдерживает.

Более того, по мере чтения его стихов сотнями специалистов и сотнями тысяч поклонников в поэзии Бродского постепенно проступают новые, не замеченные ранее смыслы. А это значит, что чтение содержательно и оно будет продолжаться и продолжаться.

2

Как было подчеркнуто многими исследователями и как неоднократно говорил сам поэт, его главной темой является Время, взятое в самых разных ракурсах — от бегущей секундной стрелки до глобального погружения в прошлое.

Как раз теме «большого времени» у Бродского, переживанию удаленной эпохи как своей, попыткам найти устойчивые, повторяющиеся из века в век конструкты и инварианты, которые позволили бы эти удаленные времена спроецировать на день сегодняшней, посвящены эти заметки.

Когда мы читаем стихи — все они даны нам в момент чтения, независимо от того, когда они написаны — будь-то Вергилий, Пушкин или наш современник. Мы как бы видим над собой сферу, на которой загораются и гаснут звезды — и все они одинаково близки и равно далеки от нас. Если мы будем ориентироваться только на свое наивное восприятие, то мы не почувствуем того временного удаления, на котором находится от нас поэтическое творчество того или иного автора, а значит, не почувствуем глубину времени. А почувствовать его необходимо — прежде всего, чтобы понять, из чего «складывается» свет звезд на поэтическом небосклоне, понять реальную яркость этих звезд.

В эссе «В тени Данте» Бродский пишет: «В отличие от жизни произведение искусства никогда не принимается как нечто само собой разумеющееся: его всегда рассматривают на фоне предтеч и предшественников. Тени великих особенно видны в поэзии, поскольку слова их не так изменчивы, как те понятия, которые они выражают»².

Аналогия со звездным небом здесь неслучайна: астроном тоже видит все звезды в их проекции на полусферу и не может напрямую определить, какая из них ближе, а какая дальше, потому что даже яркая звезда на большом расстоянии кажется тусклой.

У астрономов существует метод исследования далеких звезд, который называется «микролинзирование». Суть его состоит в следующем: если свет от далекой звезды на своем пути к земному наблюдателю проходит рядом с другой звездой (к Земле более близкой), то сила притяжения близкой звезды служит линзой (гравитационной): свет далекой звезды усиливается, происходит вспышка, и, рассматривая кривую усиления-ослабления блеска, можно узнать и о далекой звезде, и о близкой то, что никаким другим способом мы никогда бы не узнали.

Тот метод построения стихотворения, который я буду рассматривать в этих заметках, отчасти напоминает микролинзирование, только роль звезд будут играть стихи, а роль пространства — время.

3

Почти элегия

В былые дни и я переживал
холодный дождь под колоннадой Биржи.
И полагал, что это — Божий дар.
И, может быть, не ошибался. Был же
и я когда-то счастлив. Жил в плену
у ангелов. Ходил на вурдалаков.
Сбегавшую по лестнице одну
красавицу в парадном, как Иаков,
подстерегал.
Куда-то навсегда
ушло все это. Спряталось. Однако
смотрю в окно и, написав «куда»,
не ставлю вопросительного знака.
Теперь сентябрь. Передо мною — сад.
Далекий гром закладывает уши.
В густой листве налившиеся груши
как мужские признаки висят.
И только ливень в дремлющий мой ум,
как в кухню дальних родственников — скаред,
мой слух об эту пору пропускает:
не музыку еще, уже не шум.

Осенью, 1968

Это стихотворение начинается воспоминанием: о «холодном дожде», об «одной красавице», воспоминанием, которое постепенно возвращается к настоящему времени, к речи, звучащей здесь и сейчас: «Теперь сентябрь». «Далекий гром», начинающийся ливень, шелест «густой листвы» в саду создают звуковой (шумовой) фон. И приходит предощущение стиха: «не музыка еще, уже не шум». А дальше произойдет возвращение к «холодному дождю», к первым строкам. То есть чудо свершается на наших глазах, и это чудо — рождение стихотворения.

Конечно, Бродский не первым обратился к этой теме. И в первую очередь нужно вспомнить пушкинскую «Осень (Отрывок)» (1833 г.). Ирина Сурат пишет об этом пушкинском шедевре: «Первые девять строф — это <...> ряд прозаически конкретных картин, фиксирующих со всеми живописными и неживописными подробностями смену времен года, состояний природы и состояний человека в ней. Этот ряд картин держится на многочисленных глаголах движения и действия и воспринимается как большой, сложный, детализированный процесс, называемый течением жизни, — но за ним и благодаря ему происходит на пространстве стиха и другой процесс, внутренний и таинственный, — приятие и накопление жизненных впечатлений творческим сознанием поэта. <...> Все движение текста, вся внутренняя динамика «Осени», с замедлениями и ускорениями жизненного ритма, телеологически устремлены к событию последних строф, в которых набранная жизненная энергия преобразуется в творческий порыв, разложенный Пушкиным на его таинственные составляющие. Событие стиха происходит на наших глазах — внешнее превращается во внутреннее, проза жизни и поэзия жизни претворяются в стройные октавы шестистопного ямба. На границе IX и X строф меняется вектор процесса — уже не внешний мир входит в душу поэта, а его внутренний, пробужденный творческий мир ищет способа воплотиться»³.

«Почти элегия» по своему сюжету очень напоминает «Осень». Но связь этих стихотворений сюжетом не ограничивается. Бродский говорит: «написав «куда», / не ставлю вопросительного знака». «Осень» заканчивается строчкой: «Куда ж нам плыть?...». Бродский, вероятно, просто знает, «куда ж нам плыть».

Ирина Сурат пишет: «Развивая финальную традиционную метафору корабля поэзии, Пушкин начал было набрасывать дальнейший маршрут воображения («...какие берега / Теперь мы посетим — Кавказ ли колоссальный, / Иль опаленные Молдавии луга, / Иль скалы дикие Шотландии печальной...»), но оставил этот путь — лирический сюжет исчерпан, событие стиха уже состоялось»⁴. Стихотворение родилось — круг замкнулся: дальше речь пойдет не о «Кавказе колоссальном», а о том, что «Октябрь уж наступил». Или о том, как «я пережидал / холодный дождь».

В «Почти элегии» есть и непосредственное указание на «Осень». Пушкин взял в качестве эпиграфа к своему стихотворению строчку из державинского послания «Евгению. Жизнь Званская»: «Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?». Бродский цитирует эту державинскую строчку почти точно: «и только ливень в дремлющий мой ум» — и опять «не ставит вопросительного знака».

Но «Осень» для «Почти элегии» — это, так сказать, «далекая звезда» (если говорить об аналогии с микролинзированием), есть и «ближняя», и она не менее важна. Это — стихотворение Арсения Тарковского «Рукопись».

Стихотворение вошло в первую книгу Тарковского — «Перед снегом» (1962). Эти стихи хорошо знала Ахматова. Евдокия Ольшанская пишет в своих воспоминаниях: «Анну Андреевну взволновали эти стихи. Ахматова с удивлением повторила: «Судьба моя сгорела между строк», а потом сказала, что это стихотворение должна была написать она. Поэтому в своей второй книге «Земле — земное» Арсений Тарковский посвятил его Ахматовой, предварительно спросив разрешения. Книга вышла в 1966 году, через несколько месяцев после кончины Ахматовой»⁵.

Возможно, у Ахматовой были вполне личные причины считать, что это стихотворение должна была написать она.

Первая строфа «Рукописи» звучит так:

Я кончил книгу и поставил точку
И рукопись перечитать не мог.
Судьба моя сгорела между строк,
Пока душа меняла оболочку.

Стихотворение Николая Гумилева «Память» начинается такими строчками:

Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.

У Тарковского «душа меняет оболочку» — то есть остается в основе своей неизменной, у Гумилева — «мы меняем души». Неизвестно какую позицию заняла бы в этой «полемике» Ахматова, но ей, наверное, было что сказать.

Бродский ценил поэзию Тарковского⁶. Вероятность его знакомства с «Рукописью» очень велика. Но у Бродского была и дополнительная причина вступить с Тарковским в полемику. Отвечая Соломону Волкову, Бродский вспоминает о речи Тарковского на похоронах Ахматовой: «...когда Арсений Тарковский начал свою надгробную речь словами «С уходом Ахматовой кончилось...» — все во мне воспротивилось: ничто не кончилось, ничто не могло и не может кончиться, пока существуем мы. «Волшебный» мы хор или не «волшебный». Не потому, что мы стихи ее помним или сами пишем, а потому, что она стала частью нас, частью наших душ, если угодно»⁷.

«Рукопись» Тарковского, как и «Осень», и «Почти элегия», посвящена рождению стиха. Хотя есть существенное различие: если в «Осени» и в «Почти элегии» описан процесс рождения, то у Тарковского — результат. Вторая строфа «Рукописи» звучит так:

Так блудный сын срывает с плеч сорочку,
Так соль морей и пыль земных дорог
Благословляет и клянет пророк,
На ангелов ходивший в одиночку.

Сравним со стихотворением Бродского:

Был же
и я когда-то счастлив. Жил в плену
у ангелов. Ходил на вурдалаков.
Сбегавшую по лестнице одну
красавицу в парадном, как Иаков,
подстерегал.

Пророк у Тарковского «ходил на ангелов», поэт у Бродского «ходил на вурдалаков» и жил «в плену у ангелов».

Но «Пророк, ходивший на ангелов» — это Иаков и есть. «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал [ему]: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь» (Бытие 32:24-28).

«Лестница» также имеет самое непосредственное отношение ко сну Иакова: «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Бытие 28:12).

То, о чем Тарковский говорит высоким штилем, Бродский — снижает. Но в обоих стихотворениях, пусть и несколько иронически (у Тарковского пророк тоже «ходит на ангелов», как на медведей), поэт сравнивается с пророком, а это прямая отсылка к Пушкину, и уже не только к «Осени».

Бродский, в несколько скрытой форме полемизируя с Тарковским, отвечает на

те слова, которые были произнесены на могиле Ахматовой: нет, ничего не кончилось, потому что рождение стиха продолжается, и продолжается по тем же канонам, которые были заданы Пушкиным.

Бродский отыскивает инвариант, те слова, которые «не так изменчивы, как те понятия, которые они выражают». Время, схваченное в узловых точках — точках рождения стиха, — разворачивается и обретает глубину.

4

Как давно я топчу, видно по каблуку.
Паутинку тоже пальцем не снять с чела.
То и приятно в громком кукареку,
что звучит как вчера⁸.
Но и черной мысли толком не закрепить,
как на лоб упавшую косо прядь.
И уже ничего не снится, чтоб меньше быть,
реже сбываться, не засорять
времени. Нищий квартал в окне
глаз мозолит, чтоб, в свой черед,
в лицо запомнить жильца, а не,
как тот считает, наоборот.
И по комнате точно шаман кружа,
я наматываю как клубок
на себя пустоту ее, чтоб душа
знала что-то, что знает Бог.

<1980—1987>

У этих стихов легко указать близкий прообраз (в нашей терминологии — «ближнюю звезду»). Это — стихотворение Осипа Мандельштама «Холодок щекочет темя» (1922). Оно начинается строфой:

Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг, —
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Этот «скошенный каблук» и припоминает Бродский — «как давно я топчу, видно по каблуку». Параллель продолжается и во второй строфе, тема которой — мучительное припоминание, чего-то важного, но ускользающего. У Мандельштама:

Все чего-то не хватает,
Что-то вспомнить недосуг.

У Бродского:

Но и черной мысли толком не закрепить,
как на лоб упавшую косо прядь.

А вот дальше поэты по видимости расходятся. Мандельштам заканчивает так:

Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ,
И вершина колобродит,
Обреченная на сруб.

Образ ясен и недвусмыслен. Но у прямого сюжета оказывается двойник («дальняя звезда»): Мандельштам в последней строфе ссылается на эпизод из «Энеиды» Вергилия, а именно на рассказ Энея на пиру Дидоны. Эней говорит о падении Трои. У Вергилия этот фрагмент звучит так (курсив мой. — В.Г.):

Я же воочью узрел богов, Илиону враждебных,
Грозные лики во тьме.
Весь перед взором моим Илион горящий простерся...
Вижу: падает в прах с высоты Нептунова Троя,
Будто с вершины горы, беспощадным подрублен железом,
Ясень старый, когда, чередуя все чаще удары
Острых секир, земледельцы его повергнуть стремятся,
Он же стоит до поры, и *трепещущей кроной качает*,
И наконец, побежден глубокими ранами, с тяжким
Стоном рушится вниз, от родного хребта отрываясь.
(Перевод С.Ошерова)

Эней увидел, как боги Олимпа сокрушают его родную Трою, после того как его мать — Афродита — открыла ему глаза. Она призывает его уходить, потому что не смертные повергли Трою во прах, но боги, а сражаться с богами бессмысленно. Афродита обращается к сыну:

«Сын мой, взгляни: я рассею туман, что сейчас омрачает
Взор твоих смертных очей и плотной влажной завесой
Все застилает вокруг. Молю: материнских приказов
Ты не страшись и советам моим безотказно последуй.
Там, где повержены в прах громады башен, где глыбы
Сброшены с глыб и дым клубится, смешанный с пылью,—
Стены сметает Нептун, сотрясая устои трезубцем,
Город весь он крушит и срывает его с оснований.
Тут Юнона, заняв ворота Скейские первой,
Яростным пылом полна и мечом опоясана, кличет
Войско от кораблей».

Вот тогда-то у Энея и открылись глаза, и он увидел, что его Трою боги подрубают, как земледельцы ясень.

Бродский (как и Мандельштам) был хорошо знаком с сюжетом «Энеиды». Ему принадлежит стихотворение «Дидона и Эней» (1969). Но в данном случае аллюзия проявляется только после того, как мы поставим в качестве недостающего звена стихи Мандельштама. В этом фрагменте «Энеиды» говорится о том, что Эней — смертный человек, хотя и сын богини, на краткий миг и с ее помощью обретает ту силу зрения, которая дана только богам: он воочью видит причины тех бед, которые обрушились на его родной город. Смертному это не дано.

Если мы теперь вернемся к финалу стихотворения Бродского, мы его прочитаем немного другими глазами:

И по комнате точно шаман кружа,
я наматываю как клубок
на себя пустоту ее, чтоб душа
знала что-то, что знает Бог.

Поэт «наматывает пустоту», чтобы, в конце концов, душа увидела мир таким, каким его однажды увидел Эней.

Можно попытаться интерпретировать тот инвариант, который открывает Брод-

ский в своем стихотворении, обращаясь к Мандельштаму и Вергилию. Вероятно, это размышление о цене, которую платит поэт за свое прозрение, за возможность видеть мир (пусть редко, пусть один раз в жизни) таким, какой он есть на самом деле, каким видят его боги: и поэт, опираясь на тысячелетний опыт поэзии, говорит — эта цена предельно высока.

Но пытаюсь сформулировать подобного рода понятийный инвариант не следует, конечно, забывать, что «слова долговечнее понятий».

5

«Письма Римскому другу. (Из Марциала)» (март 1972), вероятно, одно из самых знаменитых стихотворений Бродского. Здесь я коснусь полемики, возникшей вокруг корректности подзаголовка: «Из Марциала».

Лев Лосев пишет: «Дэвид Бетеа, автор очень интересной книги «Иосиф Бродский и сотворение изгнания», написал в одной статье, что я как редактор-составитель ардисовского сборника «Часть речи» (1977) безосновательно дал подзаголовок «Из Марциала» в «Письмах к римскому другу». Действительно, ни одно из этих стихотворений не является ни прямым, ни вольным переводом Марциала, есть лишь два-три места, как-то перекликающихся со стихами Марциала. Вот и сам Бродский (видимо, освободившись от влияния слишком ретивого редактора) в английском переводе «Писем римскому другу» подзаголовок убрал, заключает Бетеа. Изъян в его рассуждениях лишь один — критик не знаком с историей текста. Тут его винить не приходится — архив поэта тогда был недоступен, сам поэт крайне неохотно соглашался на автокомментарии, справедливо руководствуясь в отношениях с читателем принципом «еже писах, писах». Между тем подзаголовок «Из Марциала» Бродский ставит уже в черновиках «Писем римскому другу» (Российская Национальная Библиотека. Фонд Бродского. Ед. хр. 115), оставляет он его и в третьем томе Собрания сочинений, через много лет после публикации английского перевода без подзаголовка. Мы можем догадываться, почему он, после колебаний, сохранил филологически некорректный подзаголовок. Парадигма отношений аполитичного по складу ума и таланта поэта с родной империей, разнообразно эксплуатируемая Бродским, включает в себя и неизбежные сравнения собственной судьбы с судьбами любимых римских лириков. «Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря...» Бродский постоянно, и в России, и в Америке, перечитывал римских поэтов и прекрасно знал основные факты их биографий, в том числе и то, что Марциал в конце жизни предпочел уехать из Рима на родину, в глухую провинцию у моря, Испанию. Бетеа пишет, что натянутым оправданием подзаголовку служит то, что в «Письмах римскому другу» фигурируют «разные темы и образы, заимствованные из классических латинских поэтов — Овидия и Горация, а также Марциала». Сдается нам, что для Бродского в начале 1972 года были куда как ощутимы различия в судьбах административно-ссылного Овидия, официально обласканного и удалившегося на покой Горация и своего рода «внутренней эмиграцией» Марциала. Короткий подзаголовок добавляет существенный аспект к читательскому восприятию текста»⁹.

То, что Марциал у Бродского мало похож на Марка Валерия Марциала (Marcus Valerius Martialis, около 40 года – около 104 года), — очевидно. Слишком мало в «Письмах» ссылок на стихи Марциала, да и биография римского поэта весьма отдаленно напоминает рассказанную в стихотворении Бродского.

Марциал действительно в конце своей жизни покинул Рим (после того как прожил в нем 34 года) и уехал в Бильбилу (Bilbilis, сегодня Cerro de Baubola) — на свою родину в испанском Арагоне. Но Бильбила находится далеко от моря¹⁰, и про «волны с перехлестом», живя в ней, можно только вспоминать¹¹. Кроме того, Марциал уехал из Рима уже человеком преклонного возраста — ему, по всей видимости, уже исполнилось 58 лет. Уехал и умер через четыре года (по другим данным — через шесть лет),

что никак не согласуется, например, со строкой «Вот и прожили мы больше половины». Даже в наше время 58 лет слишком далеко за половину жизни.

Плиний Младший, узнав о смерти Марциала, пишет: «Я слышу, умер Валерий Марциал; горюю о нем; был он человек талантливый, острый, едкий; в стихах его было много соли и желчи, но немало и чистосердечия. Я проводил его, дал денег на дорогу: это была дань дружбе, а также дань стихам, которые он написал обо мне». Если прочитать «Письма» под этим углом зрения, то возникает дополнительное недоумение — ни остроты, ни едкости у того Марциала, которого рисует Бродский, — нет. Скорее есть спокойствие и даже своего рода пусть горькое, но умиротворение. А у Марциала основной корпус эпиграмм именно таков, каким его описывает Плиний, — в них более чем достаточно и соли, и желчи. Марциал у Бродского — больше философ, чем поэт, это практически стоик, достигший желанной атараксии.

И тем не менее, я полагаю, что Бродскому был нужен именно такой Марциал. И, более того, такой взгляд на Марциала вовсе не лишен исторической правды.

Лосев приводит «Единственное место в «Письмах к римскому другу», которое может рассматриваться как более или менее прямая цитата».

Здесь лежит купец из Азии. Толковым
был купцом он — деловит, но незаметен.
Умер быстро: лихорадка. По торговым
он делам сюда приплыл, а не за этим.

Но исследователь далее замечает: «Оно имеет своим оригиналом не римский, а греческий текст, «Эпитафия купцу-критянину» Симонида Кеосского (556 — 468 до н. э.):

Родом критянин, Бротах из Гортины, в земле здесь лежу я,
Прибыл сюда не за тем, а по торговым делам».

(Перевод Л. Блуменау в кн.: *Античная лирика.*
М.: Художественная литература, 1968, стр. 181). »

Мне представляется, что это указание позволяет высказать обоснованное предложение, почему Марциал у Бродского оказался именно таким.

В силу причин, которые сегодня уже вряд ли возможно установить, небольшая подборка эпиграмм Марциала, приведенная именно в указанном Лосевым издании «Античной лирики», представляет поэта как раз безо всякой «соли и желчи», именно умиротворенным созерцателем бытия, а не едким насмешником, которым его запомнил Рим. В этой подборке приведены стихи Марциала, написанные в разное время — в том числе и в Риме, и в приморской области Байи — в Кампании, близ Неаполя, но и в Бильбиле тоже. Почти все эпиграммы включают имя адресата послания, хотя среди них и нет «Постума». Если Бродский взял за основу эту подборку, то и «Письма» могут относиться не только к последним годам жизни Марциала, проведенным на родине в Бильбиле, но и к тому времени, когда поэт жил в Риме и в Италии.

Самые известные строчки, ставшие практически пословицей — «Если выпало в империи родиться / лучше жить в глухой провинции у моря», — тоже не противоречат такой интерпретации. Жить-то, может, и лучше, да вот так ли живет герой стихотворения? На момент окончания «Писем» (март 1972 года) Бродский как раз живет вовсе не в «провинции у моря» (Ленинград назвать провинцией как-то не поворачивается язык). О такой перспективе поэт может только мечтать.

Если мы примем такое объяснение, то нет ничего удивительного в том, что Марциал сидит у моря или размышляет о своей жизни в связи с тем, что минула ее «половина» — это просто разные моменты его долгой и беспокойной жизни. Зато есть в этой подборке Марциала достаточно тесные связи с «Письмами». Например:

И лица твоего могу не видеть,
Да и шеи твоей, и рук, и ножек,
И грудей, да и бедер с поясницей.
Одним словом, чтоб перечня не делать,
Мог бы всей я тебя не видеть, Хлоя.

«Дева тешит до известного предела / дальше локтя не пойдешь или колена».
Есть и эпиграмма, обращенная к книге:

Флаву нашему спутницей будь, книжка,
В долгом плаванье, но благоприятном,
И легко уходи с попутным ветром.

Но только отправляется эта «книжка» не в Рим, а в ровно наоборот — из Рима в родную Бильбилу.

Такого рода взгляд на поэзию и личность Марциала, конечно, можно назвать односторонним, но это «плодотворная односторонность»: Бродскому нужен именно такой Марциал — поэт, написавший, что счастье — «Коли смерть не страшна и не желанна».

Я вовсе не утверждаю, что Бродский не читал других стихов Марциала, но мне кажется, что как раз этот образ римского поэта совпал с ожиданием поэта русского, что и привело к созданию шедевра. Бродский, будучи блестящим мастером разящей иронии, мог почувствовать состояние Марциала, в котором тот писал свои горькие послания, адресованные близким друзьям, а не те эпиграммы, от которых краснели не только «знающие грамоте гетеры», но и умудренные мужи.

Может быть, именно этот перевод и сыграл роль той «линзы», сквозь которую Бродский увидел мир латинской поэзии, и она стала для него родной.

6

Несмотря на то что библиография написанного об Иосифе Бродском уже трудно обозрима и продолжает быстро расти, мы находимся еще в самом начале пути. И сделано пока мало. Поэзия Бродского продолжает от нас удаляться, она разворачивается над нами как стеклянный купол, сквозь который мы видим другие звезды, другие Тени, видим, как колеблется и разворачивается над нами глубина Времени.

Возможно, тот метод исследования поэтики Бродского, который я сравнил с «микролинзированием», и недостаточно универсален, но мне представляется, что он позволяет хотя бы в некоторых случаях увидеть связи, неожиданные и важные для понимания Иосифа Бродского, и «сквозь него» — проекцию мировой поэзии.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Лидия Гинзбург*. Литературные современники и потомки (1946 г.). В кн.: Литература в поисках реальности. Л., 1987, стр. 121.

² *Иосиф Бродский*. «В тени Данте». Пер. с англ. Е. Касаткиной. «Иностранная литература», 1996, № 12. Благодарю Ольгу Глазунову за указание на эту цитату, крайне важную для обсуждаемой темы.

³ *Ирина Сурат*. Событие стиха. «Новый мир», 2006, № 4.

⁴ Там же.

⁵ *Евдокия Ольшанская*. Двух голосов переключка. Цитирую по сайту <http://a88.narod.ru/ars00016.htm>. См. также письмо Тарковского Ахматовой от 2 октября 1965 года: «Я замучен своим сборником. В нем — как приложение — 15 стихотворений из первой книжки, среди других — «я кончил книгу и поставил точку». Быть может, Вы не забыли этого стихотворения?

Если же Вы не помните его, прошу Вас спросить о нем у кого-нибудь, кто имеет книжку Вашего покорного слуги, — и вот зачем: мне очень хотелось посвятить его в новом издании Вам, и — в рукописи — я сделал это. Если Вам почему-нибудь такое посвящение неужодно, дайте, пожалуйста, мне знать об этом, — и тогда я сниму посвящение, при первой же корректуре». «Арсений Тарковский — Анне Ахматовой». «Вопросы литературы», 1994, № 6, стр. 329—338. «Рукопись» вышла в сборнике «Земле — земное» с посвящением «А.А.Ахматовой».

⁶ Например: «Хорошие — очень! — стихи о войне есть у Бориса Слуцкого, пять-шесть у Тарковского Арсения Александровича». Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. Цитирую по <http://www.lib.ru/BRODSKIJ/wolkow.txt>

⁷ Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. Цитирую по <http://www.lib.ru/BRODSKIJ/wolkow.txt>

⁸ В предисловии «От автора» в книге «Таис Афинская» Иван Ефремов, обсуждая проблему произношения греческих имен, пишет: «Позволю себе напомнить известный языковедческий анекдот с беотийскими баранами, выступившими в роли филологов. После яростных дискуссий, как читать «бету» и «эту», было найдено стихотворение Гесиода о стаде баранов, спускающихся с гор. Блеянье баранов, переданное буквами «бета» и «эта», положило конец спорам, потому что даже во времена Гесиода бараны не могли кричать «ви». Цитирую по ресурсу http://books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr_gk/efremi03.htm?1/61. Далее Ефремов приводит примеры разночтений, например, «алфавит» или «альфабет». Беотийские бараны выбрали бы второй вариант. Несмотря на очевидную «ненаучность» этого примера, он имеет самое непосредственное отношение к временным инвариантам. «Кукареку» тоже мало изменилось с античных времен.

⁹ Лев Лосев. Примечания с примечаниями. НЛО, 2000, № 45.

¹⁰ Марциал, посылая свою книгу на родину из Рима, оценивая расстояние от моря до Бильбилы, пишет: «На колесах ты там поедешь быстро / И Салон твой и Бильбила высоты, / Пять упряжек сменив, увидеть сможешь», — прямо скажем не близко. Цитаты из эпиграмм Марциала приводятся по изданию: «Античная лирика», М.: Художественная литература, 1968. Перевод Ф.Петровского.

¹¹ См. Александр Жолковский. Уроки изящной словесности. Плиний на скамейке. «Звезда», 2007, № 5. Примечание 12.

Виктория Левитина

Так начинал...

Воспоминания о Борисе Слуцком

И однокурсники и одноклассники
Стихами стали уже давно

Б.Слуцкий

Публикуя воспоминания Виктории Левитиной, мы знакомим читателя с поэзией молодого Бориса Слуцкого.

«Слуцкий нравился женскому полу, — писал Давид Самойлов. — Его неженатое положение внушало надежды... В шутку мы составили список его 24 официальных невест»¹. Этот список оказался неполным. В нем не было соученицы по харьковской школе Нади Мирзы и сокурсницы по Московскому юридическому институту Виктории Левитиной. О них не знали даже близкие друзья по поэтическому кружку. Но они-то и были самыми прочными и самыми скрываемыми любовями. Надежда Мирза и вовсе не знала, что в нее был влюблен одноклассник. Борис Слуцкий «поехал учиться в Москву только потому, что в Москву ехала девушка, которую тайно любил весь девятый класс».

В МЮИ Борис Слуцкий познакомился с Викторией Левитиной. По-видимому, Левитина и была одной из тех московских девушек, «присмотревшись» к которым Слуцкий разочаровался в своей школьной харьковской подруге². В февральском письме 1946 года из армии Борис писал мне (П.Г.): «Податель сего письма т.Стадницкий передаст тебе флакон «Коти» и книгу (довольно глупую) П.Арапова — «Летопись русского театра». Передай это Вите (Вике) — у нее в марте день рождения». Несколько позже Вика уже сама обратилась к другу Бориса с просьбой помочь ее сестре устроиться на работу. Такое непосредственное обращение к человеку, знакомому лишь по переписке, свидетельствовало: во-первых, о том, что Борис характеризовал Вике своего друга как надежного хранителя их тайны; во-вторых, что тайна существовала.

В воспоминаниях Виктории Левитиной почти нет подробностей личных отношений. Левитина публикует неизвестные ранние стихи Слуцкого и, главным образом, стихи, написанные на войне. Воспоминания Левитиной опровергают распространенное самим поэтом представление, будто на войне он стихов не писал. Но ценность воспоминаний не только в этом. Они рисуют ментальность поколения, о котором

Левитина Виктория Борисовна — родилась в 1920 году в Москве. Окончила Московский юридический институт. Во время Великой Отечественной войны — медсестра-статистик на Волховском фронте.

Доктор искусствоведения. Автор трилогии: «Русский театр и евреи» (1988), «И евреи — моя кровь» (1991), «Еврейский вопрос и советский театр» (2000). Ценность трилогии — в глубоком и всестороннем исследовании материала, долгое время находившегося на обочине общественного сознания. Вместе с тем критика отмечает крайность и бескомпромиссность взглядов Левитиной в оценке отношения некоторых русских классиков к евреям и «еврейскому вопросу» в России.

¹ Самойлов Д.С. Памятные записки. Международные отношения. М., 1995. С.167.

² Слуцкий Б.А. О других и о себе. М.: Вагриус, 2005. С.169.

Давид Самойлов написал: «в сорок первом шли в солдаты, а в гуманисты в сорок пятом». «Готовились в пророки, товарищи мои», — писал о том же Слуцкий. Вот это «солдатство», эта «подготовка в пророки» становятся ясны из воспоминаний Левитиной, понятна картина мира, которую рисовали для себя те, кто шел в солдаты в сорок первом и готовился в пророки.

Честность была одним из самых обаятельных и характеристичных свойств поэта Бориса Слуцкого. Тем не менее дважды он не то чтобы соврал, но сказал неверно, ошибочно. Правда, эта ошибочность была не случайна. Она была закономерна и в этом смысле — верна.

«Я не был молодым поэтом, — писал Борис Слуцкий, — ни дня не числился». Это — верно. Борис Слуцкий вошел в читательское сознание России сложившимся поэтом. И в то же время утверждение Слуцкого: «Я не был молодым поэтом» — не верно. Оказалось, у Бориса Слуцкого был огромный период поэтического становления. Но он не желал его демонстрировать. Он хотел быть таким, которого принимают или не принимают без скидок на возраст или условия времени. Он делал себя как автора и лирического героя.

«Во время войны я стихов не писал...» — отмечал он. И снова это было верно и неверно, одновременно. Тот поэт, который стал известен читающей России в пятидесятых годах под именем Борис Слуцкий, начал писать стихи с 1944-го с того момента, как врифмовал, вмуrowал в поэтический текст начало рассказа бывшего военнопленного: «Нас было семьдесят тысяч пленных в большом овраге с крутыми краями...». Но до «Кельнской ямы» Борис Слуцкий писал стихи. Он не хотел начинать с них. Он хотел войти в литературу сразу на подобающее себе место. Что он и сделал.

Однако ранние его довоенные и военные стихи остались. Их сохранила Виктория Левитина, с которой Бориса Слуцкого связывали, скажем по-старинному, романтические отношения. Борис Слуцкий был рыцарски щепетилен и деликатен. Автор самого печального и самого интимного любовного цикла в русской поэзии второй половины XX века, Слуцкий до личной своей трагедии, смерти жены, Татьяны Дашковской, исповедовал странно звучащий принцип: современный поэт не должен писать о любви. Точка. Слишком многое обрушилось на человека и человечество в XX веке, чтобы поэт позволял отвлекаться на личные любви, ревности, расставания, очарования и разочарования. Тем не менее он влюблялся, и в него влюблялись.

Виктория Левитина была той «московской девушкой», которой Слуцкий с войны прислал стихи, кончающиеся словами: «Я многим был неверен, я только тебя любил...». И это было единственное его признание в любви в стихах, посвященных и присланных любимой девушке. Слуцкий писал ей не о любви, но о судебных процессах, о войнах, прошлой, настоящей, будущей. Она сохранила эти стихи, справедливо полагая, что когда-нибудь людям будет интересно увидеть, из какой молодости получился зрелый, цельный поэт Борис Слуцкий. Она совершенно верно решила, что когда-нибудь людям будет важно и интересно узнать, какие стихи сочинял в 37—41-м годах поэт, много позже написавший: «Слишком юный для лагеря, слишком старый для счастья: Восемнадцать мне было в 37-м. Этот 37-й вспоминаю все чаще...». Друзья советовали Виктории Левитиной уничтожить ранние стихи Слуцкого. По их мнению, эти стихи могли бы скомпрометировать первого поэта «оттепели». К счастью, она не вняла советам друзей. Благодаря Левитиной мы теперь знаем точку, с которой начал Слуцкий свое движение от «харьковского робеспьеризма» к гуманизму поздних стихов.

Петр ГОРЕЛИК, Никита ЕЛИСЕЕВ

О сокурсниках, хоть и были они у нас общими, не буду: о ком он хотел — написал. О его стихах? Они — бесспорное достояние поэзии, о них, да и о нем самом, многое уже сказано, скажут и еще. Но о нем — известном, о стихах — опубликованных. Я — о тех, с которых он начинал, которые так и остались на пожелтевших, машинописных листках. И хранила-то их, признаюсь, не потому, что тогда чувствовала их поэтическую особенность, а как берегут подарок, дорогой своей единственностью. К тому же почти все они с именными посвящениями как знак отношений никаких и все-таки...

смутных, ни тогда, ни после никак не определившихся, закрепившихся в воспоминании, может быть, именно неповторимостью своей неопределенности, они — не одно-два, а сразу все вместе — как родники, как истоки. Вот так начинал. Вот чем жил. Вот таким был поэт, впервые испытывающий каждую строку — нет, каждое слово, на правду, на прочность, на вкус.

Этого еще никто, кроме ближайших друзей, не знает, но уже теперь его волнует то, что в обозримом будущем ему, по всей вероятности, не грозит: слава. Он пытается — тогда впервые, а потом и еще не раз — разгадать ее притягательную силу. Когда он пишет «мы» ею «бредим тайно и упорно», явно имеет в виду и себя. Ну, что ж! В конце концов, ему только двадцать с небольшим, для дерзких мечтаний пора самая подходящая.

В двух стихотворениях, разделенных годом, удивительна психологическая точность, с какой выбраны персонажи. Один от славы бежит, с величавым презрением отвергает: она смешна своей ничтожностью тому, кто мыслит масштабами световых лет, категориями вечности:

ОТКРЫТИЕ НЕПТУНА

Он высчитал и высмотрел звезду.
Пять лет считал и ночь искал по небу.
Звезда не шла, постыдно и нелепо.
Он тихо ждал. Как приглашенья ждут.
(Так каторжники сторожат
Полночный шорох в коридорах.
Любых сопоставлений ворох
В воспоминаньях вороша.
Но часовым еще стоять,
Сменяться, кашлять, расходиться.
И можно спать. Или не спать.
А просто лбом о стенку биться.)
А он уже не ставил зеркала,
Он так искал, как по карманам шарят,
А рядом, в комнате, в земном и том же шаре
Гудела слава.

И звезда пришла.
Его звезда. Так хорошо и просто.
Нашел. Открыл. Почти что сочинил.
Он встал. Он попросил чернил.
Хоть в скляннице еще осталось вдосталь.
Он написал коллегам в Институт,
Что он доволен цифрами своими.
Что с цифрами и без него найдут
Его звезду. Найдут и подберут
Приличное мифическое имя.

А он устал. Он едет отдохнуть.

Наука год искала и нашла.
И весть пошла по залам и по клубам —
Не про его великие дела —
Про странности новейшего Колумба,
Что, мир открыв — взглянуть не пожелал.

А он смеялся, поздравленья комкал
И презирал, и презирал, как мог.
Он знал, что формулу профессора запомнят,
Но целый мир зазубрит анекдот.

ИЗ ПОЭМЫ

Весна 1941

Как неструганные доски, шероховаты и задиристы, не сразу постигаемы рифмы (признание: «Очень трудно рифмы подбирать»), сверхнеожиданные образы, метафоры. Однажды он пришел, прочитал новое стихотворение. Запомнилась только одна строка, да и то лишь потому, что вызвала сопротивление: «Уродливые звезды кулаков». Это не цитата, просто так утвердилось в памяти. Точно датировать не берусь, но ориентир все же есть. Это стихотворение «Баллада». Пером Слуцкого тогда водила боль: он был в тяжком состоянии после ранения и контузии. Запомнившийся мне образ предстает тут в не искаженном прихотью моей памяти виде: «Рук своих уродливые звезды, сдавливая в комья-кулаки». Значит, разговор наш состоялся в послевоенное время. Образ показался мне нарочитым до противоестественности, я запротестовала: «Но ведь звезда в нашем представлении что-то прекрасное, как можно ассоциировать с ней уродство?..» Спора не получилось — «наше представление» для него означало не более чем беспомощную апелляцию к банальности. Мое недоумение он отмел резко, категорично, как возражение профана: «Я не ученик, не подмас-

терье. Поэт. Понимаете?» Он действительно был поэт: неизлившаяся строка его терзала, найденная высвобождала от кляпа немоты.

Поначалу не только не воспринимается, но даже отторгается как чужеродная этакая простецкая заземленно-бытовая, расхожая — а бывает, и сленговая — интонация.

Мысль, подчас и не новая, у него звучит как мгновенно, на глазах рожденная: она доведена до лапидарности парадокса, суть которого — не в эффектной перевернутости привычного, а в том, что в первоначально эпатировавшем обнаруживается глубинный смысл. Книги не горят, идею нельзя убить — это сказано давно. Но когда самое хрупкое объявляется самым прочным, самое тленное единственно вечным — «Несгораема только бумага, // Все другое сгорит дотла», — это не просто свежесть, превращающая тривиальное в оригинальное, а уже — открытие.

Мышления стереотипами для него не существует, оно не может быть истинно поэтичным. Скажем, то, что происходило в тридцать шестом — тридцать девятом в Испании, всеми воспринималось как репетиция грядущего, куда более крупномасштабного столкновения прогресса с фашизмом. Но ни об этом, ни о многом другом, о чем тогда столько писали, — героизме народа, пламенных призывах Пассионарии, падении Мадрида — у него нет. У него трагедия поверженной республики предстает личной драмой генерала, формально — одного из победителей, по сути — их заложника: об этом известное стихотворение «Генерал Миаха», написанное в декабре 1939 года.

Поэзия вообще субъективна: привилегия жанра. Поэзия Слуцкого — тоже. Даже если его стихи — плод фантазии, поэт, отбрасывая макияж объективности, выступает от себя, и отдаленное (во времени ли, в пространстве) приближается, достигается эффект сиюминутности происходящего.

Стихи Слуцкого чаще всего — поэтическая запись событий его собственной жизни, бывает, и незначительных, но ставших причиной для размышлений. Однако есть такие стихи, установить этимологию которых мне не удалось. Вот, например:

ВОСПОМИНАНИЕ

Произошла такая тишина,
Какую только мертвыми услышим!
Зеленая и сочная луна,
Как яблоко, катилась по крыше.

А вязы нам погибели сулят
И тычут сучьями, как финками под ребра.
И вороны заграяли недобро!
Приветствуйте нас, ляшская земля!

А мы идем! Так на расстрел пойдем!
С веселой яростью, как подобает чонам.
И, если «Яблочко» орать запрещено нам —
Мы песню «Яблочко» душою пропоем!

Но первую из вражеских цепей,
Что на дороге нам магнат наставил,
Стоит шеренга мраморных красавиц,
Зевесовых распутных дочерей.

А впереди, гирляндами увита,
Как вестница языческих времен,
На брань и смерть взывает Афродита
Небесный бочкаревский батальон.

Еще луна, и час как будто ранний.
Не время дум, а время снов и дел.

Но чувствую, что гул воспоминаний
Внезапно души воинов задел.

(Открыть окно, когда молчать невмочь,
Горячий лоб ополоснуть морозцем.
Далекой девушке, к которой не вернешься,
Отписывать солдатское письмо:
Что, мол, несут нас разные ветра,
Что, мол, не жди. И забывай скорее.
Что, мол, прощай. И мякишем заклеить.
Открыть окно и молча ждать утра.)

Но женщина, что встала впереди,
Молчит. И каменеет. И не слышит.
И даже ветер шелку не колышет
На выпетой преданьями груди.

Не правда ли, вполне закономерно
Кончать скорей такую трепку нервов!
И я, не посчитавшись с тишиной,
Прицелился в какую-то Минерву,
Грустившую над битым кувшином.

Май 1939

Стихотворение это — от первого лица, от автора. Сам Слуцкий пометил его маем 39-го, а он, как известно, не принимал участия в захвате Советской Армией Польши в сентябре 39-го. Значит, речь тут может идти о польском походе 1920 г. Раз это так, надо признать силу воображения автора, его умение придумать убедительные детали, реализовать метод, который Станиславский назвал «я в предлагаемых обстоятельствах». Обычно ретроспективно нафантазированное приводит к созданию лишь общей туманной картины (в «Миахе», например, нет конкретностей). Здесь же она дана в психологических и фактических подробностях — чего стоит лишь одна прелестная метафора: «горячий лоб ополоснуть морозцем», показывающая тонкость и зрелость его поэтической образности. Конечно, интересно бы выяснить, по какой ассоциации Слуцкий «вспомнил» о том, чего не знал, чему свидетелем не был. Ответ вряд ли найдется. «Воспоминание» — отличная литературная мистификация, не первая и не последняя. Ну что ж! Она, безусловно, передает политический настрой поэта: польский поход был одной из самых первых агрессивных акций советской власти, но к этой стороне события Слуцкий не проявил интереса, он ограничился описанием конкретного случая.

Это стихотворение интересно также и портретом молодого советского командира. Заметив, что на солдат, да и на него самого красота мраморных богинь оказывает понижающее воинственный дух воздействие, что искусство разбредило души, он, чтобы нейтрализовать наваждение, разрядить стрессовую ситуацию, прибегает к мере отрезвляющей и решительной — стреляет в статую. Поэт это бессмысленное варварство не комментирует...

Есть у Слуцкого стихотворение, безусловно, интересное и тем, что в нем сказано, и тем, что за этим сказанным стоит. Впрямую оно о том, как кончают с собой старые большевики:

ИЗ ПОЭМЫ

Я наблюдал, как принято кончать,
У твердокаменных. У лиц из той породы,
Что за руку знавала Ильича —
У стажа до семнадцатого года.

Они подтаскивают под языки
Сухие десна, сплющивая в раны,
Квадратные, как их же кулаки,
Дареные и именные и
Проверенные на живом наганы.

Чтоб сто чекистов, в девяносто луп
(Такой процент ослепших в этом деле)
Сто лет глядя, вовек не разглядели б
Сомнений в брызгах мозжечка в углу!

Весна 1941

В одном слове последней строки — ответ на основной вопрос — отчего? Отчего они, прошедшие ссылку, каторгу, эмиграцию, совершившие революцию (казалось бы, к чему стремились — достигли), через двадцать лет после победы стреляют себе в рот?

Сомнения. Возникли сомнения. Об их сути поэт не говорит — они ясны... Им пришлось тяжело во время нэпа, когда государство отступило от самых святых для них принципов, но им сказали — временно, они поверили. Теперь же повернулось иначе: родная советская власть несет смерть им самим, да и не то важно, что смерть, они не раз ее видели, а то важно, что их, проверенных-перепроверенных, боровшихся за народ, объявляют «врагами народа»! Не думать об этом — вне человеческих сил, не действовать — попустительствовать злу. Они умеют молчать и, сомнений своих не открыв никому, — уходят.

Чекисты, о которых здесь только вскользь, становятся «героями» стихотворения «Последний из энкаведе». С этой организацией он столкнулся еще в тридцать седьмом: в студенческом общежитии, где он жил, арестовали соседа по комнате, англичанина. Пришедшие запомнились «по мордам» да один — по руке, которая «от мышц натренированных крепка, // Бессовестная, круглая и белая». Голый факт, без оценки. Но эпитеты — хлесткие, уже сами по себе оценочные. В мае 1941-го Слуцкий написал стихотворение, с тем ночным визитом в общежитие, на первый взгляд не связанное, но, тем не менее, очень даже связанное по субъекту действия: оно тоже об «органах», об окончательно еще не улегшемся урагане террора, который пронесся по стране. Мы были уже студентами, когда его вал докатился до нашего института: исчез профессор политэкономии Брегель, самый интересный, образованный и своеобразно мыслящий, единственный, кто не «читал по бумажке». Просто однажды не пришел на лекцию и — навсегда...

И вот поэт обращается к тому времени. На чем же он сосредоточен? Нет, это не трагедия одного из миллионов погибших. Герой стихотворения — из «наоборотного» лагеря, он из тех, что стояли на самом вершине, приводили в движение машину уничтожения: ни больше ни меньше — «чекист номер один», и другой, такой же, которого за какие-то провинности покарали.

Стихотворение это, по большому счету, — о революции. Те, кто ей служит, освобождены от обязанности думать об ответственности за совершаемое; они — ее фанатики. Но если осуществление идеи, какой бы сверхсправедливой она кому-то ни казалась, достижимо только ценой насилия, жертв, отказа от норм человечности — то можно ли ее, революцию, оправдать? Однако мысль у самого автора сложилась недостаточно четко. Реками крови, неисчислимыми бедами оплатили люди их «работу», и психология злодейства, безграничной жестокости, конечно, для поэта могла представлять интерес. Однако не это обращает на себя его внимание, а одна особенность их деятельности — ее сверхсекретность: слава-то обходит их стороной. Его патетическое восклицание по этому поводу: «О горечь профессии, где тишина // Условьем задачи дана», — звучит оскорбительно, кощунственно для памяти этими профессионалами замученных:

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЭНКАВЕДЕ

В тот день к чекисту номер один,
Последнему из энкаведе,
Пришли и сказали — кончай и иди,
Спасибо, товарищ Авдеев!

Он — дверь на замок. Залил сургучом.
Простился с конторой своею.
— Пойдем, ну что же!
— А что ж, пойдем.
— Пошли, — решает Авдеев.

О горечь профессии, где тишина
Условьем задачи дана,
Где дают ордена и можешь быть рад —
— Но забудь за что, говорят!

Мы души закатывали, как подол.
Нам ногти заламывали до локтей,
Чтоб в синеньких книжках будущих школ
Не было нас для наших детей.

Но памятник свой отводить на слом
И знать, что не будет других,
И руки его за спиной крестом
На славу твою легли.

И я поцелую тебя, брат,
Пред тем, как тебя расстрелять!
.....
И дал заряд, чтобы он, гад,
Законов не смел нарушать.

Было свершение всех концов
И начало любых начал.
А он, в две горсти собрав лицо,
На доброй земле стоял.

Жестокому поколенью конец!
Железному веку конец!
Иди один навстречу луне —
Как сметана, свежей луне.

Трава, трава, трава-мурава.
Трынть трава.
.....
И он рядом упал, шепча слова.
Кое-какие слова.

Май 1941

Слущкий надеется, что с этой смертью насилие окончится. Но очень скоро его отношение изменится: придет война, он станет участником насилия и даже... воспевает его...

С ранней юности он был романтически влюблен в революцию. Его мировоззрение складывалось в тридцатые, когда молодым поколением революция ощущалась как величайшее, длящееся и в настоящем событие мировой истории, которое наконец-то ликвидировало несправедливость — социальное неравенство. Его идеалы — коммунизм, партия, власть народа — утвердились в нем настолько прочно, что так с ним и остались. Когда разразилась война, он встал на их защиту с пламенной готов-

ностью: полтора года он — в военной прокуратуре. К этому времени и следует отнести стихотворение (без даты), им самим названное

ЭПИГРАФ К КНИГЕ «АТАКА ОСУЖДЕННЫХ»

Пока не мучит совесть километр,
От первого окопа отделяющий,
Не время ли с величьем «Шах-Наме»
О казненных сказать и о карающих.

Я сам свои сюжеты выбирал
И предпочтенья не отдам особого
Вам — вежливые волки — Трибунал,
Вам — дерзкие волчата из Особого.

Я сам — мистификатор и шпион.
Помпалача в глазах широкой публики.
Военный следователь. Из ворон.
Из вороненных воронов республики.

Я сам. Организатор похорон.
Еще в литературе не показанный,
Военный следователь. Из ворон.
Я сим горжусь. И это точно сказано.

Пусть я голодный, ржавый и ободранный,
С душой, зажатою, как палец меж дверей.
Но я люблю карательные органы —
Из фанатиков, а не из писарей¹.

О «казненных» тут — ни слова, а вот «карающие» воспеты: как и он сам, они — фанатики, осуществляющие идею высшей справедливости. «Карательным органам» он объясняется в любви, охотно берет на себя ответственность за их деятельность. Хотя, видимо, подчас это давалось нелегко: душа все-таки «как палец меж дверей». В отношении себя он иллюзий не строит, признает, что в глазах окружающих он и шпион, и помощник палача. Но общественное мнение его нисколько не смущает, напротив, принадлежностью к «карающим» он гордится, даже бравирует. В этом принятии интеллигентом, советским интеллигентом идеи насилия, инквизиторской морали, оправдывающей цель любыми жертвами («кто не с нами, тот против нас» и подлежит уничтожению), чувствуется вызывающее, даже азартное противопоставление общепринятому, общечеловеческому представлению о гуманности.

Пройдут годы. Он станет подходить к людям с другими критериями, мерить жизнь иными мерками; переоценит и собственное прошлое. То, чем некогда гордился, не сможет примирить с совестью. С саднящей болью вспомнит он взгляд, ищущий в его глазах ответ на вопрос — жизнь или смерть? — осознает, что этот «особенный и скверный» опыт ему не забыть. И тогда напишет: «Я судил людей и знаю точно, // что судить людей совсем не сложно — // только погода бывает тошно, // если вспомнишь как-нибудь оплошно».

Окидывая взглядом пройденное, он придет к заключению, что было у него немного — ну три, ну четыре волновавших его «мелодии». Верно. Может быть, главной, на долгое время определившей его жизненный и поэтический путь, стала война: «Место действия — была война, / Время действия — опять война». Она вошла в его

¹ Двум нашим сокурсникам я рассказывала о стихах «Последний из энкаведе» и «Атака осужденных». И оба, не сговариваясь, — они сейчас живут в разных странах — в один голос сказали одно и то же: «Уничтожь. Никто, кроме тебя, об этих стихах не знает, а они его компрометируют — уничтожь!» Вот так-то...

сознание и в его поэзию раньше, чем стала реальностью: он ее предвидел. Не предчувствовал, а именно предвидел: неоспоримый рационализм его поэзии («Изобретаю стихотворение: уже открыл одну строку») — от рационализма личности. Кто-то, а уж он-то сам, наверное, не раз задумывался над природой поэзии и, вероятно, даже считал, что ей более «к лицу» не интеллектуальность, а эмоциональность. Ведь сказал же он: «Обдумывание и расчет // Поэзию, конечно, губят». Относил ли он это к себе? Возможно. Но и в этом — его индивидуальность: не умничанье — ум, не дидактичность — убедительность, не философичность — логика, а если и расчет, то — на понимание. Он предвидел трагическую опустошительность войны:

НАЧАТО ДО ВОЙНЫ

Мы есть переходный период, и следует знать свой шесток.
 Он выше шестков предыдущих, но, в общем, не слишком высок.
 Определяющий фактор, как он представляется мне:
 Две трети из нас погибнут в грядущей большой войне.

 Две трети из нас погибнут в начавшейся войне.
 Вы поняли,
 Вы запомнили,
 А то я могу ясней!
 Из трех,
 сидящих в комнате
 двоих
 убьют
 на войне.
 Цыгане гадали и денег не взяли, узнав мою точную треть.
 Но я не хочу в Казани, в Берлине хочу помереть.
 И в том наша общая слава и личная наша судьба —
 — Что наши гроба — так и ваши гроба!
 Посмотрим, чьи шире гроба.

Июнь 1941

Если это стихотворение чем-то интересно, то лишь своей втолковывающей интонацией: чтоб поняли, чтоб усвоили, чтобы дошел до сознания каждого ужас надвигающегося.

К предвиденному шло быстро, неостановимо. Война «накрыла» его с головой на все ее годы. Но ведь было же, было в его жизни другое, прекрасное — литература. Ведь прикоснулся же он к ней! Не просто прикоснулся — прижился, и отторгнуть от нее даже силой, даже войной — нельзя. Он ее просто откладывал «на потом», нисколько в этом не отделяя себя от других, ему близких, с такой же судьбой. Так это стихотворение и названо:

ТОВАРИЩАМ

Не может быть, чтоб это так прошло —
 Нас ни война, ни тишина не сгложет.
 Пускай забыли пальцы ремесло —
 Душа искусство позабыть не сможет.

Приходит время править и карать.
 Какая, к черту, старость и усталость —
 Пишу, как будто завтра умирать,
 А до бессмертья пара строк осталась!

Пускай на солнце сморщились котурны —
 Нам солнце все дороже башмаков.
 И мы еще войдем в литературу,
 Как ножик в яблоко, чтоб капало с боков.

Война была далеко, но уже поползли слухи — смутные, ошеломляющим неправдоподобием — правдоподобные. Может, именно они внесли в его душу ощущение общности с тем, кого снова быют, чувство национальной сопричастности? Может, именно слухи стали ферментом, способствовавшим прорастанию в «сверхсознательном» комсомольце корешков национального самосознания, находившегося в анабиозном состоянии? Так появилось то, что можно назвать трехчастной еврейской сюитой. Она писалась на протяжении года.

В первой части — вести о том, что делается «там», — Рассказ эмигранта¹.

Тогда, в сорок первом, еще не существовало рвов, крематориев, душегубок. Но для того, чтобы испытать ужас, ему оказалось достаточно «ланцета». Может, его представление о поколениях «чахлых», «хилых» евреев шло от умозрительно воображенного образа прежнего еврея черты оседлости. Но и тогда — гордое достоинство и надежда на неистребимость народа. Пройдет полгода и снова — этот мотив уничтожения. Но теперь он звучит куда жестче, это — предчувствие истребления уже тотального — во второй части.

Добрая, святая, белорукая,
О любой безделице скорбя.
Богородица, ходившая по мукам,
Всех прости, ударила тебя.

И Христос послал тебя скитаться,
Спотыкаться меж град и сел,
Чтоб еврей мог снова посмеяться,
Если б снова мимо Бог прошел!

...Смешанные браки и погромы,
Что имеем в перспективах, кроме —
Нация ученых и портных.
Я и сам пишу стихи по-русски —
По-московски, а не по-бобруйски.
Хоть иначе выдумал я их,

В этот раз мы вряд ли уцелеем —
Техника не та! И люди злее.
Пусть! От нас останется в веках
Кровушка последних евреев —
В жилах! Или просто на руках.

Май 1941

Вскоре он напишет последнюю часть трилогии. Идет война, и он направляется на второй в своей жизни фронт. Опасения его охватывают самые черные:

НЕЗАКОНЧЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В теплушке было жестко дышать —
Весь воздух сдышали, сволочи!
Так надо же чем-нибудь глотку занять! —
Мы пели с утра до полночи.

То были гимны счастливой Москве,
Свободных вершин панорамы.

¹ Стихотворение было известно в Харькове в 1938 году. Оно навеяно известием о «Хрустальной ночи». Опубликовано в Израиле (журнал «22») под названием «Рассказ оттуда».

Но мы расстегнули застёжки по две,
Но мы вынули души, посмотрели на свет —
Они порыжели от сраму.

Не те слова и мотив фальшив!
Покуда ещё на врага ворошим
Свои захудалые кости.
Чего нам нужно для нашей души?
Нам нужно злости для нашей души?
Столетней,
стоялой
злости.

Визгливо взлязгнули буфера
Прибоем железного моря.
И некто татарин, молчавший с утра,
Запел про татарское горе.
Оно пробиралось, минорно струясь,
Двухструнным своим и гудущим
Сквозь сукна,
сквозь белья,
сквозь вшей,
сквозь грязь,

А потом хватало за душу.
И вот отпадает раскосый налет,
И с парадоксальной грустью
Русский народ поет про народ,
Когда-то царивший над Русью.

«Днепром и Доном промеж ковылей
Ходили полки косые».
Здесь был Татарстан.
За полтысячи лет
До в первый раз: «Россия»!

Здесь был Татарстан. Здесь погиб Татарстан.
Измена его подкосила.
Донской порубал.
Изрубил Иоанн.
Екатерина казнила.

.....
Еврейские старцы в подвал собрались.
Чтоб там над лежанкой глиняной
Случайно
меня
нарекати

«Борис» —
Татарского мстителя именем.

И так я родился. Я рос и подрос,
А завтра из смрада вагона
Я выйду на волю и стану в рост:
Приму по реке оборону.

Тоскуют солдаты о смерти своей,
А лошади требуют корму.
Убьют меня — скажут — чужак был еврей!
А струшу — скажут — норма!

Я снова услышу погромный вой
О том, кем Россия продана.
О мать моя мачеха! Я сын твой родной!
Мне негде без Родины, Родина!

Октябрь-ноябрь 1941

Услышанный в теплушке татарский напев вдруг, по ассоциации, заставил вспомнить о собственном имени. Год был 1919-й, погромы на Украине... Исконно национальный обряд мог обернуться неизвестно чем, но, тем не менее, для его проведения евреи, хоть и в подвале, но все-таки собрались. Вряд ли они могли дать ему это совсем уж чуждое их слуху имя — Борис. Наверное, все-таки нарекли Борухом, а записали хоть и похоже, но иначе. Но это так, между прочим. Тогда, в 41-м, действительно было еще не ясно, куда заведет страну снова поднявший голову антисемитизм, какие масштабы и формы он примет. Поэт не мог представить, что вскоре произойдет. Стрелка указывала на грозные симптомы, но что именно они предвещали? Она могла качнуться в государственный антисемитизм, могла откатиться назад. Закончить эти размышления, прояснить их могло только время. Теперь уже не где-то там, далеко, а тут, у себя, в собственном доме, стены которого залеплены лозунгами о братстве народов, он почует «погромный вой». Но деться некуда, эта страна для него единственная, и в его отчаянном, хватающем за душу, иступленном признании крике: «О мать моя мачеха! Я сын твой родной!» — трагизм страстной любви, которую он впервые ощутил неразделенной. И через много лет та родина останется для него единственной. На появление Израиля он не отреагирует. Тем не менее есть у него стихотворение иносказательное, темное — мол, толкуй, как знаешь. Вот я и толкую... Для меня бесспорно — об этой, о нашей оно стране:

А умник восточный лечил изувеченный зад,
избитый толково, и тщательно, и жестоко,
и думал тихонько про то мировое «назад»,
которое совпадало с понятием Востока.

Впоследствии о евреях он будет писать не раз, прямо или намеком, очень поразному — есть достойное, есть жестокое, а в одном строка — кощунственно-возмутительная.

Но все это для него — впереди, а в том первом, начальном периоде, о котором я пишу, еврейская тема представлена, насколько мне известно, только тремя подаренными мне стихами. В них — ирония и сарказм, издевка и горечь, боль и неверие, и все-таки — вера, пусть иррациональная.

Самопричисление к еврейству, то, что мы сейчас называем самоидентификацией, пришло к нему в ранние годы становления личности. Национальное прозрение ему «навязано» трагедией его народа: Катастрофой, разгулом атаквистических инстинктов в собственной стране. Он русский поэт. Но и с непреходящим ощущением своего еврейства.

Уже тогда в нем жило высокое чувство ответственности, которое даже и в сверхнеобычных обстоятельствах не позволило отойти в сторону.

Он пришел к нам 15 октября 1941 года вечером: начиналась паника, которая назавтра разразится стихийным бедствием, бросит штурмующие толпы на отходящие в восточном направлении поезда, сгрудит город на площади трех вокзалов, встряхнет его разбитыми витринами, разграбленными магазинами. Такой Москва ему надолго запомнится:

Узнаю с дурацким изумленьем,
Что шестнадцатого октября
Сорок первого плохого года
Были: солнце, ветер и заря,
Утро, вечер и вообще — погода.
Я-то помню — злобу и позор,
Злобу, что зияет до сих пор...

— Как думаете выбираться?

— Никак.

— А если пешком?

— Исключено: отец — сердечник.

— Я приеду за вами рано утром. По одному чемодану на человека. Будьте готовы.

И на всякий случай, потому что каждое следующее мгновение было непредсказуемо и мы сверхлегко могли друг друга потерять, он дал мне адрес своей матери в Ташкенте. И потом, когда я даже не представляла, за какой кончик ухватиться, чтобы узнать о его судьбе, вспомнила о Ташкенте: «Уважаемая мама Бориса! Мы учились вместе, если что-нибудь о нем знаете...» Она ответила: жив. После, когда все кончилось, наивную мою открыточку он показал мне...

Утро. Четыре чемодана. Сидим. Ждем. Он не приехал. А посреди дня пришел кто-то, кого он послал, чтобы передать: его отправили. Куда? Рыть окопы под Москвой? Потом оказалось — «туда», в самое пекло. Снова увидеться довелось через годы: война раскидала нас по разным фронтам.

А дальше все получилось, как у многих: «было — не было» незаметно растворилось в отгоревших мгновениях. Да и что тут удивительного? Война растапывала и не такое робкое, едва прорезавшееся. Она сглатывала прошлое.

О прошлом — и последнее оставшееся у меня стихотворение. Оно — личное, но печатать его уже можно: «заинтересованные» лица более не существуют, ушел тот, кто его писал, мало что осталось от той, которой оно написано:

Корявые танки сутулятся,
Бежит броневик впереди.
Подходят немцы к улице.
По ней я за вами ходил.

Прежде чем этой улочке
Танки раздавят бока, —
Мне трижды вынут жилочки,
Как тянут шпагат из мешка.

Мы будем по свету рыскать,
Последнюю совесть терять,
Свои донжуанские списки
На грязных газетах писать.

О дамы мирного времени!
— Оставьте Музу мою,
А дамы военного времени —
Прислушайтесь — вам пою!

Но, что крестовые доски —
Закованные в медальон,
Квадратные, для удобства —
Карточки наших жен.

Лежим, пропадаем, ржавеем.
Пытаем окопной судьбы —
Я многим был неверен —
Я только Вас любил.

Над нами снаряды рвутся,
Вокруг негодуют войска
Во имя моей революции.

Похожей на Вас слегка.
Прощайте, прощайте, прощайте.
Прощай — из последних сил.
Я многим был неверен —
Я только тебя любил.

Июль 1941

Когда судьба свела нас снова — было уже не нужно. И встречи стали непреднамеренными, недоговоренными, разговоры — случайными, отрывистыми, да и, соб-

ственно, о чем? Чуть-чуть о настоящем, еще меньше — об ожиданиях, ничего — о прошлом. И без самого главного — подтекста.

Была в нем черта удивительная: самотребовательность и одновременно — трезвое признание того, что идеальность недостижима. «Разница между вами и мной в том, — сказал он мне просто, искренне, без конфуза, без желания выставить себя лучше, чем есть, — что вы себе не позволяете того, что я себе позволял». Что он имел в виду? Констатировал, но не раскаивался: самобичевание для него — только ханжество, ни к чему ему было прищипливать себе венчик святости, живому он не по мерке.

После разгрома «пражской весны» Борис как-то сказал мне с усмешкой: «Если вы не вышли на Красную площадь, значит — постарели», явно имея в виду ту, прежнюю мою юношескую непримиримость. И я в ответ без малейшей претензии на молодость: «Просто все, что здесь, — изменится или останется как есть — перестало меня волновать». Но важна в данном случае его усмешка: сама идея протеста — казалась ли она ему осуществимой?..

В двадцать лет, в период романтической влюбленности в революцию он принимал ее всю как есть, без разбора, с ее яростью, с ее жестокостью, а впоследствии он воспевает добро. Как след человека на земле, как то единственное, чем люди могут обогатить друг друга. Тут, без сомнения, огромна роль перевернувшей его душу глубокой и сострадательной любви. («Я поздравляю Вас, Боря, Ваша жена, говорят, очень красива...» — «Спасибо. Но она больна. Из больницы в больницу — вот и вся наша жизнь».)

Он был натурой цельной, обладал даром — или проклятьем — любить самоотверженно. Его стихи о ней, ушедшей, потрясают силой отчаяния.

Нет спору, своеобразный поэтический язык Слуцкого интересен сам по себе. Если он и не равнозначен его духовному миру, то все-таки вводит в него — в богатый, в особый.

Подготовка текста и публикация Петра ГОРЕЛИКА и Никиты ЕЛИСЕЕВА

Мурман Джгубурия

«Пишу стихи — разве этого мало?»

Заметки о Василии Субботине

1

Мне повезло. Познакомился с Василием Субботиным, которого знал только по журнальным публикациям.

Удивительнейший человек. Скоро ему 89. Не скажешь. Выглядит на 15—20 лет моложе. Интеллигент. Нет, аристократ! В разговоре в столовой, где мы сидим за одним столом, в аллее дома творчества, где мы прогуливаемся иногда или отдыхаем на скамейке, слушаем разноголосие птиц или разговариваем. Одно удовольствие слушать его воспоминания о Переделкине, о классиках русской литературы, о знакомых поэтах и прозаиках, о войне, которую он прошел до рейхстага, до Бранденбургских ворот, о чем и говорят его книги, которые я обязательно прочту. Широко известно его стихотворение «Бранденбургские ворота». Так названа и книга стихотворений, которую я сейчас читаю. «Окоп копаю. Может быть — могилу». Запомнилось.

«Да, это помнят, потому что это легко запомнить. Нынешнему поколению времени не хватает на чтение. На все хватает, на чтение не хватает. Вы со мной согласны?»

Я молча киваю головой. Но он, вижу, не верит.

Временами вспоминает Пастернака, Тихонова, Симонова, Твардовского, Олешу, Катаева, которых я не застал и не видел живыми, но, разумеется, читал. Вспоминает Ахматову, которую тоже знал.

Человек. История. Век. Эпоха.

Василий Ефимович тих, вдумчив, всегда спокоен, так мне кажется, и чистый, прозрачный, как горный источник. «Как белый камень в глубине колодца!» — это Ахматова и это — похоже на Василия Субботина. Хочется спросить: из дворянского он рода или из крестьянского. Но не спрашиваю, не спросил.

Василий Ефимович: «Человек не должен говорить, что он поэт. Пишу стихи — разве этого мало?»

Что я могу сказать о Василии Субботине?

Почти ничего.

Что можно сказать о человеке, который прошел неслыханную по жестокости войну, чего только не повидал на своем веку, и не имеет никакой злости. Ни ко времени, ни к государству, ни к кому, ни к чему. Вспоминает все время что-то хорошее, замечательное, человеческое, простое. Он, кстати, знает и нашу грузинскую литературу, наших прозаиков и поэтов, бывал в Тбилиси.

В разговоре названный Рейхстаг напомнил мне нашего героя — Кантарию и его русского собрата — Егорова. Василий Ефимович дал мне почитать из своей огромной книги записей одну главу под названием «45». Я прочел. Потом еще раз перечитал. И между прочим сказал, что написанному недостает трагизма, чем невольно обидел его. В ответ Василий Ефимович рассказал такую историю: зашел к нему как-то

знакомый писатель, взглянул на лежащую на столе газету, где были опубликованы его, Субботина, записки, изрек: «Война, война, война...» — и вышел.

— И что вы сказали ему? — спросил я.

— Ничего я ему не сказал: не мог же я сказать ему: деревня, деревня, деревня...

Мысленно возвращаюсь к его «45» и замечая: Кантария и Егоров такие же, как все другие бойцы того подразделения, о котором идет речь. Кантарией и Егоровым мог стать любой из тех, кто участвовал в боях за рейхстаг. Им просто больше повезло.

Покойный мой дед Свимо колол дрова, и колья у него получались как на подбор, почти точь-в-точь одинаковые. Он их складывал возле очага и разжигал огонь. Потом клал в огонь, и колья горели, одни раньше, другие позже. А иные оставались до завтра, послезавтра, спустя неделю, что зависело от погоды. И от хозяина семьи. На том буреломе, на том штурме и на том огне сгорели многие, немногие уцелели. А рука моего деда Свимо напоминает мне руку верховнокомандующего, а еще шире — руку судьбы и руку Бога.

Прошло время. Кантария и Егоров покинули этот мир. Царствие им Небесное, но судьба сохранила его, поэта и историографа, поведавшего нам о той последней ночи боев в Берлине, последних днях Великой Отечественной войны.

2

Больше всего поэзия Василия Субботина мне напоминает поэзию Бунина. Еще в 70-е годы прошлого века мне довелось перевести на грузинский и издать отдельной книгой бунинские стихи и поэму «Листопад». Язык поэзии Субботина чист, прозрачен, осязаем.

Где ночи настороженно тихи...

Вот в таком затишье ищет он редчайшие слова, ибо ему, как он сам говорит о поэте: «Найти слова редчайшие дано».

Ахматова писала — надо беречь слова. А особенно надо беречь слова в военное время. Примерно так берегут в деревне воду, берут из колодца ровно столько, сколько нужно, берут бережно, чтобы ведро не ударило о стенки колодца и вода не замутилась.

У Субботина меткий глаз. «Темны предгория Карпат»... И больше ни слова в этом стихотворении о пейзаже. «Совсем светло», — в другом стихотворении. И этого тоже достаточно. Его пейзаж создает настроение, незабываемую картину.

Солнце над полями шевелится,
Хоть бы туча набежала вдруг!
Спутанная черная пшеница,
На телеге мертвый политрук.

Заканчивается стихотворение совсем неожиданно:

И, уже не прячась, за кюветом
Так и спим, под бомбами, вповал.

Будни войны. Человек погиб, но и день не выдался, жара, пыль, «черная пшеница», пшеница, урожай которой неизвестно кому достанется. И потому уже почти не имеет значения, что будет дальше.

«И, уже не прячась...» — не только я, сам Иван Алексеевич Бунин удивился бы, наверное, прочитал эти слова.

3

Одно удовольствие слышать его тихий говор. Воркование. Читать его тишайшую поэзию. Ласточка трудится. Приносит веточки в клюве и строит гнездо. Мастер. Архитектор. Это делается как-то незаметно для чужих глаз. Мы видим законченную работу. Вот так же строит и свое стихотворение Василий Субботин. Строительный материал — слова. «Да эти мокрые травинки на запыленных сапогах»...

В родных краях, отторгнутых у нас,
Нам каждый камень памятен и дорог.
Какую весть передадут сейчас,
Какой вчера освободили город?

Снега вокруг... На холоде дрожа,
Они стоят... Дыханья пар струится,
И все, что диктор в голосе сдержал,
Увидишь ты на просветленных лицах...

(«У репродуктора»)

Символизм существовал до так называемых «символистов». «Увидишь ты на просветленных лицах». Стихи Субботина надо читать в тишине, в одиночестве, одному. Аудитория — насильственна.

От суетни вселенной и горячки
Недавние исчезли берега.
Я, как медведь, очнувшийся от спячки,
Ступаю на размытые снега.

Через лесные прохожу овраги –
Мне этот запах пробужденья мил.
Сдвигаю камни, трогаю коряги —
Забытый восстанавливаю мир...

Как будто первый раз рассвело на земле.

4

Есть поэты, которые удивляют с первых же строк, например наш гениальный Галактион (Галактион Табидзе. — *Прим. ред.*). Василий Субботин удивляет заключительной фразой, последней строкой стихотворения:

Гремели составы за окнами,
Ломилась в теплушку зима.
Я видел: у девочки-доктора
Тяжко раненный руку сжимал.

Всё кто-то там в темени полночи
Воинственно в дверь молотил.
Он умер, тот парень. Запомнилось,
Что морфию он не просил.

Какая трагедия описана здесь — и какая любовь.

В этой маленькой, давно вышедшей книжке очень много говорится о войне, что естественно, но мне хотелось бы перечитать послевоенные стихи поэта. Это стихи о любви, об одиночестве, о быстротечности жизни, о природе.

Мне очень больно, и не знаю сам я,
Не расскажу, как это все случилось.
Она вошла. Она взглянула только,
И больше никогда она не вспомнит —
Мой вид, мой взгляд уже она не вспомнит...
Мне больно, но я знаю, так бывает.

Руставели говорит, что вся наша жизнь — это только место свиданий: «Прошло лето — время свиданий цветов». Цветы — это мы, а место свидания — Земля, наша планета. В стихотворении Василия Субботина наша жизнь меньше свиданий. Вошла, взглянула и ушла — и всё, и не вспомнит никогда... «Не расскажу, как это всё случилось», потому что этого невозможно пересказать. И одному из них двоих, поэту, стало «очень больно», ибо боль и страдание ищет именно его...

P.S. «Новое — это хорошо забытое старое». Это очень близко касается творчества одного из патриархов Русской поэзии. Василий Субботин старый—новый Поэт.

В самих себя заглядывать подчас
И потому нам, может быть, не надо,
Что в бурном веке отражает нас
Все то, вернее, тот, кто с нами рядом.

Та, давняя метель

Рубрику ведет Лев Аннинский

Через 20 лет после Победы написал это стихотворение Алексей Прасолов. В 1965 году. Когда в Празднике памяти, в Дне скорби обнаружилась скорбь, неизмеримая прежними масштабами, и память переокрасилась в горечь, какую праздниками не уравнишь.

Официально тоже кое-что переменялось тогда: День Победы стал нерабочим. Можно было на досуге поразмыслить над тем, что меняется в душах. Понять глубину и смысл этой перенастройки. Пережить тот новый масштаб, в котором помнится пережитое.

Для этого и нужны великие поэты.

Кажется, впервые тогда о цене Победы вслед за смертниками Державы, вышедшими из огня боев, заговорили во весь голос их младшие братья. спасенные войны, не попавшие в окопы по возрасту, но попавшие (если не успели эвакуироваться в глубь страны) под «новый порядок» гитлеровской оккупации, — не в огонь немедленной гибели, но в такой леденящий озноб, который для души страшнее огня.

Еще метет во мне метель,
Взбивает смертную постель
И причисляет к трупам труп, —
То воем обгорелых труб,
То шорохом бескровных губ
Та, давняя метель.

Не плакатом, на котором корчится бандит с косым по глазу чубом и усиками, ворвалась война. А взрывом снаряда в огороде, когда ударная волна распахнула дверь... а там — никого. Пусто. Метель.

Десятилетия спустя из этой заметки возникают — не фигуры победителей, а штабеля трупов.

Своили немцев поутру.
Лежачий строй — как на смотре,
И чтобы каждый видеть мог,
Как много пройдено земель,
Сверкают гвозди их сапог,
Упертых в белую метель.

Леденящи эти хорошо подкованные тевтонские сапоги на фоне наших лаптей, опорков и прочей обуви-одежки, в которой надо было воевать. Не строем воевать... а как сподручнее. Немецкий офицер мог отдать честь убитому советскому лейтенанту, найденному в развалинах Брестской крепости; вслед за офицером и солдаты райха могли обнажить головы... Но не такую красивую войну, не рыцарский турнир, проникнутый романтическим духом, принесли к нам с Запада «юберменши». А тотальное,

биологическое, необсуждаемое уничтожение. Надо было браться за толстовскую народную дубину и гвоздить отчаянно, пока не полягут.

И легли.

А ты, враждебный им, глядел
На руки талые вдоль тел.
И в тот уже беззлобный миг
Не в покаянии притих,
Но мертвой переклички их
Нарушить не хотел.

Как потрясающе найдено это слово: талые. Черт их принес в нашу талость из ухоженной Тюрингии, где каждый колос учтен приходной книгой. Дикость хотели вытрясти из русских? На гармониках пиликали? Теперь лежат смирно, тихо, тало. И память о том, как они жгли нас «Юнкерсами» и слепили «Опелями», замирает в каком-то запредельном оцепенении.

Какую боль, какую месть
Ты нес в себе в те дни!
Но здесь
Задумался о чем-то ты
В суровой гордости своей,
Как будто мало было ей
Одной победной правоты.

Не праздник правоты — предощущение других, неизмеримо горчайших испытаний заставляет онеметь душу. «О чем-то» задумался пятнадцатилетний юнец, глядя на поверженных врагов. «О чем-то» задумался он десятилетия спустя, соизмеряя ту победную правоту с грядущим, что скрыто за метелью. «О чем-то» задумывается великий поэт, подымаясь над человеческим пепелищем в ледяную бездну, а бездна то ли лечит обожженную душу, то ли добывает ее ясностью, — и легче уж метель, но не угадаешь сквозь нее, где очередной фатальный исторический поворот.

Алексею Прасолову, наверное, в голову не приходило примеряться к роли великого поэта. Он вкалывал рабочим сцены, заведовал хозяйством в местном Доме культуры, мотался газетчиком по районам родной Воронежской области, — пока публикация подборки стихов у Твардовского в «Новом мире» не помогла ему обрести статус профессионального литератора — членство в Союзе советских писателей он оформил в конце мая 1971 года и умер 8 месяцев спустя, едва переступив возраст любимого им Александра Блока.

Осталась в золотом фонде русской лирики — та давняя метель. На будущее.

Summary

YOURIJ OKLYANSKIJ. The Armless Guide.

Three years ago a long short memoir story by Y. Oklyanskij was published in «DN». It was about Peter Vershigora — the famous partisan general and the author of the book «People with Clear Conscience» much-talked-of in its time. Some time later Y. Oklyanskij received a letter from an unknown reader whose husband turned out to have directly to do with the protagonist of the story and the events described in it. And a new plot began to unroll

STANISLAV SLAVICH. The Garage for a Horse.

This is a long short story of a writer — veteran of the Great Patriotic War about our today's life, about the «Crimea problem», about the War, the veterans, their children and grandchildren who see the world quite differently now.

GALINA KOSTELYANETZ. How Many They Are, Nearly Nameless.

The Great World War II began next day after G. Kostelyanetz graduated from the school. Then she was a prisoner of the Minsk ghetto. Then joined the partisans together with her parents. Then, some decades later, she wrote a book about all this, which couldn't be published in the Soviet times even under the patronage of very famous people. In the end of the last year Galina's daughter sent her mother's manuscript to our magazine. Being unable to publish this voluminous text in full we consider our duty to offer to the readers its «war chapters».

ELENA SKULSKAYA. Not Having Asked Permission of God.

E. Skuls kaya is well known to our readers. Here, under the heading «Double Portrait», we present her new poems and her translations from Estonian poet YOUHAN VIJDING.

ARISTAKES SAGRATYAN. The Steel Ways to the West.

Memoirs about the war and labor heroic deeds of the railway forces during the Great Patriotic War.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2010 г.
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Наш индекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Сожаеем, но редакция нашего журнала не имеет возможности рассматривать рукописи, приходящие электронной почтой.

Вовсех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.

E-mail: dn52@mail.ru, <http://magazines.russ.ru/druzhba/>

Сдано в набор 19.03.10. Подписано в печать 20.04.10. Формат бумаги 70 x 108 1/16. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл. кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 2000 экз. Заказ 1179. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом "Красная звезда"». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38. <http://www.redstarph.ru>